

ЛАД

ВОЛОГОДСКИЙ

2009 год

1 (13)

Литературно-художественный журнал

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР





ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО НА НАВОЛОКЕ (ВОЛОГДА)

СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ ФИВАИДЫ

Выставка фоторабот архиепископа Максимилиана

В начале 2009 года в престижном московском выставочном зале - «Новом манеже» - с большим успехом прошла фотовыставка «Сердце Северной Фиваиды», на ней было представлено более 160 работ архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана.

25 марта эта выставка открылась в Череповце, затем планируется показать её в Смольном соборе Санкт-Петербурга, а также в Кириллове, Великом Новгороде. Приглашают экспозицию в Италию, Бельгию, о ней готовит публикацию журнал «Фома».

Читатели нашего журнала давно знают и любят фотокартины владыки Максимилиана. Предлагаем им полюбоваться несколькими работами с выставки «Сердце Северной Фиваиды».



ЕЛОВЫЙ КРЕСТ

Николай ВИКУЛОВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ



ПОЛДЕНЬ. 2002. Холст, масло

Вологодская областная
универсальная
научная библиотека



ЗИМОЙ. 1992. Картон, масло. ВОКГ



У КОЛОДЦА. 1989. Картон, масло. ВОКГ



ОДНА. 1989. Холст, масло. ВОКГ



ДОМАШНЕЕ ТЕПЛО. 2003. Холст, масло



ЛЕТНЯЯ УЛИЦА. 2002. Холст, масло



АРХИЕПИСКОП
МАКСИМИЛИАН.
АВТОПОРТРЕТ
С СОБАКОЙ

«О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! - говорится в древнерусском памятнике письменности «Слово о погибели Русской земли», написанном ещё в XIII столетии. - Многими красотою дивишь ты...» Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к выставке «Сердце Северной Фиваиды».

Владыку Максимилиана я не раз встречал на этюдах - и в Прилуках, и в Покровском. Я с этюдником, владыка - с фотоаппаратом. И это, конечно, не случайно. Выставка показывает глубинную связь фоторабот архиепископа Максимилиана с русской живописью. Великие русские живописцы - Иван Иванович Шишкин, Виктор Михайлович Васнецов, Василий Иванович Суриков - изображали мир как Божье творение. Они не себя старались выразить, а радость бытия, радость созерцания Божьего мира - показать, какая красота нас окружает!

Это не холодные, рассудочные снимки, которые фиксируют объекты или явления. Лучшие работы излучают тепло, в них ощущается художественное видение натуры. Знаменитой усадьбе Брянчаниновых посвящен целый раздел выставки - это снимки и усадьбы, и храма, и парка, и колокольчиков... Земля эта святая, и святость чувствуется в самой природе. Работы наполнены молитвой.

На фоне непогоды эта выставка производила особенное впечатление. На улице - московская слякоть, а на работах - солнце, тепло... Людям этого очень не хватает, людям это нужно.

Валерий Николаевич СТРАХОВ,
член-корреспондент Российской академии художеств

Читайте в номере

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Владимир Личутин. СОН ЗОЛОТОЙ
(книга переживаний)

ПРОЗА

Дмитрий Ермаков. ДЕЛА ЗЕМНЫЕ.
Краткая повесть

ПОЭЗИЯ

НОВЫЕ СТИХИ Ольги Фокиной,
Ларисы Мокшевой, Геннадия Иванова

К 80-ЛЕТИЮ ИВАНА ЛАРИОНОВА

Очерк жизни и творчества вологодского писателя, его короткие рассказы

И НЫНЕ, И ПРИСНО

Мы руководствовались пользой Церкви.
Заседание «круглого стола»,
посвященного итогам Архиерейского
и Поместного Соборов 2009 года

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Слободан Вуканович.
ЛЕСТНИЦА ИЛЛЮЗИЙ
Святитель Николай Сербский
(Велимирович).
СЕРБСКИЙ СВЯТОЙ О РОССИИ.

ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ - 90 ЛЕТ

Роберт Балакшин.
ЛЮБОВЬ МОЯ - БИБЛИОТЕКА

ХУДОЖНИК О ХУДОЖНИКЕ

Джанна Тутунджан. ЧУДНЫЙ ДАР

ИСКУССТВО

Татьяна Чистякова.
КЕРАМИКА. АКВАРЕЛЬ
Ирина Балашова.
В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА
Николай Викулов. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЗЕМЛЯКИ

Анатолий Сычёв, Александр Чечкин.
ШВЕЙЦАРСКИЙ УЧЁНЫЙ КОНСТАНТИН
МОНАХОВ: «МОИ КОРНИ - В РОССИИ»

РЕДКОЛЛЕГИЯ

В.И. Белов, И.А. Поздняков, В.В. Касьянов, В.Д. Воробьев, священник Александр Лебедев,
С.П. Белов, В.В. Дементьев, А.В. Камкин, П.Ю. Мухин, А.К. Сальников (редактор журнала),
А.В. Торопов, А.А. Цыганов

ВАДИМ ДЕМЕНТЬЕВ

СЛОВО О ПОЛКУ БЕЛОЗЕРСКОМ

Предыдущая публикация глав книги о Белозерском полке заканчивалась такими словами:
«Потомство нам скажет спасибо за восстановление этой в высшей степени актуальной и благородной традиции (речь велась о присвоении наименования «Белозерский» одному из полков современной Российской Армии. - В.Д.).
Воссозданный Белозерский полк, верится, также никогда не уронит своих знамен, сохранит и продолжит боевую славу русского оружия».

Продолжение. Начало в № 4 за 2008 год

События за эти месяцы, как писал замечательный поэт Леонид Мартынов, живший в 30-е годы в Вологде и работавший в «Красном Севере», «развивались быстрее, чем можно ждать».

У нас в руках директива командующего войсками Московского военного округа генерала армии В. Бакина от 4 февраля 2009 года. Прочитав этот документ:

«Во исполнении директивы министра обороны Российской Федерации от 19 января 2009 г. № Д-08, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 24 января 2009 г. № 314/2/072 в Московском военном округе 31 января 2009 г. издана директива командующего войсками округа № 045 о переводе 7 инженерно-саперного полка со штата № 12/036-54 на штат № 12/047-51 и присвоении ему почетного наименования Белозерский с 1 июня 2009 г.

Командующий войсками Московского военного округа генерал армии В. Бакин».

Имя легендарного петровского полка возвращено наследникам боевой славы Отечества. Он - гвардейский, каковым в 1946 году (ко времени своего расформирования) и являлся Белозерский полк.

Создан хороший прецедент. Любимцы Петра, старейшие русские полки лейб-гвардии - Преображенцы и Семеновцы, пропустили вперед наших Белозерцев. По заслугам и честь!.. И это при том, что в армии России сегодня происходит реформи-

рование, по масштабу сравнимое разве что с временами Петра Великого. А может, потому-то это значительное для всех вологжан событие и произошло.

Нельзя сегодня не отметить тех, кто восстанавливал память о мужественных Белозерцах. Это Губернатор Вологодской области Вячеслав Евгеньевич Позгалёв, генерал армии Юрий Николаевич Балувевский, помощник Губернатора области Владимир Михайлович Бабкин, полковник штаба Московского военного округа Михаил Евгеньевич Мизинцев. Русское им армейское «ура!».

Приведем в сокращении историческую справку о 7-м гвардейском инженерно-саперном полке Российской Армии.

Свое старшинство полк ведет с 28 мая 1942 года, когда директивой заместителя Народного комиссара обороны СССР была сформирована Отдельная инженерная бригада специального назначения в составе Юго-Западного фронта, в которую вошел 2-й отдельный батальон инженерных заграждений.

Приказом НКО СССР № 147 от 1 апреля 1943 года 2-й отдельный батальон инженерных заграждений по проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками под Сталинградом получил почетное наименование «гвардейский».

В мае 1944 года батальон переформирован во 2-й отдельный гвардейский мотоинженерный батальон.

В апреле 1945 года за освобождение города Барановичи 2-му гвардей-

скому ОМИБ было присвоено наименование «Барановичский».

5 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленные отвагу и мужество в боях за Померанию батальон был удостоен ордена Красного Знамени.

26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования при овладении городами Штатгард, Наугард, Польцин батальон награжден орденом Красной Звезды.

После взятия Берлина с 5 мая 1945 года батальон совместно с частями бригады выполнял задачи по разминированию города.

С 25 октября 1945 года батальон переименован во 2-й гвардейский инженерно-саперный батальон.

В июне 1951 года он вошел в состав 55-й гвардейской ИСБр (бригады) с сохранением всех почетных наименований и наград. Знамя батальону вручено 17 сентября 1959 года.

Директивой ГШ от 17 декабря 1965 года в целях сохранения боевых традиций и воспитания на этих традициях личного состава 55-я гвардейская ИСБр переименована в 1-ю гвардейскую ИСБр с сохранением всех наименований и наград.

В дальнейшем бригада получила наименование 7-го гвардейского Барановичского Краснознаменного ордена Красного Знамени инженерно-саперного полка.

Днём части считается 1 ноября 1992 года.

Полк дислоцировался в городах Потсдаме, Бернбурге, Бранденбурге, в местечке Глау, в Мценске, Белёве.

Нынешние Белозерцы выполняли специальные задания по оборудованию западного театра военных действий. 16 человек участвовали в выполнении задач по восстановлению конституционного порядка и законности в Чеченской Республике.

Полк неоднократно получал благодарности, поощрения и другие отличия после 1945 года.

В настоящее время полком командует гвардии полковник Анатолий Сергеевич Фролов.

Символично и то, что знамя вос-

становленного Белозерского полка будет развеиваться в Ростове Великом. Начальные страницы истории Белозерска, как известно, тесно связаны с этим городом. Отсюда вышли первые белозерские князья Василёк Ростовский и Глеб Белозерский. Ростов был их наследственной вотчиной. Здесь они погребены в сохранившихся храмах. Рассказ об этих первых, достоверно известных нам командирах Белозерского полка еще впереди. Но сейчас, когда произошло восстановление великой воинской традиции, необходимо сказать следующее и, может быть, главное.

На древних ростово-белозерских землях располагался Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь, что на Кубенском озере, один из первых на Русском Севере. Много раз он горел, но чудесным образом за 750 лет своего существования вновь отстраивался и становился еще прекраснее. Во второй половине XX века монастырь совсем, казалось бы, канул в небытие, был окончательно стерт с лица земли. И снова, благодаря подвижническому подвигу семьи Плигинных, начал возрождаться.

Так и Белозерский полк. Дважды в XX веке он расформировывался. Первый раз вместе с Императорской армией в 1918 году и второй раз, казалось бы, окончательно, в 1946 году. Был несправедливо забыт. И опять возродился.

Все слова, которые здесь можно сказать, будут звучать выпендренно, излишне литературно. Понимающим, как говорили древние, достаточно.

ПОЯСНЕНИЕ ЛИЧНОЕ

Оглядываюсь с гордостью назад:

Прекрасно родовое древо наше!

Кто прадед мой?

- Солдат и землепашец.

Кто дед мой?

- Землепашец и солдат.

Солдат и землепашец мой отец.

И сам я был солдатом, наконец.

Сергей ВИКУЛОВ

Историю можно (и нужно!) открывать через свои семейные предания,



Три фронтовика в Вологде: Сергей ОРЛОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Сергей ВИКУЛОВ

легенды, домашние архивы, через свою родословную, через прошлое отчей земли. Тогда она видится живой, близкой, очеловеченной, родной.

Наша семья дружила с двумя выходцами из белозерских земель - Сергеем Сергеевичем Орловым и Сергеем Васильевичем Викуловым, знаменитыми на Вологодчине, да и в современной культуре России хорошо известными.

Я их помню с раннего детства. К Орловым в Ленинград мы приезжали в пору белых ночей. Как к своим родным, навещался к ним и я один, будучи студентом. С Викуловыми, Сергеем Васильевичем и его сыном Сашей, рыбачили на Андозере в Белозерском районе, на их родине. Да и в Москве все мы встречались постоянно. Общими были литературные, творческие интересы, взгляды на жизнь, а у моего отца была и близкая с двумя белозерскими тезками биография, родственная судьба, которая крепилась настоящей мужской дружбой. Действительно, жили и служили три товарища...

Каким был Белозерск в пору их ранней юности, в беззаботное (так

сейчас думается в дымке прошедших лет) предвоенное время? А всё таким же, каким он был и для поколений мальчишек, которые здесь рождались, жили, не ведая, что в любой момент ураган беды может их, молодых, сорвать, как листок, с крепкого родительского дерева и унести по дорогам очередной войны.

Пенсионер Г.А. Пучков, бывший врач по профессии, вспоминает Белозерск 30-х годов именно так - словно приснившуюся сказку. Вероятно, и Викулов с Орловым видели его таким же: «С палубы парохода пассажирам открывалась величественная панорама уходящего в гору города со всеми его 17 храмами, увенчанными 11 шпилями и 50 главами, и серой деревянной каланчой с проблеском солнечного зайчика на медной каске пожарника. Смотреть и не наглядеться».

Нет уж сегодня многих храмов, погублены они нашей беспамятностью, да и городская пристань практически бездействует... Но остался знаменитый Обводный канал, и он тепло вспоминается: «Набережная канала - мостки и бечевник - была самым из-



Валерий ДЕМЕНТЬЕВ

любленным, оживленным и веселым местом для воскресных прогулок горожан целыми семьями. Водный путь был единственной ниточкой, соединяющей Белозерск с миром. Автобусного сообщения не существовало, грузовых машин было мало, да и переезд на них был связан с большими хлопотами, уговорами и неудобствами из-за разбитых дорог».

Юные в те годы Викулов и Орлов уже пописывали стихи. У меня сохранилась одна из первых книг Сергея Васильевича Викулова, выпущенная в Вологде после войны. Тонкая, скромная, на желтой бумаге... И стихи, ничем особо не запоминающиеся, кроме одного четверостишия, которое, как мне кажется, хорошо рисует белозерскую юность поэта с его памятной нам интонацией простодушия:

*Ухожу я в озеро, ребята,
Истомилось сердце - не могу!*

*Теплые вечерние закаты
Мне не пережить на берегу.*

Но вот пришла, вернее, нагрянула в тепло отчего дома и родного озерного края стужа войны. Белозёры, как дозорные с деревянных башен земляного вала, усматривая передвижения неприятеля, наблюдали то зарево бомбежек над далеким Тихвином, то, когда прорвали блокаду Ленинграда, всполохи пожарищ за горизонтом. И слово-то какое упоминает Г.А. Пучков - словно из летописей, описывая, как через город в 1942 году проследовали с ночевкой сибирские полки на помощь Ленинграду: «Рано утром войско ушло...»

«Каждое лето в Карголоме, - читаем дальше воспоминания белозерского ветерана, - организовывались учебные лагеря для допризывников и новобранцев. Летом 1944 года, как раз в сенокос, дошла очередь и до нашего поколения. В два ряда были поставлены палатки, в них сколочены нары, выданы чехлы для матрасов, подушки и одеяла. Постели заправлены. Ну а дальше - всё как в армии».

Нет, не совсем как в действующей армии. Далеко не так! Там - вздыбленная от снарядов земля, цепи наступающего противника за серыми коробками танков, внезапные налеты штурмовиков, снова огненные взрывы, смерти, ранения товарищей... В армии шла настоящая война. В эту войну со школьной скамьи ушли два Сергея - Викулов и Орлов.

Воспринимал ли я, человек следующего поколения, их, офицеров Великой Отечественной, как героев? Нет, особенного пиетета к ним не было, каждого из них я знал почти по семейному, как своих дядьёв. Помнил, и немало, из их биографий, читал стихи, знал наизусть многое из Орлова, всю его фронтовую классику... С Сергеем Сергеевичем я работал в Союзе писателей России. Печатался и у Викулова в журнале «Наш современник», который он возглавлял почти 20 лет; у меня в его редакции и среди авторов журнала было немало хороших друзей.

А потом, главным для нас счита-

лось тогда иное - они были нашими земляками. Это состояние души и жребий судьбы перевешивали все другие биографические детали.

Викулов скупо писал о войне, она у него где-то была под спудом, внутри, в глубине души. Орлов, более открытый к повседневности, возвращался к войне постоянно, всё в нем бурлило, клокотало, он и сам был скорый, как ветер, с разметавшейся огненной бородёнкой на обожженном, в рубцах, лице. Мой отец из этой троицы был самым по себе, «скрытным», еще и от горькой безотцовщины, но и он по-вологодски расходился, когда выпадало настроение. Война для него была нечеловечески трудной работой, он о ней редко вспоминал.

В 70-е годы Сергей Викулов и Валерий Дементьев обзавелись на своей родине домами, исполнив свою мечту, чтобы хотя бы летом приезжать в любимые с детства края. Еще раньше отец взял меня как-то на рыбалку в викуловские места. В Белозерске переночевали в двухэтажном доме колхозника (здание это и сегодня цело), что находился рядом с земляным валом, затем добрались на машине до села Карл Либкнехт, экзотически названного так местными крестьянами после революции (чаще, правда, говорят - Карлипки).

Село стоит на знаменитом Новозерском озере, где на острове Огненном существовал некогда богатый монастырь преподобного Кирилла Новозерского, местного чудотворца. Здесь побывал по дороге на Марциальные Воды, тогдашний и нынешний карельский курорт, основатель Белозерского пехотного полка Петр I. Снова видим некую символику.

Сегодня на острове находится знаменитая тюрьма для пожизненников, так называемый «пятак». От Карлипок мы на моторных лодках переправились в деревню Веромень на соседнем Андозере, ее уже сегодня нет, а тогда, живя в приютившей нас крестьянской семье, славно порыбачили.

Не так далеко от викуловских родных мест и отчие края Сергея Орлова - поселок Мегра, что стоит на одно-

именной реке. Сергей Сергеевич тоже мечтал прикупить где-то на родине избу, но у него при его суетливой жизни возможностей надолго выезжать в Белозерский район просто не было. И с финансами вечно было туговато. Орлов с семьей кормился на гонорары, называя свои стихи «мужиками». Так и говорил: «Меня мои «мужики» кормят».

Я думаю, что их военные специальности отразились на их характерах, сформировали в чем-то поведение, объясняют кое-какие жизненные поступки. Орлов был бесшабашен, как танкист, который на своем КВ (тяжелом танке «Клим Ворошилов») в прорыве обороны далеко опережал пехоту. Он увлекался своими теориями, не связанными с повседневной жизнью, был романтичен и прям. Викулов словно смотрел на современность через окуляр наводки своей гаубицы, трезво размечая, где и как уложить точнее снаряд. Он был неспешен в делах и повадках, но одновременно и смел, сто раз отмеривал, но когда уж решал, то рубил сплеча, по-военному командовал: «Та-а-к, Леня Фролов снимает вопросы с Распутиным, я сам согласовываю, та-а-к, повесть печатаем в ближайшем номере!» Валерий Дементьев шел как по минному полю, осторожно, про себя размечая, до какого пригорка, до какой опушки можно добраться невредимым. Всё в нем было подчинено одной цели - победить в жизни.

Интересен и другой, сближающий их факт личной жизни, вернее, одна из особенностей характеров: все они не любили технику, не хотели больше в ней копаться. И такое неприятие после офицерских инженерно-технических специальностей и навыков! Видно (пробую объяснить), до того надоело им железо на войне, все эти моторы и траки, разные там хитрые минные взрыватели и замедлители, солярка и порох, что глаза бы на всё это не глядели.

Чувствовалась в таком психологическом отторжении и крестьянская родословная, когда наследственная память вызывала совсем иные, теплые и человеческие, предметы и ме-



ханизмы, созданные для труда, а не для убийства. Военная служба для этих крестьянских сыновей (Орлов - выходец из учительской среды, но тоже сельской) была как бы поневоле, ради исполнения мужицкого долга защиты матерей, Родины, слабых. Война для них и не являлась в полном своем значении жизнью, а виделась предысторией, преджизнью, после которой они могли сами распоряжаться своей судьбой.

В этом они расходятся с известными литературными героями Э.-М. Ремарка - такими же фронтовыми тремя товарищами. Если у писателя воспето фронтовое братство, чистое и бескорыстное, которое видится антитезой страстям и порокам мирной жизни, то для поколения наших отцов-победителей рубеж страстей и пороков отсекала от мирного существования сама война, ее неестественность, чуждость человеческой натуре. Антигуманной природе войны можно было противопоставить только луч-

шие человеческие проявления, как то: героизм, отвагу, самопожертвование, милосердие, взаимовыручку и многие, многие другие.

По всем своим психологическим, нравственным, духовным качествам вологодские друзья-товарищи представляли собой глубоко русский тип труженика-солдата, столь убедительно обрисованный Твардовским. Мы, русские, всегда воевали поневоле. Вынуждены были воевать, отстаивать свои земли и свои интересы, доказывать свою правоту. «Наши войны», - писал в эмиграции публицист И.Л. Солоневич, - по крайней мере, большие войны, всегда имели характер химически чистой обороны. Так же как германские - завоевания и английские - рынка. Не потому ли на трех языках термин «война» так близок терминам: «добыча» - в немецком (der Krieg - kriegen); «торговля» - в английском (the war и the ware); и «бедствие» - в русском (вой и война)». Хорошее наблюдение!..

В троих наших героях, офицерах Великой Отечественной, я вижу именно такие тысячелетние черты, психологические мотивации, поступки, характеры, доставшиеся им от воинов-белозерцев, наших общих далеких предков и близких нам прадедов.

А с кого я еще могу брать пример?.. Война для нас, родившихся в середине прошлого века, хотя и была где-то совсем рядом, но - там, далеко, мы - солдатские дети той войны.

К 50-летию окончания войны я собрал и выпустил в издательстве «Современник» антологию поэзии «Шел отец...», названную так по строчке стихов Юрия Кузнецова «Шел отец, шел отец невредим через минное поле». Я и спустя двадцать с лишним лет считаю, что наше поколение сполна высказалось о самом главном, как оказалось, в нашей судьбе: «В пятидесятых рождены, войны не знали мы, и всё же в какой-то мере все мы тоже вернувшиеся с той войны...». Так хорошо писал ушедший вслед за Юрием Кузнецовым из жизни, рано и преждевременно, Николай Дмитриев. Поэтому историзм, тяга к традиции, интерес к наследию, к отцовской шинели (кто помнит, так называлась замечательная картина художника Виктора Попкова) - в нашей крови, эти качества естественны и привычны для нас.

Но вот время всё дальше и дальше стало отсчитывать года, десятилетия, отлетать от военных лет. Первым ушел из жизни Сергей Сергеевич Орлов. Затем на 76-м году жизни умер мой отец. В XXI веке закончил свой земной путь Сергей Васильевич Викулов.

Сергею Орлову установили очень хороший памятник в родном Белозерске, открыли музей, назвали его именем в Вологде одну из самых древних и по-старинному красивых улиц на берегу реки. Он везде оказался без своих друзей.

Я помню, как Сергей Сергеевич в любое время суток, почти ежедневно звонил нам домой. Порой вопросы его были странными:

- Как там у фрицев звали автомат? Шмайссер?..

Это название позже всплывало в его стихах. Война поэта никуда не отпускала.

Насчет белозерского происхождения трех товарищей читатель может подумать, что это простое совпадение. Нет, уверяю вас, не совпадение, а закономерность. Для меня история Белозерского полка - это и их судьбы. Я всегда помнил стихи Сергея Орлова о ратнике Белозерского полка, представляющие собой монолог русского воина с Куликова поля:

*Нет России с песней державной,
С моря синя до моря синя,
Ни тесовой, ни златоглавой
Нет еще на земле России.
Есть земля вековая обида,
Есть рабы, восставшие к мести:
Чем так жить - лучше быть убиту,
А для нас это дело чести.
Всё сомнут мохнатые кони,
По степи помчат на аркане,
Но на нас наткнется погоня,
Ну а мы отступить не станем.
Конь мой гривой мотает рыжей,
Прыщут тучей на солнце стрелы,
Кычут коршуны, кружит крыжень,
А какое до них нам дело!
Как орда Мамая качнется,
Как мы ляжем костями на поле, -
Так Россия с нас и начнется
И вовек не кончится боле.*

Эти строки автора реквиема «Его зарыли в шар земной» Сергея Орлова - обо всех русских солдатах, в том числе и о земляках-белозерцах. Поэт естественно ставит в один ряд героических ратников и наших солдат-современников.

Историческую предысторию Орлов искал везде и, найдя ее, радовался, как ребенок. Для него настоящим открытием, к примеру, стал факт участия Константина Батюшкова, которого многие считают сладкоречивым и изнеженным пиитом «звуков италийских», в двух войнах с Наполеоном и в войне со шведами. Константин Николаевич в 20 лет ушел добровольцем в народное ополчение, участвовал в Прусском походе против Наполеона. Там же получил тяжелое ранение. После выздоровления поэт вновь в действующей армии, принимал уча-

стие в Финляндской войне (1808-1809 гг.), совершал с корпусом Багратиона легендарный марш по льду Ботнического залива на Аландские острова. С 1813 года Батюшков вновь в армии, на этот раз принят на военную службу с зачислением в Рыльский пехотный полк штабс-капитаном и с назначением в адъютанты к генералу А.Н. Бахметеву. В октябре того же года участвовал в Лейпцигской «битве народов», за которую был награжден орденом святой Анны II степени.

Сергей Орлов справедливо считал Батюшкова первым русским фронтовым поэтом, к коим принадлежал и сам. Такая переключка эпох, русских армий, родственных душ стихотворцев была для него очень важна, и он ею особенно дорожил, гордясь «памятью сердца». Любил читать из «военного» Батюшкова:

*Несут полки славян погибель
за врагом.
Достигли Немана -
и копыя водрузили.
Из снега выросли
бесчисленны шатры.
И на берегу зажженные костры
Всё небо заревом
багровым обложили.*

Как ему, белозерскому парню, рыбачившему на зорьках на озере, или танкисту, отдыхавшему на таких же биваках, называемых дневками, были не близки эти строки?.. Опыт войны у каждого человека близок фронтовому опыту его предков.

Об этом Сергей Сергеевич Орлов как руководитель Союза писателей России говорил в Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре на открытии памятника Константину Николаевичу Батюшкову, который вологжане восстановили на том месте, где покоится прах поэта-фронтовика, учителя Пушкина. О военной жизни Батюшкова и мой отец написал небольшую повесть «Питомец муз», с интересом прочитанную Орловым.

Только почему-то не знали они, что

в соседнем строю с воинами начала XIX века, в одной армии с сотенным в первой войне, подпоручиком во второй, штабс-капитаном в третьей Константином Батюшковым, во всех перечисленных кампаниях с французами и шведами принимал участие полк, носивший имя Белозерского, имя их любимой родины. Так мы порой проходим мимо главного, основного, видя лишь частности и детали.

Поэтому задачу своей книги я вижу еще и в том, чтобы восполнить этот пробел в памяти поколения наших отцов. Многие они для нас открыли, дали нам жизнь, свою породу, но что-то и не успели сделать, что-то недосказали.

По сути, для меня знакомство с историей Белозерского полка началась с подвигов гвардии старшего лейтенанта, командира тяжелого танка КВ-1 Сергея Орлова (1921 - 1977 гг.) из села Мегра Белозерского района, командира артиллерийской батареи Сергея Викулова (1922 - 2006 гг.) из деревни Емельяновской Белозерского района и старшего лейтенанта взвода инженерно-сапёрной разведки Валерия Дементьева (1925 - 2000 гг.)* из деревни Каргачево Кубено-Озерского района.

Когда Россия отмечала сразу две годовщины - 60-летие Великой Победы над Германией и 625-летие Куликовской битвы, я обратился с письмом к губернатору Вологодской области В.Е. Позгалёву с предложением установить в Белозерске гранитный камень-валун в память о наших предках, которые, по словам Димитрия Донского, погибли «ради земли Русской и веры христианской, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили».

Реакция, к моей радости, последовала незамедлительно: в области была создана юбилейная комиссия; 1 сентября во всех вологодских школах прошли «уроки мужества», посвященные двум датам, а в конце октября на территории Белозерского кремля, у Спасо-Преображенского собора,

* В том, что в Ростове Великом в 2009 году наименован Белозерским инженерно-сапёрный полк, имеется и еще одна символическая деталь. Для автора этих строк.

состоялось торжественное открытие не какого-то там памятного камня, а настоящего гранитного памятника-символа с выкованным местными умельцами железным свитком, на котором выгравированы такие слова: «В год 625-летия Куликовской битвы в память князей белозерских с дружиною, погибших «ради земли Русской и веры христианской, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили» (Димитрий Донской), от благодарных потомков».

Теперь этот памятник стал местом, где белозерская молодежь отмечает военные годовщины и воинские праздники, где проходят театрализованные представления, восславляющие удачу, мужество и храбрость воинов-Белозерцев.

Так для меня сомкнулись времена, и подвиги пехотинцев Белозерского полка объединились с подвигами наших отцов - солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

ОТ СИНЕУСА ДО ВАСИЛЬКА РОСТОВСКОГО

**Вчера прошло,
завтра еще не наступило,
сегодня поможет Господь!**

Девиз русского воинства

«Время призвания варягов» - так определяют отечественные историки 862-й год. Дважды в этой связи упоминается в Повести временных лет Белоозеро. Прочитав этот отрывок: *«И избрахся 3 браться с роды своими, пояша по собе всю русь, и приидоша, старейший Рюрик седее Новегороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Изборсте Трувор... По двуже лету Синеусу умре и брат его Трувор. И прия власть Рюрик, и раздая мужем своим грады, овому Полоцк, овому Ростов, другому Белоозеро»*. Двойное упоминание северного форпоста Руси в столь кратком, но и в чрезвычайно важном для отечественной истории контексте летописи, может быть объяснено только его значением. Белоозеро фигурирует как

в первой тройке древних городов наряду с Новгородом и Изборском, так и во второй - рядом с Полоцком и Ростовом. Ясно сказано - «град Белоозеро», а не местность, княжество, волесть и т.п.

Несмотря на продолжительные и масштабные раскопки, в Белозерье культурных следов второй половины IX века так и не найдено. Не было, значит, «града»?.. Если Синеус пришел с Балтики «с роды своими», то есть со всем людским и хозяйственным «обозом» - одноплеменниками, дружиной, обслугой, скарбом, в том числе и с оружием, было бы естественно ожидать проявления хоть каких-то следов пребывания варягов в Белозерье. Но их, повторяю, нет или еще не найдено. Не считать же таковым пустой курган в Белозерье, будто бы ставший усыпальницей варяжского князя?!

Через два года Синеус и одновременно его брат Трувор - сосед по Изборску «чудесным образом» «умре», самоустранившись с исторической сцены. Так и хочется добавить - ради воцарения на Русской земле единственного властелина Рюрика, родоначальника великой княжеской династии.

Непонятно, кстати, зачем было тащить в такую даль трем, как принято думать, скандинавам, двое из которых не женаты и бездетны, а значит, судя по всему, не имевшим элементарного житейского, а вместе с ним и политического, военного, хозяйственного опыта?! Неужели на просьбу веся, угро-финского племени, проживавшему оседло в Белозерье, нельзя было подыскать в заморских краях более опытных «володетелей»?! Тем более, что они, Синеус и Трувор, вскоре не выдержали своего «сидения» и одновременно умерли в свою самую юную пору (а тогда женились очень рано, особенно князья).

Если следовать рассказу летописи, Рюрик из Новгорода распорядился посадить своего «мужа», то есть соратника, видного для того времени человека, «на Белоозеро». Правь, мол, и володей весью дальше. Никаких сле-

дов преемника также не сохранилось, ни его имени, ни звания мы не знаем. Но то, что опять в раздаче земель выделено Белоозеро, очень характерно (Труворов Изборск, например, забыт).

Акцентирование внимания на Белоозеро может быть объяснено только одним: спустя два с половиной века после описываемых Нестором событий, около 1113 года, этот северный регион был широко известен. Не в силу удаленности и таинственности, а по причине своего, как бы сегодня сказали, стратегического хозяйственного значения. Белоозеро считалось богатой вотчиной киевских князей, куда за сбором дани и податей отправлялись самые знатные люди великого княжества. Поэтому исторически «закрепить» Белоозеро за Русью являлось делом естественным и логичным.

И с племенем весь, чуть ли не в единственном числе будто бы обитавшим в этом озерно-лесном краю, недавно разобрались археологи.

Здесь необходимо заметить, что весь Белозерский район, как, может быть, никакой другой на Русском Севере и в Центральной России, обследован археологическими экспедициями. Заключение ученых однозначны: «После многолетних разведок на территориях вокруг Белого озера и в верхнем течении реки Шексны можно сделать вывод, что на этой территории в IX - X вв. существовало сравнительно небольшое число финских поселений». И далее: «...Современные археологические данные о финских памятниках IX - X вв. на Белом озере не дают основания считать, что здесь находилось основное ядро племенной территории веси. Эта небольшая группа памятников едва ли соответствует летописным характеристикам веси как одного из главных участников событий, связанных со становлением Северной Руси».

Легендарно и скандинавское происхождение Синеуса (и двух его братьев). Виднейший современный исто-

рик, директор Института Российской истории РАН А.Н. Сахаров, говоря о монографии В.В. Фомина «Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу» (2005 г.), констатирует: «Монография вернула нашу науку к реальной исторической оценке варягов как южнобалтийских славян. После этой книги только злобные и закомплексованные неучи или слабо осведомленные в российской истории люди могут утверждать, что варяги во главе с Рюриком - это норманны, скандинавы». В.В. Фомин, автор этого выдающегося исследования, положившего конец спорам почти трех столетий, проделал колоссальную работу, проанализировав источниковую базу, и убедительно доказал, что своими корнями варяжская Русь связана со славянским южнобалтийским Поморьем, определявшим в IX-XI вв. жизнь всей Северной Европы.

В книге о Белозерском полке вряд ли целесообразно подробнее останавливаться на сугубо научных разработках и дискуссиях, правда, имеющих огромное значение для изучения прошлого не только Белозерья, но и всей России. Для нас выводы ведущих ученых (а выше еще цитировались заключения директора академического института археологии Н.А. Макарова) имеют свой интерес при рассказе о начальной истории Белозерска.

Обратите внимание на везде фигурирующий IX век - время первого упоминания Белоозера, прихода сюда Синеуса. Значит, первая княжеская дружина, прообраз будущего Белозерского полка, состояла из воинов славянского племени, которое поселилось на берегах Белого озера.

В крайне полезной и скрупулезно подготовленной офицерами Генерального штаба Императорской армии книге «Русская военная сила» (том 1-й, издание 2-е, 1892 г.) содержится подробная характеристика славянских дружин далекого времени*. Мы скажем о главных.

* Главными элементами вооруженных сил Древней Руси были княжеская дружина и народное ополчение.



Городское вече решало вопросы о войне и мире. Славяне сражались пешими, любили простор, дорожили свободой и довольствовались всегда малым. В поход отцы брали старших сыновей, младшие оставались дома. Воины предпочитали одиночный бой. Защитных лат до IX века не носили, сражались в одних портах. Дружинники отличались сообразительностью, переимчивостью, в бою сами принимали решения. Членами дружины являлись мужи. Они стояли в боевом порядке впереди войска. Младшую часть дружины называли молодью, гридьбой (гридями). В порученцах князя ходили отроки, детские, пасынки. Позднее мужи дружины стали называться дворянами, так как она стала близка княжескому двору.

Сама дружина подразделялась на две части - боевую и кошовую (обоз). Кроме дружины, начали формироваться и полки. В последних сражались вои. В целом княжеское войско и состояло из дружины и воев (народ-

ного ополчения, полков). «Считались обязанными военной службой, - замечают авторы «Русской военной силы», - все способные носить оружие, и уклонение от службы преследовалось судом».

Поэтому существовала ратная повинность - от нескольких сох. Одна соха представляла собой землю, которую можно запахать руками трех человек при трех лошадях. Три сохи составляли конного ратника. Кстати, в рати участвовали охочие люди и наемные дружины. Кто такие «охочие»? Поскольку в освоении и развитии Русского Севера огромное значение играл Великий Новгород, то там так называли ушкуйников. Речными и озерными судами являлись лодьи, насады, ушкуи. Ушкуй с веслами среди этих плавсредств - самый известный, он вмещал 12 ушкуйников - охочих людей. Пехота при этом оставалась главным родом войск. Но при развитии ратного дела и наземных путей конники все-таки стали играть

основную роль, а пехота - вспомогательную.

В XII веке Новгород мог выставить до 20 тысяч ратников. В том же веке мужи стали дворянами, а отроки боярских дружин - боярскими детьми.

Из вооружения назовем чисто русское изобретение - ножи засапожные. Еще недавно о них в вологодских деревнях складывались частушки. Особенно любят их петь Анатолий Ехалов, вологодский писатель и кинематографист, и Константин Пирожков из «золотой десятки гармонистов России»:

*Мы ребята-ежики,
В голенищах - ножки.
По две гирьки на весу,
Револьвер на поясу.*

Бой на засапожниках являлся доказательством мужества и доблести рати. Кстати, и в «Слове о полку Игореве» имеется упоминание о засапожных ножах.

Ратное умение, жаркий рукопашный бой по-своему отразились и на русской пляске. Сошлюсь в этой связи на один из рассказов А.К. Ехалова: «Виктор Соловьёв, хранитель народного фольклора, искусный гармонист и плясун, много лет собирает традиции и приемы деревенской пляски. Он не без основания доказывает, что русская пляска есть не что иное, как скрытое боевое искусство. И что человек, в полной мере владеющий этим искусством, непобедим. Поскольку русская пляска, как боевое искусство, превосходит все известные и широко рекламируемые восточные единоборства. Действительно, стоит только увидеть, как Виктор со своими юными учениками пляшет, сомнений в этом не останется. Тонкий и стройный, как тростинка, Виктор во время пляски вращает вокруг себя огромное бревно. И оно летает, как соломинка.

Попробуй подступись!». Анатолий Константинович любит увлекаться, но здесь он точен: настоящий русский мужской перепляс - это и своеобразный поединок, где никто из пляшущих не хочет уступать, выделяя такие ухарские коленца и так самозабвенно, что наряду с очевидным танцевальным искусством (не будем сбрасывать и его со счета) в рисунке пляски проступают и грозные очертания рукопашной схватки. Совсем как у Твардовского в «Василии Тёркине»:

*И пошел, пошел работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.*

Пешая рать подразделялась на копейщиков, вступавших в рукопашный бой (понятно, что они были вооружены еще и копьями), и лучников (стрельцы). Над ратью реяли стяги (знамена). Военные историки XIX века подчеркивают: «Славяне уже в древнейшие времена чрезвычайно высоко чтили свои знамена, считая их в военное время выше своих идолов, а в мирное сохраняли их в своих главных храмах и воздавали им Божеские почести». Каждая область (земля) или город имели свой стяг. Интересно, каким он был у древних белозёров?

Музыка, как и стяги, были обязательной принадлежностью рати. Из музыкальных инструментов можно назвать волынку, гудок, дудку и гусли (с VI века). В войсках настроение солдат поднимали трубы и бубны (барабаны). В походе против волжских булгар в 1220 году упоминаются еще сурны и сопели. Народный инструмент зурна сохранился до сегодняшних дней на Северном Кавказе. Интересно, что сурны и сопели «на вооружении» русской армии просуществовали до XVIII века.

Продолжение следует.



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



Храм Христа Спасителя, где проходили Архиерейский и Поместный Соборы 2009 года



Крест и Евангелие на Соборах всегда находились на видном месте - участники Соборов стремились, чтобы их воля совпадала с волей Божией

МЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ ПОЛЬЗОЙ ЦЕРКВИ

Заседание «круглого стола», посвященного итогам
Архиерейского и Поместного Соборов 2009 года

Информационно-издательская комиссия Вологодской епархии, Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастыря провели в зале заседаний Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря заседание «круглого стола», посвященного Архиерейскому и Поместному Соборам. В нём приняли участие делегаты Поместного Собора 2009 года: архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан (владыка участвовал и в Архиерейском Собрании), секретарь епархиального управления протоиерей Игорь Шаршаков, наместник Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря игумен Дионисий (Воздвиженский), председатель приходского совета череповецкого храма Рождества Христова Лариса Витальевна Федченко, а также делегат Поместного Собора 1990 года, настоятель череповецкого храма Рождества Христова протоиерей Георгий Трубицын.

В обсуждении затронутых вопросов также участвовали духовный цензор епархиальной газеты «Благовестник» иерей Александр Лебедев, сотрудники областной газеты «Красный Север» А.К. Сальников и П.М. Давыдов, ведущий православной программы на областном радио М.В. Омелин, обозреватель областного телевидения А.А. Сачков, руководитель официального сайта Вологодской епархии И.А. Нечаева, ведущий программы «Воскресная школа» на телеканале «Провинция» диакон Кирилл Киселев. Вел заседание ректор Вологодского православного духовного училища протоиерей Алексей Сорокин.

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Напомню, что к Соборам мы начали готовиться заблаговременно. Было принято решение об особых прошениях на Литургии, на сугубой ектении. Наверное, благодаря общей молитве произошла консолидация сил, Соборы прошли очень мирно и спокойно. Новый Предстоятель Русской Православной Церкви был определен в первом туре. Это одно из свидетельств единодушия и крепости в рядах Русской Православной Церкви.

В 1918 году Патриарх Тихон был избран тоже в Храме Христа Спасителя. И то, что разрушенный безбожной властью этот храм в наше время был возрожден, говорит о некотором преемстве Архиерейского и Поместного Соборов 2009 года и Поместного Собора 1917-1918 годов. Если посмотреть церковную статистику тех лет - количество монастырей, приходов, духовенства, то увидим, что эти данные близки к современным. Количественный рост был одним из объективных показателей жизни и роста Русской Православной Церкви за время, кото-

рое прошло со времени Поместного Собора 1990 года.

Дай Бог, чтобы количественный рост отражал еще и качественный рост нашей Русской Православной Церкви. Количество само по себе еще не отражает качество. Законы диалектического материализма утверждали, что количество переходит в качество. В жизни Церкви мы видим обратную картину, когда качество переходит в количество. Пришел Преподобный Сергей на Маковец, устроил обитель, в которой выросла целая плеяда преподобных отцов, большинство которых ушло на Север. Один из его содумников, преподобный Кирилл, основал монастырь на Сиверском озере, и впоследствии здесь тоже воспиталась целая плеяда новых учеников, многие из которых прославлены Церковью в лике святых. Другой сподвижник игумена Радонежского, преподобный Димитрий, стал основателем Спасо-Прилуцкого монастыря и небесным покровителем не только Вологды, но и всего Русского Севера.

Перед новоизбранным Патриархом стоит очень серьезная задача, как мне



Архиепископ
МАКСИМИЛИАН



Протоиерей
АЛЕКСИЙ СОРОКИН



Игумен ДИОНИСИЙ



Протоиерей
ИГОРЬ ШАРШАКОВ

кажется, уже не количественного, а качественного роста в Церкви. Это, наверно, самая главная задача. То, что произошло объединение Русской Православной Церкви с Зарубежной Церковью - это, я считаю, показатель тоже качественный: у нас есть внут-

реннее стремление, внутренние силы к объединению. И я надеюсь на то, что Святейший Патриарх Кирилл сможет эту линию продолжить и укрепить.

Протоиерей ИГОРЬ ШАРШАКОВ, секретарь Вологодского епархиального управления:

- Когда я готовился к поездке на Собор, я всех своих духовных чад просил: молитесь о том, чтобы не было разногласий. Конечно, разногласия всегда есть. Но чтобы не было конфронтации.

Церковь - живой организм, и в нем должно быть единство. Не будет единства - это болезнь и, в конце концов, смерть организма. На Соборе я увидел то самое единство, которое должно быть в Церкви.

С другой стороны, я, как секретарь епархиального управления, обращал внимание на организацию. Для меня это представляло профессиональный интерес. Количество участников - 700 человек. Это только участники Собора, а сколько было обслуживающего персонала! С архиереями приезжали иподиаконы. Всех надо разместить, накормить, сделать так, чтобы было минимальное количество трудностей. Я поразились организации, настолько все было четко, слаженно и без каких-либо эксцессов.



В центре - члены вологодской делегации
на Поместном Соборе



А.В. ФЕДЧЕНКО

Протоиерей
Георгий ТРУБИЦЫН

Иерей Александр ЛЕБЕДЕВ



М.В. ОМЕЛИН

Игумен ДИОНИСИЙ (Воздвиженский), наместник Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря:

- Мне запомнились выступления митрополита Кирилла, тогда еще местоблюстителя, где он особенно подчеркивал, что мы должны хранить наши православные традиции. Он подчеркивал то, что никаких реформ сверху в Церкви не будет.

Не секрет, что к митрополиту Кириллу иногда предъявлялись претензии и до Собора высказывались самые различные мнения по поводу его кандидатуры. Некоторые видели в нем либерала, человека, который стремится реформировать Церковь, изменить ее, оmodernить. Но владыка Кирилл неустанно подчеркивал, что это не так. Особенно врезались мне в память такие его слова: «Не дай Бог кому-нибудь из Патриархов войти в

историю с именем реформатора». Он сказал, что мы знаем одного реформатора (видимо, имелся в виду Патриарх Никон). И знаем, каковы были последствия его реформ, которые насаждались сверху, силовыми методами и не имели поддержки церковных низов, народа Божия. Митрополит Кирилл старался этим подчеркнуть, что такие реформы нашей Церкви не нужны.

Поскольку жизнь меняется и обновляется, неминуемо в Церкви появляются новые формы свидетельства о Православии, о Христе. И, конечно, на это нельзя закрывать глаза. Владыка Кирилл говорил, что мы должны в будущем обратить особое внимание на молодежь, на то, чтобы те наши соотечественники, которые крещены, которые являются христианами, были ими не только по имени, но и действительно стали людьми цер-



Диакон КИРИЛЛ КИСЕЛЕВ



И.А. НЕЧАЕВА



А.А. САЧКОВ



П.М. ДАВЫДОВ



Идет заседание Поместного Собора 2009 года

ковными. Миссия Церкви должна продолжаться, укрепляться, усиливаться. Но всё должно быть в рамках наших православных, русских церковных традиций.

Были высказаны предложения по поводу возобновления практики предсоборного присутствия, то есть обсуждения каких-то наболевших церковных проблем еще до созыва очередного Поместного Собора. Это мне тоже кажется очень важным и существенным.

Лариса Витальевна ФЕДЧЕНКО, секретарь епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации, председатель приходского совета череповецкого храма Рождества Христова:

- Интерес к этому событию был огромен не только у верующих, но и у людей светских. Когда мы находились в Москве, нам звонили из двух наших череповецких газет, телекомпаний, и уже по возвращении мы собирались с нашими прихожанами

(около 60 человек), встречались с корреспондентами череповецкой газеты «Речь». Почему-то первый вопрос был: «Как вас разместили?». Я тоже хочу с этого начать. Мы жили в гостинице «Университетская», в номере были икона, Евангелие. Меня, как отметил только что о. Игорь, поразила четкая организация Собора. Позаботились о том, чтобы привезти почитаемые иконы Божией Матери: древнюю Феодоровскую и чудотворную мироточивую «Умягчение злых сердец».

Самое яркое впечатление, которое было у меня, - это, конечно, то, что собралось вместе так много архипастырей, священнослужителей, монашествующих. Наверно, такого нигде больше не увидишь. У большинства мирян все-таки неполное отношение к Церкви, мы как-то боимся отдаться полностью на волю Божию, посвятить свою жизнь Господу. А здесь собрались люди, которые служат в доме Отца Небесного, которые сделали со-

знательный выбор, предпочтя вечное временному. Конечно, находиться среди таких людей на литургиях, молебнах - огромная честь и осязаемая благодать Божья. Это ни с чем не сравнимое чувство. Я очень за это благодарна.

Протоиерей ГЕОРГИЙ ТРУБИЦЫН, настоятель череповецкого храма Рождества Христова:

- Мне выпала великая честь присутствовать на Поместном Соборе 1990 года. Он проходил в Троице-Сергиевой Лавре, в Трапезном храме, 7-8 июня.

Голосование тогда прошло в два тура, так как в первом туре никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий Патриарх, набрал 166 голосов из 317, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир - 143 голоса. Голосование закончилось в час ночи, зазвонили колокола Лавры. Был отслужен молебен.

10 июня в Богоявленском Елоховском соборе состоялось наставление нового Российского Патриарха.

Эпоха Патриарха Алексия II была трудной. У нас не было литературы.



Нареченного Патриарха КИРИЛЛА (в центре) возвели на Патриаршее Горнее место старейшие митрополиты Русской Православной Церкви - Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР (справа от Патриарха) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР (слева от Патриарха). Они трижды посадили нареченного Патриарха на Патриарший трон со словами «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь»

В нашу страну пришли протестанты. Они несли духовность, которая противоречит Православию. Но мы старались противостоять этому. Слава Богу, всё изменилось сейчас. У нас есть воскресные школы, издаются книги. Мы можем открывать людям путь к Богу.

После того, как высказались все участники Соборов, началась дискуссия.

М.В. ОМЕЛИН:

- Весь этот период в СМИ не смолкали «избирательные кампании», о которых сами кандидаты, может быть, и не подозревали. Это все обсуждалось далеко не всегда доброжелательно, далеко не всегда без «желтизны», не всегда людьми осведомленными. Насколько эти настроения проникли на Собор и повлияли ли каким-то образом на ситуацию?

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Я этого не заметил. Если посмотреть результаты голосования Архиерейского и Поместного Соборов, они, как калька, практически накладываются друг на друга. На архиерейском голосовании почти 50% голосов было у Патриаршего местоблюстителя. Порядка 25-30% было у митрополита Климента, 8% - у митрополита Филарета. Остальные кандидаты набрали по 2-3%. Примерно такая же ситуация сложилась и на Поместном Соборе. Митрополит Кирилл набрал порядка 70%, а митрополит Климент - порядка 30%.

Полагаю, что если бы влияние было, то это соотношение могло бы измениться. И даже если оно всё-таки было, то не настолько существенное, чтобы отразиться на цифрах, которые мы видим.

Протоиерей ИГОРЬ ШАРШАКОВ:

- Я согласен с Владыкой. Мне кажется, эта «избирательная кампания» - попытка сознательно или бессознательно перенести светские стандарты на церковную жизнь, причем людьми, имеющими к Церкви очень маленькое



Для голосования были установлены специальные кабинки

отношение. Может быть, это представляло интерес для тех, кто постоянно находится в Интернете. Я туда захожу только по нужде.

Игумен ДИОНИСИЙ (Воздвиженский):

- Мне кажется, что все эти разговоры и разные высказывания СМИ, предшествовавшие Собору, не пересекались с настроениями, которые царили на нем. Может быть, кампания была шумной, но она оказала влияние на людей, которые не имели отношения к Собору. Суждения, которые были вне Церкви, очень различались с тем, что было внутри. И Архиерейский Собор, по-моему, очень красноречиво показал, что архиереи выражают свое мнение вне зависимости от мнения мира. Это подтвердило, что существовало единогласие.

Хотя момент выборов в Церкви еще является не до конца продуманным, так как некоторые делегаты говорили, что не знают тех архиереев, за которых голосуют. Поэтому неплохо

было бы, чтобы кандидаты на патриарший престол рассказывали о своем видении церковной жизни, о том, как предполагают решать проблемы Церкви. Это необходимо, чтобы голосование было осознанным и логичным.

А.К. САЛЬНИКОВ:

- Отношение к Церкви в нашем обществе вступает в какую-то новую фазу, требуются новые движения и со стороны общества, и со стороны Церкви. Ведь нецерковность агрессивных сотрудников СМИ может влиять не только на отношения внутри СМИ, но и на Церковь. Открыто идя навстречу обществу, не подвергается ли Церковь опасности?

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Если я правильно понял, вопрос о взаимном влиянии государства и Церкви. Конечно, невоцерковленное общество будет негативно воздействовать на Церковь. Этого мы исключать не можем. Если мы пытаемся вытаскивать из грязи человека, то, естественно, этой грязью измараемся. Но если мы осознаем это, то мы предпринимаем соответствующие меры для того, чтобы меньше измараться. Вытаскивая другого, следует заботиться о том, чтобы самому не быть втянутым в эту грязь. Для этого необходимо следующее. Во-первых, его должны осуществлять люди, подготовленные к этому. Во-вторых, о них должна сугубо возноситься молитва в Церкви. В-третьих, они должны очищать свою душу и молитвой, и покаянием.

Церковь никогда не была вне общества. Она всегда была с обществом, с государством и в радостях, и в горестях. И мы это видим на примере почившего в Бозе Патриарха Алексия. Он был всегда проникнут проблемами общества, на все серьезные события в стране, мире он всегда реагировал заявлениями, обращениями или другими официальными документами.

Наше общество расцерковляется, становится все более безнравственным. Грех становится более агрессивным, наглым. Это мы замечаем. Конечно, с таким обществом контак-

тировать становится все сложнее и сложнее. Та информационная кампания, которая была развязана перед Собором, с одной стороны, говорит об интересе к этому событию; но следует вопрос: что это за интерес и какова его цель? Положительное это явление или негативное? Надо иметь осторожность, предусмотрительность и рассудительность. Когда к преподобному Антонию Великому собрались братья, он спросил у них, какая добродетель самая важная. Один говорил, что это пост, другие - что важнее всего молитва, третьи считали - послушание... И святой Антоний сказал, что все это важно, нужно и необходимо, но над всем этим должно быть рассуждение. И тогда любой подвиг, любое дело будет приносить благой плод. Мне хотелось бы сказать, что и Церковь с государством должна проявлять рассудительность, и государство должно в ответ с Церковью контактировать с рассуждением. И тогда будет взаимная польза.

Иерей АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ:

- Чем руководствовались при выборе Патриарха участники Поместного Собора?

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Я руководствовался пользой Церкви...

А.А. САЧКОВ:

- Если бы выбрали митрополита Климента, то что бы изменилось?

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Сослагательное наклонение вряд ли имеет смысл употреблять... Мы старались выбирать так, чтобы наша воля совпадала с волей Божией. Об этом была молитва более месяца во всех храмах. Об этом каждый сам молился в частной молитве.

Прямо скажу, что обстановка была очень деликатная. Я со многими архиереями общался. Никто мне не задавал вопросов, за кого я голосовал, и я никого об этом не спрашивал. И членам нашей делегации я никаких указаний не давал. Здесь должна была проявиться воля Божия. А для этого нужно, чтобы был мир, тишина и спокойствие. Как раз такая обста-



На интронизации шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси 1 февраля в Храме Христа Спасителя присутствовали Президент России Д.А. МЕДВЕДЕВ, премьер-министр В.В. ПУТИН, другие официальные лица, почетные гости из многих стран мира

новка царила на Соборе. Каждый мог свободно сделать выбор.

Протоиерей Георгий Трубицын рассказывал, что в 1990 году было несколько кандидатов, почти равных по количеству поданных за них голосов. На Соборе 2009 года все гораздо быстрее решилось. Говоря светским языком, не было интриги, которая была прежде. Мы считаем, что в данном случае тоже была воля Божья, она выразилась через эти 70%.

Перед Собором немало было разговоров о том, как выбирать Патриарха - голосованием или жребием. Мне кажется, мы придаем большое значение самой процедуре выборов. Для Господа не является ни удобством, ни неудобством, как будет избираться Патриарх. А мы выбираем способ, который наиболее приемлем для Церкви и в глазах окружающих людей.

Игумен ДИОНИСИЙ:

- 30% за митрополита Климента - воспринимается, что эти люди против митрополита Кирилла. Но они знали митрополита Кирилла как руководителя Отдела внешних церковных связей, как епархиального архиерея. Патриарх - это другой уровень обязанностей, ответственности, мышления. Поэтому митрополит Кирилл и Патриарх Кирилл - два разных лица. Ко-

нечно, были разногласия, это видно из результатов голосования. Но когда объявили результаты, все зааплодировали.

П.М. ДАВИДОВ:

- Вопрос об отношении качества и количества, о чём говорил Владыка.

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Да, у нас другой закон перехода качества в количество. Качество - в воплощении евангельского идеала в жизнь: «Будьте совершенны, яко же Отец ваш Небесный совершен есть». Вот идеал, к которому мы должны стремиться. И на пути к нему есть признаки, верно ли мы идем, приближаемся к идеалу или удаляемся от него. Этому мы должны научить людей, чтобы они знали этот путь, чтобы у них появилось желание следовать этому пути, идти по нему и приближаться к этому идеалу.

Но ведь это не от количества монахов произошло! Если мы наберем 100, 200, 1000 человек - это не значит, что среди них обязательно появятся святые. Главное, чтобы был верный идеал, к которому мы должны стремиться.

Почему качество святых переходило в количество? Потому что они этот идеал воплощали в своей жизни. Они притягивали других людей, и другие

следовали за ними. Возьмем Вологодскую епархию. Преподобный Дионисий Глушицкий был один, но вокруг него собралась целая плеяда. Сейчас, когда мы приезжаем на Глушицу служить, молимся пятерым прославленным святым, подвизавшимся здесь.

Возрождение русского монашества началось с преподобного Паисия Величковского, который стал живым примером для других. Такие живые примеры нужны нам в жизни, потому что любая книга, даже самая хорошая, - это только книга. В любой книге много мертвости. А когда мы видим человека в живой обстановке, рядом с нами, мы видим, как он поступает, что он говорит, как себя ведет, и берем с него пример - тогда появляются ученики, последователи. Тогда качество переходит в количество.

П.М. ДАВИДОВ:

- Если любой вологжанин, например, уступит в автобусе место бабушке, это уже будет показатель качества духовной жизни?

Архиепископ МАКСИМИЛИАН:

- Да, это уже будет показывать влияние Церкви на общество, положительный фактор этого влияния. Ведь православная Россия имела самую низкую преступность в мире.

Хотя надо отметить, что уже задолго до революции и святитель Феофан Затворник, и святитель Игнатий Брянчанинов говорили о том, что мы начинаем гнить изнутри. И это количество храмов, монастырей, монашества, верующих, которое было перед революцией, - оно, к сожалению, потеряло свое качество.

Читая воспоминания или жизнеописания подвижников того времени, мы видим много негатива и то, как этот негатив распространялся. Я считаю, что, в первую очередь, малая духовность в монастырях повлияла на храмы, на массу людей, что, в конце концов, привело к тем событиям, которые Россию поставили на грань уничтожения.

Мы сейчас находимся в непростом положении: переживаем общемировой кризис, который коснулся и России. У Церкви есть свой взгляд на этот



Электронная пресса проявила к Соборам небывалый интерес: шли прямые трансляции, о ходе Соборов сообщали все новостные программы

кризис: это следствие, в первую очередь, нашей бездуховности. Об этом говорил святитель Игнатий Брянчанинов, что нарушения нравственных законов предвещают и гражданские трудности. И мы это прекрасно видим, потому что, к сожалению, в то время, когда у нас была хорошая экономическая ситуация, мы не всегда использовали возможности во благо себя, во благо людей. Налетел шторм. Сейчас нам надо быть достойными наших предков, которые переживали гораздо более тяжелые времена, переживали достойно и выходили обновленными и укрепленными.

Мне хотелось бы, чтобы мы сделали правильные выводы и вместе преодолели это время достойно. Чтобы потом, когда наступят лучшие времена, мы не смущались друг перед другом, вспоминая о тех слабостях, которые мы проявили во время этого испытания. Хотелось, чтобы мы достойно пережили это время и потом с улыбкой вспоминали о тяжелых временах, как сейчас вспоминаем о 90-х годах.

**Публикацию подготовили
Елена КАЛИНИНА,
Андрей САЛЬНИКОВ**

Фото Владимира КОРНЮШИНА,
иерея Игоря ПАЛКИНА, Андрея САЛЬНИКОВА



И СМЕХ, И ГРЕХ...

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ

отвечает на вопросы
о Боге, вере и Церкви

СПОСОБНЫ ЛИ ХРИСТИАНЕ БЫТЬ ВЕСЕЛЫМИ?

Когда кто-то идет в церковь, чаще всего видишь испуганные взгляды и слышишь вопросы: «А что случилось? Что-то со здоровьем? Умер кто-то? Проблемы в семье?» Церковь воспринимается как место скорби и печали: здесь все ходят понурые, всё - черное. Отсюда - вывод: в храм нужно идти только тогда, когда тебе плохо. Если всё хорошо, то и храм не нужен, да и Бог-то незначителен...

А есть ли место в христианстве для радости?

Не только есть место, но более того - радость ставится как задача, достижение которой необходимо для человека. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите», - так наставляет апостол Павел христиан (1 Фесс. 5, 16). Но нужно делать различие между радостью и смехом. Православие так и поступает, потому что так поступал и Сам Христос. Он говорил и о смехе, и о радости. «Радуйтесь и веселитесь», - говорил Он одним, и «горе вам, смеющиеся ныне», - другим. Разные слова - разные понятия, разные состояния человека, значит, и отношение к ним должно быть разным. Поэтому попытаемся поговорить и об одном, и о другом.

Итак, смех. Это способ уйти от реальности: забыть, а не решить проблемы. Юмор - обезболивающее, которое боль снимает, но болезнь не излечивает. Да, обезболивающие лекарства применяются в медицине, да, без них нельзя, но проблемы они не решают. Так и смех, юмор помогает сгладить ситуацию, снять напряжение, легче воспринять неприятности жизни. Порой удачная шутка может

разрядить самую взрывоопасную ситуацию. Но через некоторое время проблемы возвращаются. И с этой точки зрения, обилие хохм на экране и в жизни - симптом, который говорит далеко не о радости нашей жизни. Ведь спрос рождает предложение. Каково же состояние нашего общества, если обезболивающее в нас вливается такими дозами!

Смех как привычка, как отказ от серьезного восприятия жизни, как развлечение, как способ заполнить внутреннюю пустоту, как мировоззрение - опасен. Наверно, это имеет в виду Спаситель, когда говорит: «Горе вам, смеющиеся ныне (курсив мой - **иер. А.Л.**)». Ныне - то есть здесь, сейчас. Эти слова отражают состояние человека, живущего одним днем, не задумывающегося о чём-то более важном, чем сиюминутное поддержание комфортности своего существования. Смеющийся ныне - человек, который пытается естественное стремление к вечной радости заглушить, заполнить, заменить смехом и веселостью. Именно поэтому в литературе, предназначенной для подготовки человека к исповеди, среди прочих грехов упоминается смехотворство.

И, конечно же, имеет значение, над чем мы смеемся. Чаще всего глубинным поводом для смеха служат какие-либо недостатки человеческие, которые и ставят человека в смешное положение. Рассмотрите внимательней любой анекдот - он обязательно обнажает какое-либо несовершенство и грех человека. От «уехал муж в командировку», историй про Вовочку и поручика Ржевского до политического анекдота - всё это рассказы о греховности человеческой. Здесь важно проложить водораздел между смехом христианина и смехом греховным. Веру-

ющий человек смеется сострадательно, он высмеивает грех, но сочувствует грешнику, потому что ощущает - да я и сам во многом таков. Вспомним гоголевское: «Над кем смеетесь, над собой смеетесь!» Без этого внутреннего содержания смех становится осуждением. А кто осуждает, тот и Богом будет осужден.

Есть еще и общественная опасность смехотворства. Она возникает в тех случаях, когда смех касается закрытых для него тем. Неуместен смех в области священного, смерти, страданий и горя, никогда смех не должен опускаться «ниже пояса». Та даже не пошлость, а похабщина, которая нам зачастую скармливается под вывеской юмора, не коробит только человека с минимальным нравственным багажом, то есть ребенка, который принимает всё за чистую монету и растет похабником. Я пока ещё не встречал ни одного счастливого и радостного похабника, да и вряд ли такое сочетание вообще возможно. Похабщина притупляет чувство радости, она - еще одно препятствие на пути к счастью, которое и без того труднодостижимо.

Вы же не станете отрицать, что в Православии много запретов, и большая часть из них лишает человека каких-либо радостей жизни. Вот у нас, например, радостей много: рок-фестиваль, пиво, дискотека, девочки, кино, вечеринки - это я понимаю! А в церкви ни того, ни другого, ни третьего. Скучно!

Сразу уточним: что должно быть причиной радости? До сих пор я считал, что сама жизнь - достаточный для этого повод. Если человек, чтобы почувствовать радость, вынужден разгонять себя допингом (девочки, дискотеки) - не свидетельствует ли это как раз о том, что он разучился радоваться жизни самой по себе и стремится компенсировать это с помощью развлечений? Давайте опять договоримся о терминах: развлечение - это одно, радость - совсем другое.

Развлечение - суррогат, заместитель радости. Он как-то заполняет

пустоту внутри человека, но не насыщает его. Самые успешные, самые богатые люди, в распоряжении которых масса развлечений, неизбежно (!!!) пресытившись, разочаровываются в таких «радостях», а заодно и в самой жизни, впадают в затяжные депрессии, становятся постоянными клиентами психоаналитиков, а то и более радикально сводят счеты с жизнью, как будто смерть может решить все проблемы. Это что - плоды радости?

Блез Паскаль, великий ученый и мыслитель, сравнивал жизнь человека с движением к пропасти. Человек знает, что впереди его ждет неизбежная смерть, к которой он неумолимо приближается, как к пропасти. Однако, приближаясь к ней, он держит перед собой и постоянно меняет различные картинки, чтобы создавалось впечатление, что всё хорошо. Человек боится оторваться от развлечений, боится остаться один на один с мыслью о неизбежности смерти. Так что в основе тяги к развлечениям лежит страх перед реальностью. Какая уж тут радость!

Настоящая же радость рождается в человеке от приближения к Богу, потому что Он - источник всякой радости. Эту радость можно ощутить, совершая искренний бескорыстный поступок, от всего сердца отдавая что-то своему, примиряясь с человеком, прощая обиду - всё это делает нас ближе к Богу. Эту радость можно ощутить в молитве, в благодарности Богу за всё, что мы имеем, в исповеди, примиряясь с Богом, в искреннем служении Ему и, наконец, - в Таинстве святого Причастия. Ко всему этому призывает Церковь каждого человека. И этот опыт радости имеет за очень редким исключением каждый церковный человек. Именно опытное знание того, что в Церкви возможна настоящая радость, дает решимость и силы исполнять довольно нелегкие церковные предписания. Люди со стороны со страхом смотрят на «все эти посты, молитвы, службы», считая исполнение их чем-то недостижимым. Церковные же люди знают, что за

всем этим стоит и со всем этим связана радость, поэтому и церковная жизнь им не в тягость.

Вот и получается, что все эти пиво, девочки - лишь видимость радости, за которой скрывается разочарование, страх и пустота. И аналогично: жизнь Церкви лишь с виду трудна и скучна, на самом деле за этим скрывается радость настолько глубокая, что Спаситель сказал однажды о таком состоянии человека: «Радости вашей никто не отнимет от вас» (Ин. 11, 22).

КТО МОЖЕТ СЕБЯ СЧИТАТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

Немало я прочитал книг о христианской вере, о Православной Церкви. И складывается у меня впечатление, что православным может быть совсем не каждый человек - уж очень это ответственно. Смотрю на себя - и не верится, что могу стать православным, ведь я самый обыкновенный. Как думаете, может ли обычный человек стать православным?

Вопрос, конечно, интересный. Можно попытаться ответить кратко: православный христианин - это человек, придерживающийся православной веры и старающийся вести православный образ жизни. Всё, вроде бы, верно, но предположим, что кто-то, отвечающий этим требованиям, вдруг согрешил - с кем не бывает? И что, он перестал быть православным? Очевидно - нет. Значит, не всё так просто; значит, есть некая прослойка, некие пограничные состояния, в которых человек вроде бы недотягивает до почетного звания православного, но всё же им может считаться. Здесь как раз нужно обратить внимание на одно слово из моего попыточного определения православности: старающийся вести православный образ жизни. Речь идет именно о старании, устремленности человека к нравственному идеалу. Все мы грешны, все мы грешим постоянно и постоянно отпадаем от Бога, но часть из нас это воспринимает как данность

и мирится с таким положением дел, а другая часть переживает именно как отпадение от Бога и пытается (успешно или нет - это уже другой вопрос) это отпадение преодолевать - бороться со своими грехами.

Если же говорить о каких-то зримых признаках православности, то я бы выделил два наиболее значимых. Это молитвенность и церковность. Человека, который совершает утреннее и вечернее молитвенное правило (объем его может быть очень различным, важнее в этом деле - постоянство), несколько раз в году исповедуется и причащается Святых Христовых Таин, стремится раз в неделю бывать в храме на службе, я бы без каких-то колебаний признал православным.

Конечно, ещё важно знать свою веру, читать Священное Писание, другую православную литературу, важно и сознательное исполнение заповедей Христовых. В общем, как я уже говорил - надо вести православный образ жизни, помня, что именно наша жизнь (а не наши мнения по поводу своей православности) будет подвергаться оценке на Страшном суде.

Как видите, ничего в этих требованиях особенно сложного нет. Нужно только желание - и вера, конечно, в то, что Господь поможет.

ЧТО НУЖНО ПРОСИТЬ У БОГА?

Зачем молиться, если Бог и без этого знает, что нам нужно, а что нет? Может, Он и без молитвы всё, что нужно, нам подаёт?

Второй вопрос содержит верную мысль. Бог действительно подает всё, что нам в этой жизни необходимо, причем вне зависимости от наших убеждений: веры или безбожия, и вне зависимости от нашего нравственного состояния: праведности или греховности. Еще Христос говорил об этом: «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). Но есть вещи, которые невозможно просто вручить человеку; нужно, чтобы сам человек

их принял. Удивительно, но Бог сообразуется с волей человека и ждет, пока тот определится - нужно ли ему что-либо или нет. Молитва в данном случае - способ нашего самоопределения, а также обязательное условие, без которого Бог Сам Себя ограничивает в Своем желании даровать нам те или иные блага.

Интересно, что такое внутреннее состояние души, когда человек отказывается что-либо у Бога просить, может быть похвальным, если основано на всецелом доверии Богу, Его Промыслу. Действительно, Бог еще прежде нашего прошения знает, что нам нужно, и если это нам件 полезно - даст, ну а если нет - значит, нет, и слава Богу. Да будет воля Твоя, Господи, а не моя. Но и здесь есть оговорки. Прощение грехов, спасение души и дарование Царствия Небесного - это как раз те вещи, вручение которых Бог сообразует с нашим желанием, о них молиться нам необходимо.

Кроме того, нельзя сводить понимание молитвы лишь к выпрашиванию благ. А славословие, благодарственные молитвы - их ведь не отметишь за ненужностью, потому что каждое мгновение нашей жизни - повод для благодарности Богу.

О всецелом доверии Богу я упомянул, но гораздо чаще другие внутренние побуждения внушают человеку ненужность молитвы. Отказ от молитвенного прошения опирается на уверенность в его бесполезности: мол, Бог наперед определил каждому жизненный путь, и человек тут ничего поделать не может, и молитвы его будут звучать пустую, всё равно Бог сделает по-своему. Священное Писание, история Церкви, да и просто жизнь верующих людей опровергают это. Примеры того, как Бог изменял Свои первоначальные намерения в силу человеческого прошения, неисчислимы, случаи ответа на молитву, вплоть до совершения чудес, были, есть и будут всегда. Молитва - это способ Церкви и каждого верующего человека воздействовать на реальность и изменять её. Признать это гораздо

проще, чем объяснить всё совпадениями. Или вообще объяснить как-либо. Ведь мысль о всемогуществе Бога как-то не соотносится с тем, что Он подчиняется воле человека (выраженной в молитве). Но так бывает. Более того, Бог провоцирует нас на употребление Его могущества в личных целях: «Просите - и дастся вам» - это ведь Его слова. Так что будем просить, несмотря на непостижимость механизма действия молитвы.

Что нужно сделать, чтобы Бог услышал молитвы и подал просимое? Почему я прошу, прошу - и никаких результатов?

Трудно себе представить Бога в качестве какого-то мальчика на побегушках, исполняющего все наши прихоти, часто противоречивые. Поэтому то, что мы просим, должно быть чем-то очень важным и нужным. Как выяснить, важно ли то, что я прошу? Вопрос перестаёт казаться надуманным, если мы вспомним, как в разные времена своей жизни считали важными весьма разные вещи. Например, лет в пять человек считает, что самое главное для него - иметь машинку, как у соседского мальчишки; потом становится важно получить пятерку по математике, потом - чтобы на тебя некий человек обратил внимание, потом становятся важными вопросы карьеры, потом - проблемы семьи и человеческих отношений, и так далее. Как выяснить, что важнее: машинка или семья? В этом поможет молитва, а точнее - постоянство в молитве. Если человек попросил что-то у Бога раз, попросил два - и отступился, значит, просимое ему не так уж и нужно. Но если человек молится неотступно и день, и два, и год, и другой - тут становится явным совсем другое - просимое ему действительно необходимо. Итак, молитва должна быть постоянной и неотступной.

Другое условие успешности молитвы - польза. То, что мы просим, должно быть нам полезным, причем не как нам кажется, а на самом деле. Наши желания далеко не всегда обращены в сторону полезного нам, поэтому их исполнение очень часто может нести

нам опасность. Об этом говорил апостол Иаков: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4, 3).

Конечно же, для успешности молитвы нужна вера (её даже стоило бы поставить на первое место), потому что молитва без веры - это не молитва, а либо эксперимент (а вдруг подействует?), либо заклинание, в котором вся надежда возлагается не на Бога, а на магическое действие произносимых формулировок. Так что, если мы молимся Богу, то нужно быть уверенным в Его возможностях и желании нам помочь.

Следующее условие успешности молитвы подсказано чувством совести. Прежде чем просить что-либо для себя у Бога, стоит попросить у Него прощения за те грехи, которыми мы оскорбляем Его. И вправду, если некий человек всю жизнь видит от нас непрекращающиеся пакости - не сложно догадаться, как он отнесётся к просьбе того, от кого всю жизнь терпел поношения. Поэтому хорошо было бы сначала примириться с Богом: принести Ему покаяние, исповедоваться, вымести из жизни всё, что Ему оскорбительно, а потом уже и просить.

О РАВЕНСТВЕ И РАБСТВЕ

Почему в Церкви такое вопиющее неравенство: одни - рабы, другие - господа? И ведь сами себя называют - раб Божий Сергей... А у нас рабство давно отменено, куда же они нас тянут?

Подобные вопросы нередко задают мне, как и любому священнику, наверное. Задают люди, в сознании которых соединились два лозунга: советский - «Человек - это звучит гордо», и современный торговый - «Бери от жизни всё». Если вдуматься, они не так уж и далеки друг от друга, и певец Буревестника странным образом становится в один ряд с авторами рыночных слоганов. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Вопросы о рабстве и угнетённости церковного наро-

да навели на разговор о системе отношений в Церкви. Коротко ответить не получается, а чтобы не так утомился читатель, свой длинный ответ я разбил на главы.

НЕ КАК У ЛЮДЕЙ?

«Царство Мое не от мира сего», - сказал когда-то наш Спаситель. И эта неотмирность веры и Церкви - всегдашняя их сопутствующая характеристика. Поэтому довольно часто приходится встречаться с мнением, что в Церкви всё как-то чудно, всё не как у людей. Первое, что бросается в глаза и с чем человек неизбежно сталкивается, появляясь в храме, - это особая система внутренних отношений. Построена она на принципах, противоположных тем, к которым мы привыкли. В миру отношения между людьми строятся на основе самоутверждения - каждый завоевывает свое место под солнцем, а для этого необходимо культивировать чувство собственного достоинства и стремиться к тому, чтобы всё в твоей жизни было не хуже, чем у людей. В Церкви же всё как-то не так. Люди без какого-то видимого насилия над собой сами называют себя рабами, а к высшим инстанциям обращаются, подчеркивая их превосходство над собой, называя «святейшествами и преподобиями». Как будто не знают, что все люди, в том числе и перед Богом, равны. Может, это атавизм - какое-то наше неизжитое раболепство, которое претило великим русским литераторам XIX века, что и отразилось во многих их произведениях, знакомых нам еще со школьной скамьи? Очень трудно понять и принять систему человеческих отношений, построенную, как кажется, на самоунижении и раболепстве.

РАБСТВО В БИБЛИИ

Когда мы произносим слово «раб», перед глазами встают ужасные сцены из советских учебников по истории древнего мира. Античные рабы - абсолютно бесправные, несчастные существа в оковах. Их морят голодом, избивают и круглосуточно заставляют работать.

Это и есть первое заблуждение от-

носителем термина «раб Божий». Рабство, которое нам известно по Библии, разительно отличалось от рабства у римлян, было гораздо мягче. В самые древние времена рабы были фактически членами семьи господина. Рабом мог также называться слуга, верный человек, служащий хозяину дома. Например, у Авраама был раб Елиезер, и пока у хозяина не родился сын, этот раб, названный в Библии «домочадцем» считался его главным наследником (**Быт. 15, 2-3**). Даже после того, как у Авраама родился сын, Елиезер не стал похож на несчастное существо в оковах. Господин отправил его с богатыми дарами на поиски невесты для сына. И для еврейского рабства нет ничего странного в том, что он не сбежал от хозяина, присвоив имущество, а исполнил ответственное поручение. О подобном говорит и книга Притчей Соломоновых: «Разумный раб господствует над беспутным сыном, и между братьями разделит наследство». Об образе такого раба говорит и Христос, когда в притчах последователей Своих называет рабами.

Наконец, слово «раб» широко используется в Библии как формула вежливости. Обращаясь к кому-либо вышестоящему, человек называл себя его рабом. Так именовал себя, например, Иоав, командир войска царя Давида, будучи фактически вторым лицом в государстве (**2 Цар. 18, 29**).

Таким образом, непосредственные слушатели Христа понимали Его слова о рабах и господах не так, как современные читатели. Во-первых, библейский раб - член семьи, чей труд основывался на преданности хозяину. А во-вторых, в этом слове не было ничего обидного, потому что оно являлось лишь выражением уважения к господину.

«МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ»

Осознание своей подчинённости не означает признания своей униженности, даже более того - может служить источником радости. Поясню примером. Одно из самых несвободных состояний - состояние вои-

на, который со всех сторон ограничен приказом (а это, как известно, дело добровольное: хочешь - выполняй, а хочешь - попробуй не выполнить). Однако нести все тяготы армейской службы солдат может с воодушевлением и даже радостью, если сознает, что служение его подчинено какой-то высшей, достойной и праведной цели. Солдаты суворовской армии своего главного угнетателя и тирана - Александра Васильевича - встречали неподдельной радостью и гордились своим подчинением ему, а не какому-либо другому военачальнику.

В Церкви происходит что-то подобное. Человек осознает или же как-то нутром ощущает, что он не просто топчет ногами землю, что вся его жизнь - служение Тому, выше, чище, достойней, красивей Кого не было и нет. Есть такое церковное выражение: «работать Богу». Так вот, мы рады, что работаем именно Ему, что мы рабы не политического режима, не экономических случайностей, не идеологии, не жизненных превратностей, а рабы «Бога живого».

В человеке от природы, изначально укоренено чувство священного, некая потребность поклоняться, однако объект поклонения должен быть достоин этого, должен быть выше нас самих. А выше человека только Бог, поэтому так противно видеть, когда поклонение направлено на недостойный объект: вождя, начальника, певца-кумира, любовника и т.п. Человеческоугодие является грехом. Христианство же дает нам возможность поклоняться Тому, Кто этого достоин. Такое поклонение не унижает, а возвышает человека, потому что приобщает его к Богу, «на высоких живущему» (выражение, встречающееся в богослужебных текстах). Так что «раб Божий» - не унижительное клеймо, а почетное звание.

НЕ РАБЫ, А ДРУЗЬЯ

Нужно заметить, что «раб Божий» - это именно самоназвание. Христос в последние дни Своей жизни на зем-

ле называет Своих последователей не рабами, а друзьями: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами» (Ин. 15, 14-15). Но что-то, видимо, мешает православным принять это предложение быть «на равных». Это что-то - осознание своей греховности и сущностного отличия, все-таки Бог есть Бог, а человек - это всего лишь человек. Бог может относиться к нам как хочет, но мы на панибратские отношения с Ним претендовать не вправе. Поэтому человеку чуткой совести быть православным «рабом Божиим» гораздо уютнее, чем посектантски заявлять: «Мой лучший друг Иисус».

«ВАШЕ ПРЕПОДОБИЕ, ГОСПОДИН СВЯЩЕННИК»

Раболепство - это не только самоунижение, но еще и лесть, и человекоугодие, и «верноподданическое» возвеличение вышестоящих. Такое поведение людей всегда вызывает отторжение, а то и презрение. Однако в Церкви установлены такие обращения к лицам в сане, как «Ваше преподобие, преосвященство, святейшество» и т.п. На взгляд человека нецерковного, это культивирует человекоугодие, которое, вроде бы, Церковью признается за грех. Как всё это понять?

Прежде всего нужно заметить, что упомянутые обращения - своего рода технические термины, не свойственные для обиходной церковной речи, и, что уже более существенно, - обращения они не к личности человека, а к его сану. А это не одно и то же. Как личность человек может не представлять собой чего-то особенного, мы можем относиться к нему как угодно, но он носит священный сан, и это обязывает к нему как носителю сана относиться с почтением.

Церковь здесь не первооткрыватель, принцип различения человека как самого себя и человека как олицетворения чего-то высшего применяется и в других сферах жизни. Например, в сфере юридической: некое преступление, направленное против

гражданина Пупкина, влечет за собой определенное наказание, но если тот же самый Пупкин - милиционер при исполнении своих обязанностей, санкция за преступление значительно ужесточается. Хороший человек этот Пупкин или нет, матерщинник или поэт, пьяница или примерный семьянин - принимается во внимание не это, а то высшее, что им олицетворяется. В данном случае - государство. Преступление против Пупкина, таким образом, является преступлением против государства.

Вот и в Церкви: как ты относишься к человеку - это твое дело. Хорошо относишься - замечательно, плохо - это уже грех против человека. Священника, в конечном итоге, тоже можно не уважать, это будет грехом, но уже не только против человека, но и против Того, Чей сан он носит.

Мы, священники, по факту своего положения принимающие знаки почтения от окружающих, поверьте, тоже осознаем различие между «я» и «мой сан». Об этом говорит шутивая притча об ослике, распространенная в священнической среде. Спаситель верхом на ослике въезжал в Иерусалим, и Его с почестями встречал народ, выкрикивая приветствия, постилая перед Ним свои одежды, махая пальмовыми ветвями, как мы сейчас бы махали флажками. Это событие ежегодно празднуется за неделю до Пасхи - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Так вот, самым гордым и самодовольным во время этого шествия был ослик: он и голову приподнял, и ножкой подчеркнуто степенно ступал, потому что - глупенький - думал, что это его с таким почётом встречают. Так что и те, кто к нам с почтением обращается, и мы, принимающие такое обращение, если не понимаем отчетливо, то всё же внутренне ясно чувствуем, что в данном случае почитается Господь, на служение которому мы посвящены.

ОШИБКА САМООЦЕНКИ

Насколько мог, я попытался пояснить, на каких принципах строятся межчеловеческие отношения в Церк-

ви, и показать, что они разумны и естественны. Чего не скажешь о тех основаниях, на которых строятся отношения в миру. Основание, собственно, одно - это своеобразная самооценка, которая для большинства из нас стала почти аксиомой: «Я не хуже других». Сказать: «Я не лучше других» - самолюбие не дает; «Я лучше других» - в общем-то подразумевается, но вслух не произносится в силу подсознательно не изжитого отголоска христианства - скромности; остается - «Я не хуже». Это ложь. На самом деле - хуже. И это можно доказать экспериментально.

Какие чувства испытывает человек, оказавшийся в одиночестве в полной изоляции от мира? Нетрудно представить - тягучую гнетущую серую тоску, пустоту. В такой ситуации он рад любому общению - с другом, врагом, даже тараканом, вылезшим из щели. Странно, не правда ли? Если я такой хороший, то почему от общения с собой впадаю в изматывающую скуку? Даже таракан в качестве предмета общения оказывается более приглядным для меня, чем я сам.

При кажущейся очевидности эксперимента, мы, однако, не спешим прозреть и, более того, даже возможности не даём себе об этом задуматься. Не хотим. Поэтому-то современное общество (то есть мы с вами) ополчилось на незамутненное спокойствие и тишину, создало целую индустрию развлечений, которая совместно с

нашей старой знакомой - житейской суетой - не дает человеку малейшего шанса остаться наедине с собой.

Кто-то скажет: «Для чего затеян этот разговор? Чтобы все мы получили комплекс неполноценности?» Конечно, нет. Просто хочется, чтобы, увидев свою внутреннюю пустоту, мы захотели заполнить ее. Ощущение несамодостаточности - первая из ступеней лестницы, приводящей человека к Богу.

Если понять (и принять) это, то становятся более ясными моменты церковной жизни, которые часто воспринимаются как малопонятная формальная «обязаловка» - праздники, храм, церковная молитва. Всё это способы, позволяющие человеку освободиться от рабства суеты и развлечения. Праздник вырывает нас из круговерти повседневности, стены храма ограждают от засоряющих душу впечатлений, а церковная служба устроена так, что, будучи общей молитвой, однако дает человеку возможность углубиться в себя.

Церковь помогает человеку увидеть себя таким, каков он есть, дает ощутить себя «землей иссохшей» и обратиться к Богу, Который заполняет нашу пустоту и расцветивает нашу серость. Тогда становится возможным повторение эксперимента, но уже с другим результатом - вспомним древних преподобных отцов, десятками лет живших в пустыне без тени тоски, в радости и бодрости духа.

ЛЮБОВЬ МОЯ - БИБЛИОТЕКА

**Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь Слово жизнь дана.**

И.А.БУНИН

Всего труднее писать о том, кого любишь. Только подумаешь о любимом человеке, сразу вспоминается так много, что не знаешь, на чём остановиться, с чего начать. И это важно, и то нельзя упустить, а вот это не упомянуть никак невозможно.

Уже потом, когда потратишь много сил и времени и начнёт ткаться связанная нить, тогда всё построится в последовательный ряд, один эпизод будет цепляться за другой. Однако найти начало этой повествовательной нити не просто. Обычно этот труд, эти поиски начала и называют муками творчества.

Так же трудно было мне писать воспоминания о дорогих мне людях: Михаиле Андреевиче Субботине, Александре Александровиче Романове. Мне скажут: это же люди. Но я и библиотеку лелею в памяти не в виде здания с крышей и стенами. Библиотека для меня - это мистическое таинственное существо со стеллажами книг, с чистой и простором читальных залов, с недрами основных фондов, с людьми, которые любят меня и которых люблю я; с людьми, как ныне живущими, так и с отошедшими от земного жития, но живых в моём сердце, в благодарных, хоть и грустных, воспоминаниях.

Однако прежде чем поведать об истории нашей взаимной любви с областной библиотекой, я сначала поговорю о том, без чего любовь бы не возникла - о Книге.

Книги были одним из моих первых запомнившихся детских впечатлений. В большой комнате в доме во Флотском посёлке, где прошло моё раннее детство, рядом с комодом, над которым висел большой портрет Сталина, стояла этажерка с книгами. Помнятся большие однотомники Н.А.



Нелли Николаевна БЕЛОВА,
директор областной универсальной научной
библиотеки им. И.В. Бабушкина

Некрасова, А.С. Пушкина. Эти добротные, хорошо изданные книги - незабываемая примета ушедшей советской эпохи. Помнятся в синей мягкой обложке сказки В.А. Жуковского, сказки К.И. Чуковского с иллюстрациями В.М. Конашевича.

В годы моего детства не было соблазна XX века - телевизора, и советские дети много читали. Много читал и я.

Но в моём чтении была особеннка. Родившись писателем, но ещё не сознавая этого, я смутно предчувствовал своё призвание. Читая книги, я уже мечтал о себе как о писателе. Когда мне было лет 12-13, я проходил мимо здания областной типографии, располагавшейся в начале улицы Калинина. Был дождливый осенний вечер, я посмотрел на окна типографии и, слушая шум работавших там машин, подумал: «Когда я вырасту большим, здесь будут печатать мою книгу». Я не ругаюсь, что именно так, дословно, я подумал, но мысль о том, что мою книгу будут печатать, была. Это запомнилось на всю жизнь.

Хотя ещё не было полной уверенности, а будет ли сама жизнь? К тому времени я уже два раза по весне про-

валивался под лёд и прибегал домой, стуча зубами от озноба, и до нитки сырой. Каждую зиму я непременно по четыре-пять раз болел ангиной, причём однажды в такой тяжелой форме, что не мог даже говорить. Так что я мог утонуть, умереть от болезни, но мысль о книге была. А если учесть, что тогда я уже жил неподалёку от железной дороги и мы с ребятами не раз

ходили кататься на вагонах, то у меня был реальный шанс когда-нибудь очутиться под колёсами. Но Господь провёл меня через все испытания, через все опасные пороги, которые поджидают неуёмных подростков.

К книгам я относился с трепетной любовью, особенно мне почему-то нравились старые, дореволюционные книги.

И старые книги как-то сами находили меня. Однажды в руках у меня оказался том (как я сейчас понимаю) журнала рубежа XIX - XX вв. В нём был опубликован роман под несуразным названием «Он не хотел» и тут же помещено стихотворение «К декадентам». Кто такие декаденты, я, разумеется, понятия не имел, и, прочитав стихотворение, ничего в нём не понял, но, лёжа на полатах в сарайке (в те годы многие мои сверстники на лето перебирались спать в сарайки), подумал: а не послать ли мне это стихотворение в газету «Красный Север», его напечатают - и все узнают, что есть такой Роба Балакшин. Я был наивно уверен, что другого такого журнала не существует, подобной редкостью обладаю я один, а то, что стихотворение написал не я, кто ж о том узнает, если я перепишу его на тетрадный листок.

Представляю себе изумление редактора отдела литературной жизни



В здании Дворянского собрания (ныне - областная филармония) библиотека размещалась с 1919 до 1963 года

«Красного Севера» тех лет, когда он вынул бы из конверта листочек в клетку, на котором рукой пятиклассника накорябаны заумные полувековой давности вирши. Сколько было бы смеха в редакции.

То были первые ростки писательской психологии, желание написать и напечататься, желание, чтобы о тебе узнали. Но мысли о плагиате (тогда я не знал, что так красиво именуется моя неосуществившаяся шалость) больше не посещали меня. Даже в армии, когда и писать, и имя своё увидеть напечатанным уж очень хотелось.

Порою книги мне было жалко, как живых людей. Мой старший брат Валерий работал механиком на самоходке. Как-то он пришёл из рейса и часа через два-три должен был отправиться в рейс снова. Мать завернула в чистое полотенце несколько кусков пирога и послала меня снести Валерию гостинец. Я прибежал на ветку - пристань, в грузовой порт, шёл к причалам и забрёл в большой склад. Посреди склада на грязном полу возвышалась гора книг выше моего роста. Книг была не одна сотня. Там были сплошь дореволюционные издания, я уже умел отличать их от советских книг по корешкам и переплёту. Я стоял перед сиротливо молчавшими книгами, и что-то ужасно тоскливое,

горькое, обидное раздирало на части мою детскую душу. Кто, зачем, почему свалил эти книги на сыром щелястом, сквозь который снизу дул ветер, полу? Что с ними будет? Я чувствовал, что книги свалены тут не для хорошего дела, их не повезут в книжный магазин, не сдадут в библиотеку, скорее всего, их унич-



Здание областной библиотеки на улице М. Ульяновой, 1. 60-е годы

тожат, может, даже сожгут. Мне так хотелось взять, засунуть за пазуху, приютить, спасти хотя бы одну их них, а я оробел, побоялся грубого, горластого матерщинника дядьки-вахтёра на выходе из порта. Сейчас я понимаю, что вахтёру было бы глубоко наплевать, если бы я взял даже не одну книгу. Эти книги были для него всё равно что мусор.

Я не взял ни одной книги и потом не один день томился чувством вины, хотя ни в чём виноват не был. Это застарелое воспоминание никак не хочет умереть в моей памяти, как не умирают вот уже более пятидесяти лет страшные детские сны. Ведь писатель, как и библиотекарь, изначально живёт книгой и, даже ещё не умея читать, сознает её живым существом, которому может быть так же больно и отчаянно одиноко, как человеку.

Едва ли не в первом классе я записался в школьную библиотеку на улице Калинина, в здании начальной школы № 20 (ныне ул. Зосимовская, д. № 73). Я читал чудесные сказки В. Сутеева, «Весёлую семейку» Н. Носова, забытую ныне повесть «Егорка» о медвежонке, попавшем на линкор, с упоением зачитывался «Мальчиком из Уржума» А. Голубевой, читал «Домик в Шушенском» С. Щипачёва, стихи для детей Н. Некрасова.

Брат моей матери, генерал-майор А.И. Сорокин, работал в военно-морском издательстве. Мама привозила из Москвы книги о флоте, о подвигах

моряков в Великой Отечественной войне. Имена Ф. Ушакова, П. Нахимова, Д. Сенявина, советских героев-краснофлотцев: снайпера Ф. Рубахо, десантника Ц. Куникова, катерника А. Шабалина были мне знакомы с детства, хотя море я увидел только на шестом десятке лет.

Читать я очень любил. Читал за едой, лёжа в кровати и всё свободное от школы и игр время. Чтение было такой же необходимой частью моей жизни, как еда. А когда кончались библиотечные книжки (дома-то всё было перечитано), я спешил в библиотеку, несмотря ни на что, невзирая ни на какие препятствия. «Однажды в студёную зимнюю пору» я собрался в библиотеку. Мать отговаривала меня, просила остаться дома, но я снарядился и пошёл. Мороз, как и писал классик, был лютый. И хотя одет я был тепло и до библиотеки добежал быстро, но прозяб всё-таки страшно. «Как же я пойду домой?» - думал я, перечитывая все подряд последние номера «Пионерской правды» и «Мурзилки». Однако нужно было идти домой, до закрытия библиотеки оставалось несколько минут. Обратный путь был для меня путём Роберта Скотта. Одно меня утешало: Скотт возвращался с Южного полюса, не зная, что замёрзнет и умрёт, немного не дойдя до спасительного промежуточного лагеря, а мне-то идти было гораздо ближе, и меня окружала не безжизненная снеговая пустыня, мне, хоть

и изредка, попадались свои, советские люди, которые, если что, не дадут пропасть малолетнему пионеру. А мороз проникал сквозь пальто, забирался в валенки, в рукавицы, сумку с книгами я не мог держать в руках и засунул её под мышку. Автобусы тогда ходили редко, да и в те годы не было такого баловства, чтобы давать детям денег на автобус. На проезд одной остановки нужно было платить 15 копеек, три остановки стоили 45 коп., и для людей той поры, считавших каждую копейку, это были деньги. Последние метры до дома брёл, как сейчас говорят, на автопилоте, я окончил насквозь и поднимался на второй этаж на негнувшихся ногах. Мать, увидев меня, всплеснула руками (отругала потом), стащила с меня пальто и посадила на кухне на плиту. Печь скрыли, когда я уходил в библиотеку, и на плите, бросив туда старую пальтошку, уже можно было лежать. Я лежал, оттаивая. И только почувствовал, что могу шевелить руками, сразу схватился за сумку с книгами. За мои полярные страдания я был щедро вознаграждён. Кто из советских детей не зачитывался книгами В. Бианки?! Его чудными рассказами о

жизни зимнего леса, о мышонке Пике, о чтении звериных следов на снегу. Вольготно было мне читать о зиме, о морозах, лежа на горячей плите...

Так любили мы в то время чтение.

«В те баснословные года» я жил в деревянном доме на Содимском переулке. Под нами на первом этаже жила семья капитана первого ранга Н.И. Лисовского, человека весьма известного в Вологде 50-х годов. Его сын, талантливый музыкант И. Софронов погиб молодым. Мы дружили с дочками Лисовского Беллой и Иреной. И вдруг мы (я и мои друзья) узнали, что Лисовские переезжают, а в их квартиру вселяется семья Пелёвиных: отец Николай Иванович, мать Рахиль Давыдовна и две девочки, Вика и Неля, причём отец - художник. Мы знали, что художники пишут картины, так, Васнецов написал картину «Три богатыря», что была на обложке «Родной речи», но живого художника в глаза не видели. Поэтому мы с интересом (и даже боязливо) поглядывали на Николая Ивановича, когда он проходил по крыльцу, на котором мы, молодые сорванцы, дурачились целыми вечерами.

Наши отцы были капитаны, бух-



В областной библиотеке. 30-е годы



Читальный зал. 30-е годы

галтеры, военные из охраны тюрьмы, кондукторы, шофёры и т.п., а тут - художник!

А меня поджидал сюрприз.

Я случайно узнал, что мама наших новых соседок - библиотекарь. Сердце моё сладко ёкнуло.

А когда мне сказали, что она работает не в простой, а в областной библиотеке, сердце моё забилося, как у путешественника, узнавшего, что земля Санникова не только существует, а в неё, оказывается, можно попасть.

В те годы ещё сохранялось необычайно уважительное отношение к книге. Когда о ком-то хотели сказать, что он не только хороший, порядочный, но ещё и умный человек, то добавляли: «Он ведь записан в областную библиотеку». Такова была тяга к знаниям, к сожалению, утрачивающаяся сейчас. Быть начитанным было одним из достоинств человека. Нынешнее молодое поколение кормят баснями, что советская молодёжь в 50-е и 60-е годы поголовно хотела быть стилистами, но мои сверстники помнят, что мы стремились быть начитанными, разносторонне развитыми, а о том, чтобы носить брюки дудочкой да слушать обезьяньи вопли Э. Пресли, мечтали единицы.

С годами забылось, как я попросил Рахиль Давыдовну провести меня в областную библиотеку. Записаться я туда не мог, мне ещё не было шестнадцати, и я не имел паспорта.

Помню только, что было это летом. Я частенько проходил мимо старинного здания на улице Лермонтова, но ни разу не был в нём. Детское воображение рисовало мне картины того, что могло быть там внутри. Картины эти ничем не отличались от того, что я видел в жизни: интерьеры школы, больницы, киноте-

атров имени Горького, «Искры», магазинов и т.д.

А что я увидел, когда зашёл! Никогда ещё не видел я такой красоты. На листке настенного календаря школьника, что висел в изголовье моей кровати, была иллюстрация к книге В. Орлова «О смелой мысли», с изображённой на ней лестницей, ведущей в небо. Я полагал, что это выдумка художника. Но вот такая лестница передо мной. Широкая, красивая мраморная лестница с такими ступенями, что на них, наверное, можно улечься спать, вела вверх, к закрытым дверям, над которыми на зелёном бархате серебряными буквами выложены слова писателя, книгу которого «Детство» я прочёл недавно: «Любите книгу - источник знания».

Ещё большее потрясение я пережил, когда оказался за этими дверями: в комнате стояли стеллажи, а на них - книги, книги, книги. Пожалуй, не хватит всей жизни, чтобы прочесть их.

Не помню, какие книги я попросил тогда почитать, но читал их недолго. Я сидел в общем читальном зале, в дальнем левом углу которого была странная дверь. В неё никто не заходил. Я подумал, может быть, там какое-нибудь служебное помещение, вроде кладовки, или вообще жуткая комната Синей Бороды, как дверь вдруг медленно (и, как мне показалось, загадочно) отворилась, и в зале объявился старик с тросточкой в ле-

вой руке. Он прошествовал мимо меня, по-стариковски подшаркивая ногами. И опять в дверь никто не заходил и не выходил из неё. И только я успокоился и перестал думать о ней, как дверь снова отворилась, и в зале возник высокий мужчина. Разумеется, через 50 лет я не помню ни его лица, ни во что он был одет и была ли у него, как у того старика, тросточка. Но помню, что температура моего любопытства подскочила до столь высокой отметки, когда о больном в таком случае говорят, что его лихорадит. На двери я заметил табличку.

Рахиль Давыдовна уже знала, что я за фрукт и чего от меня можно ожидать, поэтому строго-настрого наказала мне сидеть смирно, не ходить по залу, не мешать читателям заниматься. Но я уже не принадлежал себе. Страсть любопытства запылала во мне, и я сгорал на этом костре. Мальчик в целом я был неплохой, не драчун, не лодырь, но ведь за что-то время от времени меня выгоняли с уроков.

На дверной табличке значилось «Зал для научных работников».

Хоть я и не принадлежал к подобным работникам, но, осторожно приотворив дверь, проскользнул внутрь (нынче это часть большого фойе филармонии, тут вход на сцену). Возможно, уже был вечер или на окнах висели плотные шторы, но в зале сгустился таинственный полумрак, и он напоминал собой сказочную пещеру. Поблескивая стёклами и тёмными гранями боков, вдоль стен возвышались огромные шкафы. В шкафах за стёклами отливали золотом ряды неведомых мне книг, в другом шкафу книги были таких громадных размеров, что поднимать и читать их, должно быть, могут только какие-нибудь



Детский уголок в областной библиотеке. 30-е годы

силачи. По сравнению с общим читальным залом народу тут очень мало: за столами в конусах света от настольных ламп что-то перелистывали или читали три-четыре молчаливые фигуры. Мне вспомнился пушкинский Финн (накануне я читал «Руслана и Людмилу»), обучавшийся волшебству у чародейки Наины. Мне на мгновение стало страшновато, я попятился и вернулся в общий зал.

Годы спустя я понял, что, скорее всего, отливавшие золотом ряды - это был словарь Брокгауза и Ефрона, а книги для силачей, должно быть, книги ин фоллио. А большие шкафы тёмного дерева, быть может, были из библиотеки мужской гимназии или духовной семинарии.

Конечно, что скрывать, тщеславие моё (уже набравшее силушку вместе с моим молодым организмом) было весьма польщено. В библиотеку записывают только с паспортом, а мне и без паспорта книжки дают.

Тогда я читателем библиотеки был месяца два-три, ореол таинственности библиотеки угас; такова жизнь, что ко всему привыкаешь, и всё приедается, а для домашнего чтения мне хватало книг по школьной программе.

Через два года я поступил в строительный техникум, где мне предстояли битвы с монстрами по имени со-



Знаменитая лестница в областной библиотеке (здание Дворянского собрания)

промат, статика сооружений да ещё высшая математика в придачу. Так что стало мне ни до «Плутонии» Обручева, ни до Майн Рида и вождя Оцелы, ни до Ефремова с его туманностью Андромеды, да и шальная молодость брала свои права, а где юность - там танцы, гулянки и т.п., что к чтению не располагает.

Должен сознаться, что года два или три я вовсе не думал о библиотеке, и когда она из уютного, но вовсе не приспособленного для библиотеки здания Благородного собрания переезжала на новое местожительство, мне не было до этого никакого дела.

Только в 1964 году, когда поезда Вологда - Ленинград и Ленинград - Рига доставили меня в край янтаря и дайн, край Даугавы и Гауи, Лачплесиса и Лаймдоты¹, в край праздников песен и рижского «Букиниста», я стал возвращаться к самому себе, к книге.

Да, в 1964 году меня призвали в армию.

Когда я вспоминаю свою жизнь, то вижу, что наряду с моими друзьями и подругами, сопутствующими мне в жизни вот уже более полувека (что само по себе счастье), моей неразлучной спутницей, помощницей, утешительницей и подругой всегда была

библиотека. Помню библиотеку в 20-й начальной школе, потом в незабвенной 4-й школе СЖД, в Доме пионеров, в техникуме. А какая библиотека была в нашем полку, в котором я вдруг не по своей воле очутился в 1964 году, вырванный из привычного мирка любивших меня родителей, милых, весёлых и бесшабашных друзей. Это потом, прослужив года полтора, я не только

вжился в армию, но и полюбил её. А в ту первую мою армейскую весну, когда тоска по дому и казавшаяся бессмысленной суэта армейской жизни грызли мою душу, меня спасала полковая библиотека. Пролетело более сорока лет, а словно воочию вижу себя сидящим в сквере посередине нашего военного городка на скамейке с книгой. У меня в руках то повести Л.Н. Толстого, то стихи Г. Гейне, то роман Д. Гомикавы, то сиреневый томик собрания сочинений Д. Лондона

Да что тут говорить, именно благодаря полковой библиотеке я стал писателем. Там, в части, на улицах Риги и Валмиеры, в казарме нашего первого батальона проснулся дремавший во мне писатель, там птенец проклюнулся из скорлупы, начал узнавать и осваивать неведомый ему мир литературы.

Помимо полковой библиотеки, находившейся, как мне помнится, поблизости от санчасти, в расположении третьего батальона, была у меня своя малая походная библиотека. Бывая в редких увольнениях, на своё тощее солдатское жалованье (правда, изредка трёшник или пятёрку мне посылала мать) в рижском «Букинисте» я купил ещё довоенные, изданные

¹ Лачплесис, Лаймдота - герои латышского эпоса.

в Риге и в Берлине, книжки Фета и Блока, в Валмиерском книжном - двухтомник Тютчева. Поскольку в прикроватных тумбочках, кроме зубной щётки, пасты и принадлежностей для чистки блях и сапог, держать ничего не дозволялось, я складывал книги в вещмешок, висевший под койкой. Не хочу, чтобы меня сочли бахвалом, но в роте (а вероятно, и в батальоне) у меня одного были свои личные книги. Иногда любовь к книгам выходила мне боком. Ребята старших призывов, «старики», перед дембелем заполняли обходные листки. Но в полковой библиотеке «бегунок» им не подписывали, оказывалось, что на первом году рядовой Сивораक्षा взял книгу и до сего дня не вернул. Раз он не вернул книгу ещё на первом году, то откуда ж он возьмёт её на третьем? А завтра документы в штабе получать, и чемодан дембельский уже готов, и тепловоз на рельсах уже пыхтит. Не мучаясь особыми угрызениями совести, «старик» залезал ко мне в мешок, выбирал там книгу, соответствующую стоимости утерянной (зачитанной, забытой на подоконнике, посеянной в одной из караулок), нёс её в библиотеку и, счастливый, уезжал домой. Так было раза два или три.²

Тогда мне было досадно на душе. Жалко было не самой книги, обидно было, что взяли её без спроса. Ведь друзья. Вместе в самоволку ходили и занимались другими разными, уставами не предусмотренными, вещами, и после этого взять и залезть к другу в мешок. Сейчас всё прошло, улетила обида, только хочется пожелать дорогим однополчанам-хохлам (второй и третий год у нас были хлопцы с Черниговщины, замечательные парни): многая лета, здоровеньки булы тем, кто жив; и вечная память, тем, кого нет с нами.

А в 1967 году я вернулся из армии в родной город, чтобы не расставаться с ним и с библиотекой никогда.

Я почувствовал и полюбил новое здание библиотеки. Память о старом

здании, конечно, не умрёт в душе. Овеянная светлой грустью, она хранится в сердце, как воспоминание о первой мальчишеской любви к однокласснице, как воспоминание о первой книжке, над которой плакал детскими горькими слезами, как память об ушедшей, наивной, но чистой и прекрасной жизни.

Но как бы ни поминать добром старое здание, всё же библиотека в последние годы мучалась в нём, фонды росли, книги размещать было негде, не в подвале же, не на чердаке они должны храниться. А новое здание, оно действительно - Дворец книги.

Здание библиотеки, хоть и типовое, не обезобразило центр города. Жили и в нашем городе короткое время разумные, толковые люди, которые любили город и поэтому сумели вписать новостройку в старинный центральный городской ансамбль (гораздо позднее появились уродливый драмтеатр, обком и мерзкое здание областной администрации). Помню первые впечатления, когда я приходил в новое здание. Чувствуешь, что приходишь именно в библиотеку, а не в здание, приспособленное под неё. Тебя не покидает ощущение заботы о читателе, и ещё ощущение света, он всюду, он вливается в широкие высокие окна, сочится сквозь стеклянный потолок над каталожным залом. В библиотеке не покидает тебя ощущение праздника торжества книги, праздника ежедневного, круглогодичного.

Сколько дней прожито в этом прекрасном, двусветном читальном зале, сколько сделано открытий! Сколько озарений посетило меня, когда для статьи о Спасе Обыденном я просматривал все подшивки Вологодских епархиальных ведомостей за 53 года. Какая, сокрытая для нас и оболганная, духовная и молитвенная жизнь восставала передо мной, наполнилась зовом колоколов, песнопениями литургий и молебнов, провожавших войска на войну, встречавших государей

² По этой причине - «солдаты берут и не возвращают» - меня не записали в Валмиерскую библиотеку.

Александра I и Александра II, великих князей Владимира Александровича и Сергея Александровича, великую княгиню (мученицу) Елизавету Фёдоровну, адмирала К. Посыета, обер-прокурора Синода К. Победоносцева. Какие мысли посещали меня, когда я вчитывался в исследование великого этнографа Д. Зеленина об обыденных полотенцах. Библиотека обрывается из книг, написанных писателем, но и писатель набирается мыслей, впечатлений для новых книг в библиотеке, в библиотеке зачинаются и рождаются новые книги.

Всего у меня вышло около сорока книг, но некоторыми из них я горжусь особо. Работал я над ними с каким-то упоением, напором умственным и душевным, так всё мне нравилось, захватывало в работе над ними. Одна из таких книг - «Россия - это сама жизнь».

Обычно замысел повести, рассказа вспыхнет, как искра, и потухнет. Забудешь о нём, а он опять всплывёт в памяти, порхнёт воробыным скоком и снова забудется. Так он скрыто зреет в душе, пока, наконец, пристально не задумаешься о нём. И когда сядешь и начнёшь этот рассказ писать, то срок между давним, мимолётным впечатлением и первым словом на бумаге проходит большой. А в случае с «Россией» с самого начала для меня всё было отчётливо ясно. Осенним вечером, высадившись из автобуса, я шагал с рюкзаком за спиной в свою избу. Вечерело, дул ветер, судя по всему, собирался дождь, а я шагал по полю и подумал, что хорошо было бы выпустить цитатник, типа брошюры из библиотеки «Огонька», о нашей Родине, о том, кто из иност-



Интернет-зал

ранцев сказал о ней хорошие, добрые слова.

Легкомысленно полагая, что составление такого цитатника времени займёт у меня немного, я в первый же день по возвращении в город отправился в библиотеку и ходил туда почти... пять лет.

Я думал, что справлюсь с несложной работой за неделю, но миновала неделя, другая, третья, а я стоял у самого начала работы, образно говоря, на ровной и даже не распланированной строительной площадке, куда не завезено ни поддона кирпича, ни самосвала раствора. Я не представлял, какое я должен построить здание. Я намеревался сколотить нечто вроде маленькой дощатой временки, а мне предстояло возвести грандиозное высотное здание. Чем дольше я работал, чем чаще мне приносили из книгохранения толстые, увесистые тома, тем шире раздвигались горизонты, тем выше и прочней приходилось мостить леса. Тема непомерно разрасталась, и я даже пугался, что взялся за неё.

Как всякий нормальный писатель, я люблю читать и люблю хорошо изданные книги, на отличной, лощёной бумаге, с реалистическими, до мель-

чайшей детальки проработанными иллюстрациями. Открываешь такую книгу с удовольствием, какое, должно быть, испытывает гурман, готовясь приступить к изысканному кушанью.

Но особенно, как я уже говорил, я люблю старые книги. Тогда для меня не имеет ни малейшего значения, как она издана, истрёпанная ли, грязная ли, в шикарном ли кожаном переплёте или с какой-нибудь мятой холстиной вместо обложки. Лишь только я увижу старую печать, все эти еры, яти, фиты, десятиричные «і», окончания прилагательных в соответствии с мужским и женским родом, как со мной что-то происходит. Как я люблю всю старину!

И вот в этой старине я купался и блаженствовал не один год: то принесут мне роскошного Олеария, то я раскрываю сурового Герберштейна, а томы ЧОИДРа³ я полюбил, как родных братьев. А какие имена я узнавал: Рейтенфельс, Павел Алеппский, джук Лирийский, Хуан Персидский, Крижанич. Как же я раньше жил и знать о них ничегошеньки не знал! Да жил ли я вообще?

Я ходил в библиотеку как на работу, круг авторов ширился, а вместе с этим передо мной разворачивалась не просто тема, а громадная многовековая фреска о нашей родине - России. Я видел, как мало мы знаем о своей родной земле, и уже думал не о том, где взять сведения, а о том, как уместить копившийся день ото дня материал в разумные, читаемые рамки.

Я собирал материалы не две-три недели, а пять лет. За эти годы я стал иным человеком. Узнавая всё больше и больше о своей Родине, я понимал, что Россия - это исполинский материк, а то, что мы знаем из учебников истории, это крохотные кусочки, лоскутки материка. С созданием книги о России я рос как гражданин. Хотя я, как и мои сверстники, с детства любил Родину, и нас не нужно было убеждать, что красивей и родней страны Советов (России) нет ничего на свете, но это было чувство неосоз-

нанное, как человек любит родную мать, а теперь это чувство получало разумную основу и рождалась простая мысль: если чужестранцы так уважают, любят нашу Родину, как же должны любить её мы! За это взросление, возмужание духом и мыслью, хотя я был далеко не мальчик, низкий поклон и сердечное спасибо родимой библиотеке.

Это происходило лет десять назад, «Россия» вышла в издательстве «Сканрус» и была успешно переиздана в Сретенском монастыре.

А вот совсем недавний случай, когда библиотека помогла мне выпустить книгу. Много лет я собирал материалы о вологодских губернаторах, управлявших нашей губернией с начала Екатерининской губернской реформы. Областное Правительство выделило деньги на издание книги, но деньги поступили на счёт издательства «ФЕСТ» к концу года. Книгу нужно было срочно подготовить и издать. Текст был мною давно написан, но хотелось найти ещё какие-нибудь изображения губернаторов в дополнении к уже имеющимся. Мы все включились в работу: отдел редкой книги и сотрудники издательства «Наше наследие». Как в былые годы, я снова приходил в библиотеку словно на службу, перелистывал каталоги, сотрудники отдела редкой книги подключили к делу Интернет. И труды наши увенчались успехом. Буквально за два-три дня до того, как оригинал-макет должен был быть сдан в типографию, мы нашли источник портрета генерал-губернатора С.И. Миницкого кисти Д. Доу, который теперь украшает книгу. А Р. Биланчук и С. Тихомиров, в свою очередь, в сжатые сроки научно отредактировали книгу, в фондах областного музея отыскали редкие дореволюционные открытки, придавшие книге особый колорит старины.

Обо всём подробно не расскажешь, но без библиотеки я бы не смог написать не только вышеупомянутые кни-

³ Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете.



Медиазал

ги, но также историко-литературный очерк о колоколах; едва ли с достаточной глубиной с раскрыл бы тему дипломной работы в педагогическом институте «Пейзаж в «Евгении Онегине», если бы не фонды библиотеки.

Не мной замечено, но повторить это необходимо, что наша областная библиотека - это не только хранилище книг, но и коллективный общественный деятель.

Разве можно забыть ежегодные литературные вечера, собиравшие вологжан - любителей русского слова?! В читальном зале библиотеки выступали В. Астафьев и В. Белов, Н. Рубцов и А. Яшин, А. Романов и В. Коротаев, И. Полуянов и В. Оботуров, О. Фокина и А. Швецов. Это были настоящие городские праздники, праздники литературы, бессмертного русского слова.

Общественное значение библиотеки я в полной мере оценил, когда некоторое время был ответственным секретарём Вологодской писательской организации. Когда я сейчас вспоминаю общественно значимые, крупные мероприятия, в каждом из них заметно самое активное участие библиотеки. Выездной секретариат Правления Союза писателей России, семинары молодых писателей, встречи с читателями, поездки в отдалённые районы области - всюду ощущалась помощь со стороны областной библиотеки.

Помнятся поездки в Никольск на Яшинские празднества. Помнится старинное двухэтажное здание районной библиотеки, тихие улицы Никольска, такие милые после шумных вологодских улиц. Помнится река Юг, висячий мост через неё, заповедные места Бобришного угора, одного из красивейших и поэтичных уголков нашего Вологодского края.

А как расцветал город, когда на главной площади и улицах закипала весёлая ярмарка с разноголосьем гармошек, с пляской и песнями, как зацветал луг возле храма, где привольно размещались понаехавшие их района участники и гости праздника. Жива, жива в никольских местах яшинская повадка, широта и смелость его души. Нынче заветы Яшина воплощает в жизнь его духовный ученик поэт Василий Мишенёв. Сейчас мы редко видимся с ним. Так прими, дорогой друг, заочный и сердечный поклон из далёкой Вологды. Как тебе живётся, как пишется? Ведь и ты тоже верный друг нашей библиотеки, её стены видели и тебя, слышали твой певучий самородный стих.

В библиотеке выступали мои друзья - череповчане А. Хачатрян и А. Пошехонов, всегда тепло принимали читатели басни незабвенного В. Хлебова; делились своими творческими планами с читателями тарножанин С. Мишенев, устюжане А. Васильев и Ю. Максин, поэт из Великого Устюга В. Ситников.

А разве возможно было бы без поддержки библиотеки проведение всероссийской конференции, посвящённой памяти моего учителя, большого русского писателя В.П. Астафьева?

Чрезвычайно велика роль библиотеки в возвращении имени зверски замученного в подвалах ЧК поэта

Алексея Ганина. От родной деревни поэта не осталось следа, не сохранилось ни одной избы, только ветер гуляет над заповедными местами, где родился будущий поэт. Казалось, что его звёздные, кипучие стихи заброшены и забыты, как этот пустырь. Но нет, библиотека совместно с Сокольским отделом культуры организовала конференции о его жизни и творчестве с выездом в родную деревню Ганина, где стихи его воскресли из небытия.

Я благодарен издательству «Книжное наследие», которое привлекло меня к участию в мероприятиях библиотеки. Я выступал с докладом о почётном гражданине г. Вологды генерале от инфантерии В.Н. Зубове в селе Устье Кубенское, в селе Никольское – с сообщением о поэте А.П. Межакове.

Красивый дом рода Межаковых в Никольском был сожжён современными вандалами, но остался чудный парк с редкими деревьями, с остатками грота, задумчивыми аллеями. Не забудется, как шелестели над нами вековые липы, как умирительно звучали в парке стихи Межакова, которые читали местные жители.

Не забудется и поездка в село Шуйское на чтения, посвящённые памяти великого учёного-физиолога профессора Н.Е. Введенского. Несомненно, важен факт возвращения в историко-культурный оборот ещё одного имени учёного-воложанина, но меня особенно тронул уголок в местном краеведческом музее, где помещены исследовательские работы детей, учеников районной средней школы. На Россию идёт мощный, беспощадный натиск массовой, потребительской культуры, и как замечательно, что учителя в Шуйском берегут лучшие традиции русской и советской школы, привлекают к изучению родной истории детей, не дают пропасть любознательной, творческой живинке в детских душах. Хотя окружающая жизнь редко радует добрыми впечатлениями, но после таких поездок возвращаешься в Вологду просветлённым, с верой и надеждой в будущее страны.

Наша библиотека выполняет фун-

кции литературного музея, которого пока нет в области. В её фондах хранятся рукописи литераторов-воложан, в ней сосредоточена богатейшая коллекция книг с автографами как местных, так и столичных писателей и поэтов. Плодотворно работает в отрасли литературного краеведения издательство «Книжное наследие», публикующее документы, автографы, фотопортреты наших писателей и поэтов.

Библиотека хранит память об умерших писателях и поэтах. Так, совсем недавно в библиотеке прошёл вечер памяти замечательного писателя И.Д. Полуянова, а в областной филармонии – вечер памяти В.В. Коротаяева. Практически каждый год в июле, в день рождения А.А. Романова, писатели и библиотекари приезжают в Петряево, на родину поэта.

Что это за кладёзь сокровищ – наша областная библиотека! Умей только этим кладёзем пользоваться, а главное – сперва полюби его.

В юбилейный год приходится говорить и о проблемах. Читальные залы библиотеки изрядно обезлюдели. Прежде в них стоял надоедливый, раздражающий шум, тихий (а то и не тихий) говор, хихиканье, смех. Всё это, по правде сказать, изрядно мешало заниматься. Зато сейчас в библиотеке именно та атмосфера, какая должна быть и какой она была в далёкие пятидесятые и шестидесятые годы: в воздухе разлита ничем и никем не нарушаемая тишина. Так что, с одной стороны, нет худа без добра. С другой стороны, я не разделяю озабоченности библиотекарей, что современные люди теряют интерес к книге.

Привычно в потере интереса винят Интернет. Но ведь Интернет – это следствие, а не причина. Причина в общем духовном кризисе человечества. Посмотрите на эстраду, посмотрите на извращения в оперной музыке: «Аиду» ставят в фуфайках. Не было не только при фараонах, но и при Верди фуфак! Будучи неспособными создать оригинальное, своё, современные режиссёры глумятся над чужими шедевра-

ми. То же происходит и с языком. И всё это, естественно, отзывается на книге. Читать книгу, трудиться душой, сердцем, умом - одно, а механически считать информацию для дипломной, курсовой работы, развлекать себя поделками, имитацией культуры, муляжами песен, кинофильмов - другое.

Но книга вернётся. Ведь нечто подобное уже было в нашей истории. Положение с книгой можно сравнить с положением с религией в XIX веке. Тогда наука делала гигантские шаги в познании мира и многие ретивые головы говорили, что при таких успехах науки вере в Бога просто нет места. Ведь всё понятно, всё объяснимо, нет тайн в природе.

И что же? Человечество стоит перед новыми тайнами, перед новыми испытаниями, а религия, незримая связь человека с Творцом, осталась, её не оборвать, не уничтожить.

Одновременно с борьбой с религией, как мы помним, велась и борьба с книгой, когда одни книги признавались правильными, нужными, а другие - вредными, бесполезными.

Вспомним двадцатые годы минувшего столетия, когда призывали сбросить Пушкина с парохода современности, когда замалчивался М. Булгаков, а процветали «ликуй исаичи»:

В. Киршон, В. Билль-Белоцерковский, К. Тренёв, В. Вишневский, чьи пьесы сейчас утратили художественное значение. Историю учили по учебнику М. Покровского, читая который сейчас, не можешь поверить, что его читали нормальные, а не умственно отсталые, бескультурные люди, настолько всё в нём примитивно и убого.

И ведь сбрасывали Пушкина, и не его одного.

В 1918 году председателем Вологодского губисполкома был М. Ветошкин, имевший, между прочим, высшее юридическое образование. Тогда в губернском архиве служил И. Суворов - историк, краевед. Страдая от того, что у него на глазах погибают книги современной и старинной печати, он пытался как-то уберечь их, спасти, сносил и свозил книги в архив. Однажды в архиве появился М. Ветошкин, который обнаружил «полуграмотные и елейные жития святых, церковные календари и тому подобную литературную труху. Понятно, что у товарищей рабочих, натывавшихся здесь на этот реакционный и поповский хлам, складывалось убеждение, что весь этот архив надо вытащить да сжечь». Судя по всему, Ветошкин русскую литературу знал неплохо. Почти то же самое говорит ге-



Читальный зал в здании на улице Ульяновой, 1



Цифровая запись читателей

рой бессмертной комедии А.С. Грибоедова полковник Скалозуб.

Каких бесценных сокровищ недо- считались мы от самоуправства таких «юристов»! Ведь гребли всё подряд, не рассуждая. Старое - значит, в огонь, в макулатуру, на бумажную фабрику! И не постыдно ли, что Вологде одна из улиц носит имя этого книгоубий- цы, а улицы краеведов Суворовых, отца и сына, нет.

Так что ничто не ново под луной. В те давние годы культурную ситуа- цию смогли переломить не только по- тому, что была ещё жива дореволю- ционная интеллигенция, с ужасом наблюдавшая за «сбрасыванием Пуш- кина» и поднимавшая голос в защиту национальной культуры. Но была приложена и государственная воля

Книга вернётся. Однако для этого нужны усилия не только людей, для которых литература, письменное ху- дожественное слово - неотъемлемая часть культурной жизни народа, но и ответные усилия власти. Но этого нет. На телевидении идут нескончаемые

сериалы, где герои то бандиты, то сле- дователи, открыто проповедуется точ- ка зрения на жизнь как на получение удовольствий, осмеивается, призна- ётся недостойным для молодого чело- века XXI века производительный труд на благо Отечества.

2007 год был провозглашён Годом русского языка. Но саммиты и бри- финги, дилеры и киллеры как ни в чём не бывало продолжали обитать и на радио, и на телевидении, афиши и реклама с текстами на латинице не уступили ни квадратного сантиметра своей площади нашей природной сла- вянской кириллице. Не было приня- то ни одного закона в защиту русско- го языка, тогда как во Франции есть специальный закон, стоящий на стра- же языка французского.

Библиотека - это не абонемент и не читальный зал, не отдел комплектова- ния и не методический кабинет - это люди. Не только читательские, но и многолетние дружеские отношения со- единяют меня с работниками библио- теки. В первую очередь, несомненно, с



Отдел редкой книги

её директором Н.Н. Беловой, с заведующей читальным залом М.Н. Теребовой, сотрудниками отдела редких книг Н.Н. Фарутиной и Е.Л. Демидовой, справочно-библиографическим отделом во главе с Э.А. Волковой, центром книги, музыкальным отделом, соратниками Р.П. Биланчуком и С.А. Тихомировым, да всех не перечислить....

Наша библиотека растёт, развивается. Руководство области несколько лет назад сделало библиотеке хороший подарок, передав в пользование освободившееся здание на Козлёнской улице. Сюда из старого здания, уже ставшего тесным, переехало несколько отделов. Но главное в новом здании - это парадный зал, с которым сравниться может разве только зал Благородного собрания. Сколько в этом зале прошло торжественных мероприятий, презентаций книг, сколько отпраздновано юбилеев, а сколько песен спето!

Заходишь в зал, окинешь восхищённым взором его необъятную высь, а из груди само рвётся:

Когда душа поёт

И просится сердце в полёт!

Все библиотеки, в которых я когда-либо брал книги, занимался сбором материалов для своих книг (это и



Центр чтения

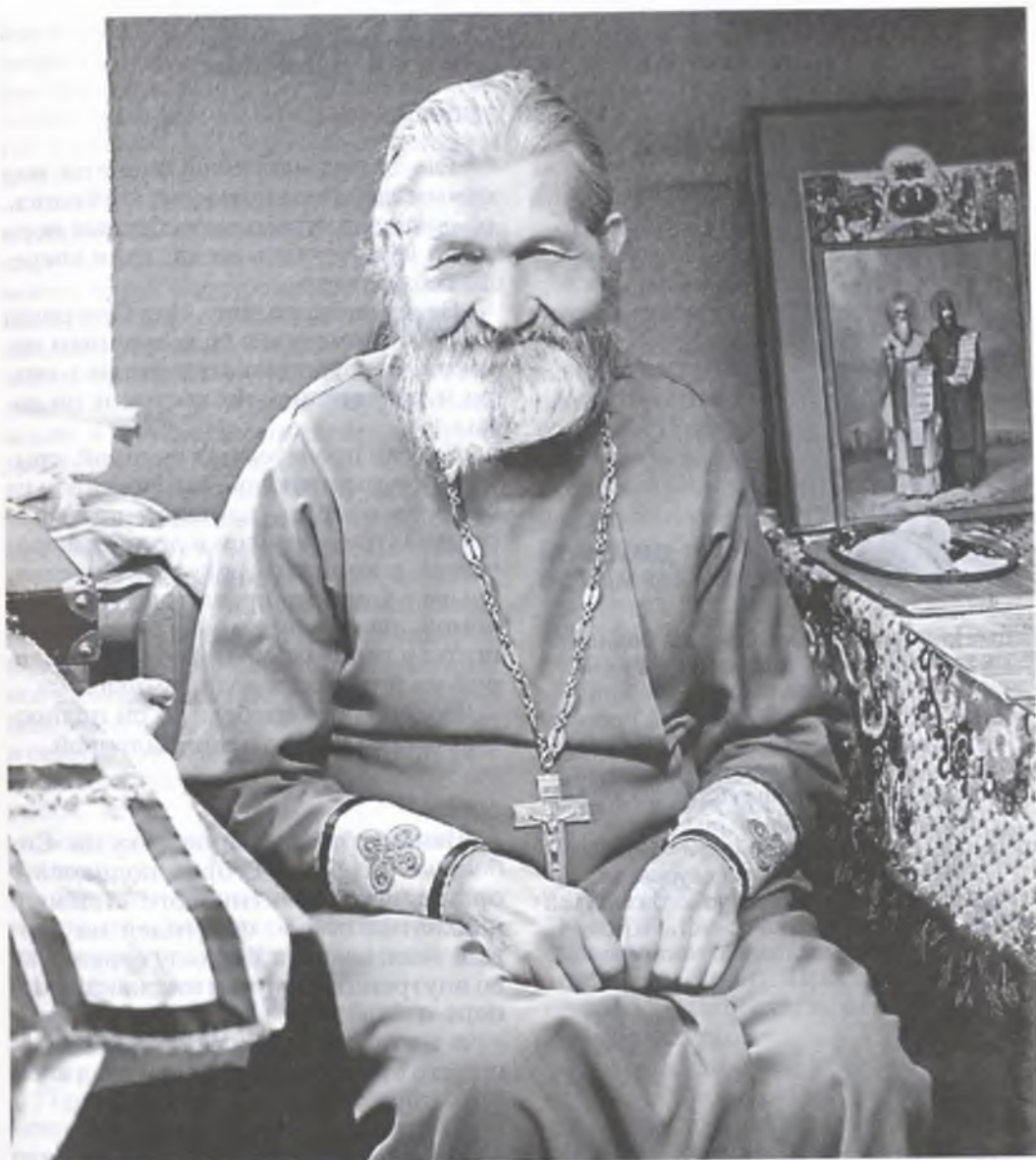
Государственная библиотека в Москве и там же Историческая библиотека), нерасторжимо слились в душе моей в один образ матери-библиотеки, нашей областной научной, любимой до конца жизни.

Библиотека давно стала для меня вторым домом. Не только в переносном смысле. В библиотеке проходили мои творческие вечера, здесь я встречал Новый год, праздновал свои дни рождения и выход в свет новых книг. Сюда приходил я со своими радостями, планами, мечтами и буду приходить ещё не раз. Я знаю, что здесь мне рады, да и мне радостно видеть знакомые, добрые, приветливые лица людей, служащих Книге, мировой культуре. Наша библиотека носит название областной, но в ней хранятся сокровища мировой культуры, и она неразрывными узами связана с нею.

Родной областной библиотеке 90 лет! В Священном Писании говорится: *«Премудрость созда себе дом и утверди столпов семь» (Притч. 9.1)*. Я не могу здесь перечислить все столпы дома премудрости, но, несомненно, один из этих столпов - Слово.

Слово, излившись из души человеческой, обитает в библиотеке, живёт там века, переходит из рода в род. Переселяются в вечность пророки, писатели, государственные мужи, а слова их хранятся в библиотеке, берегутся там. Желаю родной библиотеке, с которой связана вся моя жизнь, оставаться и далее тем прочным столпом нравственности и культуры, каким она является ныне в нашем беспокойном мире.

Роберт БАЛАКШИН



ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ. ПРОТОИЕРЕИ ВАСИЛИЙ ГЛАЗОВ

ФОТОРАБОТА АРХИЕПИСКОПА МАКСИМИЛИАНА

Сергей Валентинович МИРОШНИЧЕНКО, известный кинодокументалист лауреат многих престижных премий, президент фестиваля неигрового кино «Фрески Севера»:

- Какая фоторабота на выставке «Сердце Северной Фиваиды» понравилась больше всех? Портрет протоиерея Василия Глазова. Пейзажи тоже очень хорошие, но человек, по-моему, интереснее всего. Да и снимать портреты очень трудно. Здесь снят такой светлый, такой чистый батюшка, та-

кой умиротворенный.. Он смотрит на нас с такой любовью, в его глазах - свет.. . Любовь и свет - это то, чего нам в сегодняшней жизни больше всего не хватает. На выставке этим светом, этим добром наполнены многие работы, и пейзажи, и жанровые, и портреты, конечно. Мы порой думаем, что и нет в нынешней жизни ничего светлого, а вот посмотришь на фотографии владыки Максимилиана, и убеждаешься: есть и добро, и любовь, и это сильнее мрака...

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

Краткая повесть



**ДМИТРИЙ
ЕРМАКОВ**

Дмитрий Анатольевич Ермаков родился в Вологде в 1969 году, долгое время активно занимался спортом, работал тренером. Член Союза писателей России, автор двух сборников прозы, лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина «Светлые души».

«Вологодский ЛАД» не раз печатал рассказы Дмитрия Анатольевича. Недавно

Дмитрий Ермаков стал лауреатом II международного литературного конкурса имени А.Н. Толстого за повесть, которую наш журнал представляет читателям.

Где-то над макушкой планеты, над самым ледяным полюсом, клубились, сбивались в огромные небесные моря тучи. И двинулись на юг, гоня впереди себя ветер.

Ветер набирал силу. Над Северным Уралом столкнулся со встречным потоком. Заклубились, завертелись вихри и разлетелись на восток и на запад.

Ураган пролетел над тундрой, срывая чумы оленеводов, выплёскивая из берегов озерца, взрывая волнами реки. Затем врезался в леса, выворачивал с корнями вековые деревья, срывал хлипкие крыши деревенских домов, рвал рекламные растяжки и щиты в городах. Ураган будто проверял на прочность дела земные.

Но силы его слабели, и он полностью выдохся где-то над Балтикой...

1

Наконец объявили посадку на «Сибелиус». Алексей Егоров поднялся с оранжевого пластикового сиденья, подхватил сумку, спустился на первый этаж вокзала. На ходу сунул руку во внутренний карман пиджака - паспорт и билет на месте...

А в это время за стенами вокзала, над его стеклянной крышей, над всем этим городом нёсся ураган...

- Берегись!..

Егоров замер. Огромное стекло стоймя ударилось о бетон пола прямо перед ним, разлетелось брызгами осколков, не задев Алексея. Но ещё до того, как оно разбилось, в один миг он увидел себя, как в зеркале: серый пиджак и брюки, тёмно-синий галстук, застывшее в недоумении лицо - короткая стрижка (кажется, даже успел разглядеть две седые ниточки на правом виске), бородка, серые глаза (в правом красная прожилка лопнувшего сосуда) и вечная зарубка на переносице от очков...

Егоров даже не понял, что случилось, торопливо пошёл дальше, к сво-

ему вагону. На перроне - раскиданный ветром мусор, торопливые пассажиры, носильщики с тележками... Кажется, никто не заметил пролетевшего урагана. Стал накрапывать дождь...

За окном электрички мелькали однообразные, унылые в эту дождливую пору пейзажи: кусты, платформы, мосты через неширокие речки... Ближе к Выборгу стало интереснее, появились огромные серые и розовые в жёлто-зелёном мху валуны, выраставшие постепенно в скалы, будто въезжали в какие-то предгорья. Да и дождь прекратился...

Большую часть вагона занимали очень организованные, китайские, как думалось ему, туристы. По команде энергичной, напоминавшей комсомолок-активисток его юности, женщины (она не только что-то заодно выкрикивала, но и хлопала в ладоши), все китайцы дружно заводили песню, или смеялись, или, откинув столики в спинках передних сидений, ели что-то одинаковое из пластмассовых коробок.

Сначала он с интересом наблюдал за ними, потом надоело. На душе было по-дорожному тоскливо, немного тревожно, но и радостное ожидание было от скорой встречи с незнаемым заграничным миром.

Тоскливо от унылого пейзажа, дождливой погоды, от того, что осталось дома.

Тревожно было потому, что он впервые ехал за границу, ехал один, и хоть знал, что всё будет хорошо, а всё же...

А радостно - потому что любил он дорогу, новые места, новых людей. И (тайно) тешило душу сознание того, что не кого-то другого, а его пригласили на эту конференцию - что-то значит он в своём деле.

Ну и что-то ещё, совсем уж необъяснимое было, от чего и тревожно, и грустно, и радостно...

Дома осталась жена. С ней было так: то дело шло к полному разладу, то возникала надежда на нормальную, если уж не счастливую, совместную жизнь... И жили, терпели... Он

заикнулся как-то о ребёнке. Галина удивлённо вскинула брови:

- Да? Тебе нужен ребёнок? Ты хочешь, чтобы я всегда оставалась рядовым преподавателем?.. Ты и этого не хочешь. Тебе нужна прислуга: подай-унеси. Я этого не хочу.

Больше о детях не заговаривал.

А собираясь в эту поездку, готовя доклад, документы, думая, что надеть (это тоже была проблема), он как-то отвлёкся от Галины, жил не то чтобы сам по себе, но меньше обращал на неё внимания, и её, кажется, это устраивало. И ссор между ними почти не было... Но ведь любил он её когда-то. Вспомнилась строчка: «Пришли на память милые грехи: придёшь полураздетая, босая...» Да, любил. Но любит ли? И если поймёт, что не любит - уйдёт от неё, как взял да и ушёл из университета. В тридцать шесть лет решил по-новому жить.

Тут ещё вот что было: он ведь знал, что она-то не любит. Нет, внешне это никак не выражалось. То есть их ссоры, размолвки были такие же, как и у любящих. И даже её нежелание рожать не могло подтверждать её нелюбовь к нему, тут-то как раз могло быть и наоборот. И вся их жизнь проживалась так, что не было повода усомниться в любви. И всё же он знал - она его не любит. Просто он никогда не давал разгореться, охватить душу этому знанию...

И угораздило же его купить билет в вагон для некурящих (да никто ведь его и не спрашивал), и сейчас очень хотелось курить, и он нервно ждал Выборга, где будет длительная остановка...

В Выборге на мокром перроне выкурил две сигареты и снова вошёл в вагон. Шли пограничники, проверяли документы и вещи. Подал заграничный паспорт, на оформление которого ушло так много сил и нервов, билеты. Его небольшая чёрная сумка не заинтересовала пограничников. Там кроме смены белья, нескольких книжек и тетради, лежали две бутылки водки и блок сигарет «Балканская звезда».

И вот уже поезд едет по террито-

рии бывшей автономии Российской империи, а ныне независимой Финляндии. Всё то же за окном. И даже не чувствуется пока какой-то особой аккуратности, которая якобы отличает земли заграничной Европы от России. На какой-то крохотной станции проверяли уже финские пограничники. Снова тронулся поезд. И вдруг встал где-то посреди перегона - с обеих сторон вагона кусты, за ними лес... Прошёл мимо озабоченный проводник - высокий, крепкий, с короткой стрижкой рыжевато-волосатый мужчина в синей безрукавке и голубой рубашке. Когда он шёл обратно, Егоров спросил:

- Что-то случилось?

- Отключили электричество, ничего, скоро поедет. - на хорошем русском ответил проводник и пошёл по вагону дальше, с таким видом, будто у него срочное, не терпящее промедления дело.

Егоров понимал, что это срунда, случайность, что бывает такое и в России. И всё же не отказал себе в этом, шутливом, конечно, удовольствии подумать: вот тебе и европейский порядок, вот тебе и русский бардак...

Вскоре поезд тронулся и через пару часов, точно по расписанию, прибыл в Хельсинки.

Алексей выпрыгнул на перрон и сразу увидел мужчину, похожего на проводника (только рубашка под безрукавкой была клетчатая), он даже невольно оглянулся, сравнил - да, очень похожи. На груди у мужчины висела картонная табличка с надписью «Егоров», и он уверенно направился в его сторону.

Поздоровались.

- Здесь можно курить? - вроде бы в шутку спросил Алексей.

Марку, так звали финна, серьёзно огляделся по сторонам:

- Запрещающих знаков нет. Можно курить. - На русском он говорил ещё лучше проводника, почти без акцента, только чуть замедленно.

Мимо них прошли организованной толпой, с одинаковыми цветными рюкзаками за спинами, китайцы.

- Японцы, - сказал Марку. По уверенности, с которой он это сказал, было ясно, что это, вне всякого сомнения, японцы.

Они постояли, пока Егоров выкурил сигарету, и только после этого через здание вокзала вышли на площадь.

- Вот моя старушка, - наверное, желая пошутить, сказал Марку, когда подошли к машине «Вольво».

Ехали по вечернему уже городу. На улицах было немногочисленно, и как-то не чувствовалось, что это столица европейского государства.

Подъехали к прямоугольному серому пятиэтажному зданию Российского центра науки и культуры. Здесь Егорова тоже ждали. Он попрощался с финном и вошёл через железную высокую калитку во двор, а затем и в здание, следуя за вежливо-равнодушным мужчиной, представившимся Николаем.

- Завтрак в восемь часов. С девяти начало официальных мероприятий. Просьба не опаздывать. Вот номер телефона коменданта здания, если возникнут какие-то проблемы. До свидания. - И он вышел.

Номер был небольшой, уютный, на люк не тянул, но была большая мягкая кровать, телевизор, холодильник, душевая...

Было часов десять вечера. Он знал, что в соседних номерах живут участники конференции, приглашённые из других городов, слышал шаги и голоса в коридоре, даже узнал голос известного московского литературоведа и критика. Но сегодня уже ничего не хотелось, никаких встреч и разговоров. Он лежал, расслабленный после душа, на кровати, чувствовал запах чистого белья, курил, строя в пепельницу толстого зелёного стекла, стоящую на прикроватной тумбочке, нажимал кнопки на телевизионном пульте. Удивили финские программы - спокойные, напоминавшие советское телевидение: «говорящие головы»; очень скромно одетая певица, поющая мелодичную песню; какая-то техническая программа - восстанавливали старый автомобиль;

и неожиданно попал на российский канал, оглушивший рекламой... Он выключил телевизор, вскипятил воду в электрочайнике, заварил в стакане чай, раскрыл холодильник и, к радости своей, обнаружил там пару бутербродов с маслом и сыром и какое-то желе в пластиковом стаканчике - съел не задумываясь. Читать уже не было сил. Выключил свет, лёг и только сейчас вспомнил и осознал, что произошло на питерском вокзале - один шаг отделял его от смерти, для него могло уже не быть всего, что было после падения стекла. И смертный ужас настиг его сейчас, когда он был в безопасности, в удобной тёплой постели, когда готовился уснуть с приятным ожиданием завтрашнего интересного дня... И он лежал, вперив глаза в темноту, невольно думая о внезапности смерти, о тайне жизни... И уснул.

2

Старик Егоров болезненно кричал, ворочался на скрипучей железной кровати. Лежал он поверх линялой голубой накидки, в одежде, босой. У него «ломало спину».

Успели всё же со Власьевной до грозы собрать недосохшее сено в копны, накрыть клеёнками, прижать досками... Она, Власьева, хоть и старше Егорова на два года, крепче его будет, всё еще держит коз...

А за окнами уже бушевала гроза - буря, ураган. Что-то визжало там, скрипело, кричало, выло... Егоров боялся, как бы не повалило на крышу старую липу, росшую у крыльца, накрывавшую кроной половину дома.

А было время - и липа, и дом, и он, Анатолий Егоров, были крепки, в силе. Была и Власьева Анюткой.

Хоть и сопляк он был для неё в те годы, а всё заглядывался... А когда уж с войны мужиком вернулся - всерьёз сватался. Нет. Не пошла. Как проводила своего Пашку на финскую, так и ждала. И ведь даже не жена ему была - невеста...

От неловкого движения так стрельнуло в спине, что старик застонал...

«Совсем одни мы тут. Никому уже

не нужны. Зачем и живём-то ещё... Хоть бы Лёшка приехал».

Буря пронеслась, и теперь шёл дождь - шуршал, стучал, будто просился в дом.

И правда, скоро застучали, падая с подоконника на пол, крупные капли.

А у старика уже не было сил, чтобы подняться и подложить тряпку. Под равномерный капельный стук он и забылся неглубоким сном.

3

Галину ураган застал по пути из университета домой. Она поднималась на мост через реку, когда налетели первые порывы, ударили песчинками в лицо, рванули подол платья. И сразу стало темно. И лица прохожих серые и испуганные. И новые, ещё более сильные порывы ветра. Одной рукой Галина прижимала к ногам подол, другой сумку к груди и уже шла чуть нагнувшись вперёд. А ветер рвал волосы, ветер обхватывал и будто норовил приподнять и унести с собой. Вдруг что-то лопнуло вверх, и со свистом понёсся по дуге вперёд-вниз-вверх металлический трос, крепивший рекламную растяжку к столбу. И Галине показалось, что он пролетел в миллиметре от виска. Ожидая обратного страшного движения, она наклонилась ещё больше и побежала... А с макушки моста увидела внизу на проезжей части что-то большое, серое, непонятно откуда взявшуюся тут гору...

- Крышу сорвало! - крикнул кто-то рядом.

- Машины накрыло...

Ураган сорвал дюралевую крышу с заводского здания и бросил её посреди улицы.

Ветер был ещё сильный, но уже ослабевал. Громыкнуло, засверкали молнии, пошёл дождь.

Галина была оглушена, напугана, промокла насквозь, и казалось, что каждая молния направлена в неё. Бежала, безнадежно портя дорогие босоножки, по лужам...

- Галина Владимировна! Сюда, быстрее! - Высокий, широкоплечий,

чернявый Михайлов с физмата вышел из своей «десятки», махал ей, открывал дверцу.

Она села.

- Спасибо. Подвезите, пожалуйста, до дома... Ужас какой...

- Стихия.

Остановились во дворе - тёмном, пустынном.

- Уехал муж-то?

- Уехал.

Михайлов держал её так, что не было сил вырваться...

- Нет, нет, нет... потом... я не могу...

Пожалел он её, что ли? Отпустил.

Она вбежала в подъезд. Темнота. Свет не горел. На лестнице споткнулась о ступеньку, больно ударилась коленом и порвала колготки.

И ей уже было всё равно, когда он подошёл, взял за руку... Она со второго раза попала ключом в скважину...

А уже через час Михайлов заторопился:

- Надо, Галя, надо... Дом, семья... Сама понимаешь...

4

Налетел, как тот ураган, смял, улетел. «Ну, а чего ты хотела-то? Этого ты и хотела уже давно - изменить мужу...» Она лежала в ванне, до краёв наполненной водой и пеной. «Да, Михайлов - это мужик... - и сама себя поправила: - Самец...» А ведь он не нравился ей (замечала в университете, что он посматривает на неё... да он на каждую посматривает) - слишком уж слащаво-киношный красавец. «Ну что ж, лучше ведь с красавцем, чем с уродом...»

Необходимо стало чем-то занять себя. Подмела прихожую, кухню, разобрала и уложила аккуратно вещи в шкаф, бумаги на рабочем столе мужа (в их однокомнатной квартире один рабочий стол - его; она, между прочим, тоже преподаватель университета, всегда работала - готовилась к лекциям, писала конспекты - на кухне). Хоть он чуть ли не полгода собирался в свою Финляндию, а, как всегда, всё уже в последний день доделывал и такой бардак после себя

оставил. Сейчас он, наверное, в поезде, в книгу, конечно, уставившись сидит. Эти его книги, эта его работа, учёность... Как надоело! Хотя без этого-то он бы ей и вообще не нужен был... И ведь даже не мелькнуло мысли у него - взять её с собой. Конечно, это невозможно, но ведь даже не подумал, не сделал вид, что хочет её взять... Ничего. Сделает и она карьеру. И пока ещё, хотя бы только для этого, Егоров ей нужен. (Она даже как-то забыла, что ведь он уже не работает в университете, потому что в домашней его жизни всё осталось по-прежнему - книги, компьютер, рукописи...) И увидела на полке над столом книгу, которую Егоров всё последнее время постоянно перечитывал: «Сергей Чухин. Стихи».

Она, конечно, читала Чухина и раньше. Сейчас зачем-то достала книжку, раскрыла наугад... «От мужика ушла жена - встречаются молодки...» Прозаическое какое-то стихотворение, не самое лучшее у Чухина... И почему он выбрал именно Чухина? Писал бы уж о Рубцове - беспрюирышный вариант. Но - это Егоров, беспрюирышные варианты его как раз и не интересуют...

Включила телевизор, а там про сегодняшний ураган. «... в Вологде встали трамваи...» На картинке, действительно, был трамвай, стоявший посреди превратившейся в реку улицы. Но в Вологде нет трамваев... И вот эта ошибка - трамвай, какой-то другой город, почему-то раздражила её. И она подумала, что и вся-то жизнь состоит из таких ошибок, из неправды, которая вроде бы безобидна, но которая подменяет собой настоящую, реальную жизнь и в конце концов делает её невозможной... Она и сама понимала, что делать такие выводы из столь незначительной случайности - глупо. Но вот крутанулись в голове такие мысли, и - никуда не денешься - они, мысли эти, уже есть...

Она выключила телевизор и, приняв таблетку снотворного, что делала крайне редко, легла спать...

Стук колёс - пригородная элект-

ричка. Она, Галя, девочка, и рядом отец. Они вышли из электрички и вошли в лес. Она собирает грибы, а рядом уже не отец, а Алексей... И опять электричка - стук колёс, стук, стук...

Утром, только проснувшись, услышала стук капель в ванной из плохо перекрытого крана. Потом, уже умывшись, выпив кофе, включила компьютер, вошла в Интернет, нашла нужную страничку - толкования снов. «Собирать грибы - беременность». «Ну что за глупости...» Торопливо набросала косметику, оделась и пошла в университет - с утра две пары.

У моста, где вчера лежала сорванная крыша, всё уже было свободно, чисто. О вчерашнем урагане напоминал лишь лежавший поперёк тротуара ствол павшего тополя, с опилёнными уже ветвями, и от запаха сырой древесины у Галины даже голова закружилась, комок к горлу подступил...

...Она сидела в кабинете за компьютером.

- Здравствуйте, девочки! - Михайлов зашёл. Физмат, конечно, рядом, но в гости ходить у них как-то не принято.

А он сразу к Галине:

- Галочка, мне бы бумаги для принтера листов двадцать, - и по плечу, как бы случайно, провёл.

Дала ему бумагу... Не мог чего-нибудь поумнее придумать... Как же - надо, чтобы все видели...

Правда, в кабинете и была-то кроме неё только Марина. Сидела за своим столом, хлопая пушистыми ресницами.

Когда ушёл, сразу к Галине:

- Галка, рассказывай!

Сказала ей.

- Да, да... Мы теперь обе падшие женщины, - резюмировала Марина.

И рассмеялись.

- Твой в отъезде, и я одна. Давай сегодня в ресторан ходим. А? Разведемся.

Галина усмехнулась:

- Ну, раз «падшие», то давай.

- А с ним, как думаешь, надолго? - спросила Марина.

- Обойдётся... Припёрся... Трепло. Марина понимающе кивнула:

- Точно. Трепло. Красивый мужик, конечно... А у своей-то под каблуком...

Марина красивая, бедовая, в глазах чёртики. Давно она Галину пыталась - с кем гуляет от Егорова, не верила, что нет у неё никого. Ведь - «муж мужем, а любовник нужен». Дождалась.

- Давай кофе, Галинка. Мне сегодня заочники вон каких конфет принесли, - показала красивую коробку.

- Давай.

5

Алексей проснулся рано, около пяти. Да он всегда так вставал.

Спустился на первый этаж (а он жил на пятом). Хотелось прогуляться, но дверь на улицу была заперта, и охраны не видно. Перед дверью «предбанничек», пара стульев тут, зарешеченное окно во двор.

Егоров приоткрыл створку окна, закурил. Сразу за окном росло какое-то дерево. И вдруг Алексей увидел, как по стволу вниз, на уровень окна сбегала белочка - рыжая, востроглазая. Она уселась на ветке боком к Егорову, совсем рядом, только руку через решётку протяни, нацелила в него круглый озорной глазок.

Да хотя бы ради этого стоило приехать в такую даль! Впервые в жизни так близко видел Егоров лесную зверушку. И ведь где - в центре крупного европейского города.

И ни крошки в кармане! Белка крунула головой и вмиг убежала по стволу вверх.

Егоров докурил, бросил окурочек на улицу, закрыл окно и поднялся в свой номер.

Напился чаю и достал из сумки толстую, в синей обложке тетрадь. Тут были и дневниковые записи, и наброски статей. В общем, рабочая тетрадь.

Раскрыв тетрадь, он стал просматривать старые записи, потом достал листки с планом доклада, что-то стал вписывать в них из тетради, что вычеркивал...

Из рабочей тетради

Алексея Егорова

Стоял перед могилами Рубцова и Чухина и думал примерно вот что...

Почему Рубцов стал так необходим нам? В Рубцове, как когда-то в Пушкине, в Есенине, Россия вновь обрела себя. Да, уже не ту величественно-могучую, что в «Клеветнике России» Пушкина, не «Русь уходящую» Есенина. В Рубцове Россия увидела себя бездомную, сиротскую, терзаемую на грани «меж городом и селом», Россию, в которой человек живёт «вблизи пустого храма»... «Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...» - ужаснулся Рубцов. Уже чувствовал, всё чувствовал... «Что с нами происходит?» - в то же примерно время спрашивал Шукшин. Так вот - то, о чём спрашивал Шукшин, произошло. Бездуховность. Повсеместное хамство. Хамство бытовое, хамство бюрократическое, хамство на телевидении, хамство в литературе, хамство в учебных заведениях, хамство в церкви... Живём в эпоху победившего хама. И уже не страшно. Уже не страшно, когда матерятся дети, не страшно, когда видишь роющегося в помойке человека... Страх Божий потерян. Это и есть нынешнее хамство. Это хамство убило Рубцова и Чухина. От этого хамства и пытался убежать тот же Чухин. Вот лучшее, пожалуй, его стихотворение «Художнику Михаилу Брагину» (а его могила тут же, рядом с ними - на камне: «Миша Брагин. XX век»):

*Ах, эта жизнь! Гори она огнём!
Давай, мой друг, махнём куда попало,
Давай вдвоём немного отдохнём...
Мы столько были под людским судом,
Что вышнего бояться не пристало.
Да только ли в багетах золотых
Возможно счастье?*

*Нет, оно повсюду:
Меж елей, темнотою налитых,
В морозах, что захватывают дых,
В любом цветке, уже подобном*

чуду.

*Поехали! Не всё ли нам равно...
Куда-нибудь в деревню, недалеко,
Где не горчит, а радуется вино,
Где не гремят под вечер в домино,*

*Где умных лиц не делают
при встрече.
Осточертели вечные ханжи,
Что взглядами,*

*как банными листьями,
Картины облепили, витражи;
И облепили слово ржавью лжи;
И преуспели в том, и не устали.
А мы от них давай передохнём
Да примемся за старую работу -
Смешаем ночь*

*с быстробегущим днём
И за рога судьбу свою возьмём,
Не погрешив в работе ни на йоту.
Пусть вослед нам слухи заснут,
И каждый будет сплетней*

*приукрашен:
Пусть ханжи нам суд произнесут...
Мы столько раз судимы были тут,
Что божий суд - и то уже*

не страшен.

(Егоров не отказал себе в удовольствии прочитать полностью это стихотворение, как и было оно переписано в тетрадь).

И он же, Чухин, писал:
*Мне тяжело, когда, верно привычке,
Вокруг снуёт холодное жульё
И подбирает разные отмычки
К моей душе,
Чтобы взломать её...*

Я как молитвы твержу их стихи. Ещё верю, ещё надеюсь... И я иду в эту жизнь. В которой - мы. Мы - нынешние.

*Но в эту жизнь взглядеться надо...
И это высшая награда -*

глядеть открыто ей в лицо!

Было без десяти восемь. Егоров оделся, выкурил сигарету и пошёл на второй этаж, откуда уже доносились голоса и вкусные запахи.

- Алексей, здравствуй! Рад, что ты смог вырваться, - московский критик и литературовед Закрутко, знакомый по встречам на различных литературных мероприятиях, румяный весельчак, «рубаха-парень» и в то же время, как уже знал Егоров, хваткий в практических вопросах человек, первым увидел его, входящего в этот бар или столовую, шагнул от широкой стойки, уставленной тарелками и стаканами, протянул для пожатия обе руки.

- Здравствуйте, Всеволод Борисо-

вич. - Егоров был рад, что сразу встретил знакомого, сразу почувствовал себя уверенней, хотя особой симпатии к Закрутко при прошлых встречах не возникало. Впрочем, они были мало знакомы.

Но Закрутко вёл себя как старый приятель и, к тому же, местный старожила - как-никак ещё вчера утром приехал.

- Бери чего хочешь - самообслуживание, присаживайся...

Вскоре Егоров был знаком со всеми приехавшими из России участниками конференции.

Тут были: поэт и заведующий отделом поэзии регионального журнала, немолодой, в очках, сухонький, суетливый - Савёлов; стареющая красавица, поэтесса с фамилией Сидорова; большой, бородатый, но умеющий быть незаметным человек по фамилии Лосев - литературный критик...

- В программе указано, что ты о Чухине будешь говорить... Это ведь что-то близко к Рубцову? - спросил Закрутко.

- Близко, - согласился Егоров. - Но Чухин и сам по себе интересен.

- А, вспомнил, он ведь в «Антологии» есть, и Евтушенко в свой сборник его включил... Да-да... вспомнил... Ну... - Закрутко кивнул и сделал движение рукой, означавшее, скорее всего: «Дело хозяйское, смотри...»

Егоров съел салат, пару бутербродов. Пил кофе и курил. Все курили, кроме, кажется, Лосева...

- Я так хочу в Вологду. Я без ума от Рубцова! - Элла Сидорова закатила глаза.

- Осенью большой рубцовский праздник будет, каждый год проходит, со всей страны съезжаются, - без энтузиазма ответил Егоров. Он не любил этот «рубцовский праздник» и особенно «рубцовоманок»...

- Господа, доброе утро! Через пятнадцать минут всех прошу быть в фойе на первом этаже, нас уже будут ждать! - сказал объявившийся вдруг и тут же удалившийся встречавший вчера Егорова у калитки Николай.

И вышла откуда-то, будто из-за кулис, работница бара - в сиреновом

фартуке поверх блузки, с ленивым, но добрым выражением лица.

- Ребята, - обратилась к Егорову и Закрутко, - возьмите тут на вечер-то. Мы ведь вас только завтраком кормим, обедом - финны, а ужин не предусмотрен.

- Ничего себе - не предусмотрен, ничего себе, то-то я вчера никого тут найти не мог, чуть не загнулся с голодухи, - беспокойно заговорил Закрутко.

Егоров держал большую тарелку, а Закрутко складывал в неё бутерброды. Да ещё целую тарелку каких-то крохотных (с мизинец) сарделек взяли.

- Живём! - довольно воскликнул Закрутко.

- Да, - подтвердил Егоров.

У лифта стояла Элла Сидорова. Дверь в лифт как раз открылась, Сидорова вошла, шагнули за ней и Закрутко с Егоровым.

Женщина томно взглянула на Егорова и спросила:

- Вы прозаик?

- Нет.

- Он про ёжиков! - пошутил и сам же хихикнул Закрутко.

- Литературовед, - сказал Егоров, и все вышли из лифта, вставшего на пятом этаже.

В номере Егоров поставил тарелку с бутербродами в холодильник (вторую унёс к себе Закрутко), сунул во внутренний карман пиджака листки с конспектом доклада и выкурил ещё одну сигарету.

6

Лосев дождался, когда все подойдут к женщине-финке, ожидавшей их у центрального входа, поздороваются и представятся. Вот вологжанин Егоров подошёл, говорит что-то, улыбается, жмёт руку. После него уж и Лосев пошёл.

- Здравствуйте, Лосев.

- Здравствуйте, - глядя снизу, протягивая ладошку, сказала женщина на чистом русском, - Аннели Малинен. - Улыбнулась, добавила: - Вы такой большой.

Лосев тоже улыбнулся и ничего не ответил.

Аннели - маленькая, с прямыми светло-русыми волосами, простым приятным лицом, в лёгком сером плащике, лет, наверное, сорока с чем-то.

Она и звонила ему четыре месяца назад, приглашала на это мероприятие. Он тогда очень удивился, а она объяснила, что заметила его публикации в журналах, особенно её заинтересовали критические и литературоведческие статьи. Предложила сделать доклад. «О Ганине», - сразу сказал он. «О' кэй, пусть будет о Ганине». И Лосев стал готовиться к этой поездке... И всё не верилось, что в Финляндии кому-то интересны «новокрестьянские» поэты, тот же Ганин...

...У него была такая привычка, или игра, или это уже необходимость была - определить себя в пространстве и времени и вспомнить, понять, как он в эту точку пространства и времени попал.

Вот сейчас он сидит у окна в хельсинкском трамвае... Было увлечение литературой с детства, поэтому и поступил на филфак. Не воспользовался отсрочкой и пошёл в армию, потому что привык «не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». ВДВ. Чечня. После ранения комиссовали. Вернулся домой - злой, больной и не особо нужный кому-то. В институте не смог доучиться - не мог видеть, слышать этих мальчиков и девочек... Сошёлся с бывшими приятелями-спортсменами. Им оказался нужен. И покупать оружие отправили именно его. Ехал один на своей машине, с большими деньгами. На юг. Туда, где много оружия. Дальше - чудо. Знал, что в монастыре не откажут в ночлеге и отдыхе. Не отказали. А когда вышел из кельи и взглянул на него старец - захотелось пасть на колени. Трудился там полгода. И там вновь смог и начал читать. Читать серьёзно, страстно. И писать. И по благословению вернулся в мир. Деньги были при нём, в целости и сохранности, но когда вернулся в свой город, оказалось, что отдавать их некому. В эти полгода случилась небывалая в их краях криминальная война. Всех стреляли или посадили. А про него

забыли просто. Деньги он сумел передать одному из «сидельцев». И - опять чудо - никаких претензий к нему. И он стал жить своей жизнью - писать, публиковаться... И вот он здесь.

Всё это промелькнуло в голове за те несколько минут, что ехали в трамвае. Русские переговаривались, смеялись, что-то спрашивали у Аннели, она отвечала, пассажиры заинтересованно взглядывали на них... Лосев чувствовал, что опять приближается к чему-то важному, очень важному в жизни...

Огромное сложное здание института. Сначала всех провели в какую-то комнату, где был телефон, и Аннели Малинен предложила всем желающим позвонить домой. Лосев звонить не стал. Он заметил, что не звонил и Егоров. Потом прошли в институтскую библиотеку - книжные полки, столы, поставленные как парты в школе. Выступил руководитель Русского культурного центра, выступил директор института - оба официально, скучно и, к счастью, коротко.

Почему-то доклад Лосева стоял первым в череде выступлений. Его объявили, представили. Он вышел к кафедре. Выступать он уже умел, умел скрыть волнение. Главное - говорить для того человека, который попытается понять. Лосев выбрал Егорова - для него говорил...

- Как известно, суть любого явления наиболее точно передаёт образ. Давайте представим литературный процесс как поезд, впереди которого идёт паровоз. И вот этот поезд мчится. И чем занимается литературоведение? Оно подсчитывает, сколько угля сгорает в минуту, определяет скорость, изменение ветра и так далее. Оно должно этим заниматься, даже если поезд мчится к обрыву. Разумеется, задача критика в такой ситуации найти стоп-кран...

Чтобы понять ту ситуацию, в которой все мы оказались сегодня, нужно заглянуть в век двадцатый. И я характеризую начало прошлого века, как расчеловечивание.

В начале двадцатого века на исто-

рическую сцену выходит новое активное действующее лицо - массы. Начав с Чарли Чаплина, с Голливуда, это историческое лицо заканчивает свою деятельность «сникерсами» и «фабрикой звёзд». Прямо скажем - не слишком богатые духовные достижения...

Что же происходит в России в начале двадцатого века? Массы появляются на сцене в результате процессов, которые на Западе начались ещё в шестнадцатом веке.

В России в начале прошлого века - большинство населения крестьяне, это уникальное сословие со своим уникальным духовным укладом, со своей удивительной философией. По точному наблюдению Владимира Солоухина, в начале века крестьянство начинает прорастать в высшую культуру очень деятельно, очень заметно. Именно выходцы из наиболее состоятельных, просвещённых крестьянских семей, в том числе и Алексей Ганин, и составили «новокрестьянскую школу». И Клычков, и Есенин, и Клюев - всё это не выходцы из низших селений. Поэтому процесс прорастания крестьянской культуры в дворянскую был совершенно естественным. Революция поначалу дала этой культуре большие возможности, но эта же революция, побегница культуры пролетарской, срезала...

Нелепую каменную хрущёвку невозможно поставить в берёзовой роще. Надо уничтожить рощу, чтобы поставить этот новодел, соответствующий представлениям строителей о мировой гармонии. И поэтому наиболее мощная поросль крестьянской корневой культуры, которая сформировалась в двадцатые годы, была безжалостно вырублена: Ганин и Есенин - двадцать пятый год, остальные - в тридцатые годы. Но здесь тоже интересное наблюдение можно сделать - если уж честно из двадцать первого века посмотреть, что же наиболее значительного в русской культуре за это время было сделано и кем сделано, то нам придётся признать, что наиболее значительный вклад в культуру России, в мировую культуру двадцатого века внесли «деревенская проза», «ти-

хая лирика», музыка Свиридова, то есть вторая, не вытоптанная волна крестьянской культуры.

Интересна география этой русской культуры, которая появляется в двадцатые годы. В Вологде появляется Алексей Ганин, из Рязани приходит Есенин и так далее. В то же время такие родовые для русской литературы земли, как Орловщина, наоборот, из литературы уходят. Потому что Орловщина принадлежит дворянской культуре. То есть очевидно, что дворянская культура передаёт первенство культуре крестьянской. И совсем не случайно, а, наоборот, символично, что именно в Вологде в начале двадцатого века вырос большой русский поэт Алексей Ганин. А уже в пятидесятые годы там же появляется Василий Белов, в той же Вологде творил Николай Рубцов, да и Сергей Чухин, имя которого я видел в одной из тем сегодняшних выступлений.

И нам пора задуматься и понять, воспринять от Есенина, от Ганина, от Клюева, от многих других русских мыслителей, поэтов, писателей ту важную мысль, то важное чувство, что жить нужно живою жизнью и думать о том, чтобы эта живая русская жизнь не пресеклась в большой истории человечества. Вот стихотворение Алексея Ганина, посвящённое Сергею Есенину, с таким предисловием: «Другу, что в сердце мёд, а на губах золотые пчёлы-песни»:

Красный час

Ушла седая ночь, а день ещё
в далёком,
Ещё блуждают сны,
и не родился звон.
Роятся лики звёзд
в молочной мгле востока.
Звезда зовёт зарю взойти
на небосклон.
С небесных чых-то глаз роса
пахучей мёда
Струится в синь травы,
чтоб грезил мотылёк,
Цветы ведут молву
про красный час восхода,
Целуется во ржи
с колосьем василёк.

По скатам и холмам
 горбатые деревни.
 Впивая тишину,
 уходят в глубь веков.
 Разросся тёмный лес, стоит,
 как витязь древний.
 В бровях седые мхи
 и клочья облаков.
 Раскрылись под землёй
 залятые ворота.
 Пропел из глубины
 предсолнечный петух.
 И лебедем туман поднялся
 из болота.
 Чтоб в красное гнездо снести
 свой белый пух.
 Земля, как синий дым,
 в зарю склонилась кротко.
 Взмахнула где-то ночь
 невидимым крылом.
 И ласковый ручей, перебирая чётки.
 Поёт, молясь судьбе,
 серебряный псалом.
 И будто жизни нет,
 но трепет жизни всюду.
 Распался круг времён,
 и сны времён сбылись.
 Рождается рассвет,
 и близко-близко чудо.
 Как лист падёт звезда,
 и солнцем станет лист.

И вот вопрос, который беспокоит, я думаю, не только меня, но очень многих - а кому, собственно, передаст эстафету русской культуры «деревенская проза», «тихая лирика», всё то, чем блистательно закончился двадцатый век русской культуры? Кому?

Нам!

И как бы ни страшна была нынешняя русская жизнь, мы, русские, должны помнить, что весь мир по-прежнему с надеждой смотрит на нас. И чтобы оправдать эту мировую надежду, мы, нынешние русские, должны смело всматриваться и вмешиваться в самые страшные проблемы нашей жизни. Я не знаток творчества Сергея Чухина, но как-то читал его, и мне запомнились вот эти строки: «...но в эту жизнь взглянуть надо, и это высшая награда - глядеть открыто ей в лицо!» Это как завет для нас ещё из той, ганинской, России...

Ему даже похлопали - не особо, правда, энергично и дружно.

7

- Ну что ж, выступавший передо мной Олег Лосев закончил своё выступление именем и стихами Сергея Чухина, а я как раз и постараюсь познакомить вас с творчеством и жизнью поэта-вологжанина Сергея Валентиновича Чухина...

Есть поэты, громко знаменитые, зачастую скандально. И случается, что поэзия их остаётся известной лишь узкому кругу специалистов, иногда ещё при жизни этих поэтов.

С Сергеем Чухиным всё иначе. Громкой поэтической славой при жизни он не имел, хотя люди, понимающие поэзию, его ценили. Да и сам себе, как поэту, цену знал. Не кричал только об этой цене, потому что, видимо, и вообще-то человеком был не крикливым, скромным. (Но написал же: «Чтоб целый мир обнять, души не хватит. А между тем её должно хватить», - вот какой масштаб сам для себя определил поэт - и это масштаб всей Русской Литературы, со всем из этого вытекающим).

Прошло почти двадцать лет со дня его трагической гибели, и «негромкая», «тихая» поэзия Сергея Чухина (а из всех «тихих лириков», он, пожалуй, наиболее соответствует этому определению) выдвинулась в первый ряд русской поэзии. Его стихи включаются во все антологии русской поэзии, публикуются в сборниках и, главное, приобретают всё большее число почитателей. На самом деле - только и нужно-то дать прочитать Чухина. И, если только этот читатель обладает чутьём к поэтическому слову, чувствует поэзию - он не сможет не полюбить Чухина...

Часто говорят о большом влиянии на творчество Сергея Чухина поэзии Николая Рубцова. Мне ближе в этом случае позиция Ольги Фокиной. Она сказала:

- Мне кажется, что Чухин совершенно самостоятельный поэт. Просто они с Рубцовым очень рядом, очень

близки во времени, очень близки по мироощущению. Но ведь Чухин начал писать гораздо раньше, чем он узнал Рубцова, как поэт он сложился независимо от Рубцова. Я считаю творчество Чухина не менее значимым, чем творчество Рубцова...

И мне кажется, что надо говорить не о влиянии Рубцова, а о взаимовлиянии этих поэтов. Но это уже тема отдельного большого исследования...

...Потом выступал какой-то эмигрант - о влиянии русского языка на финский. Закрутку говорил о «молодой русской прозе», сделав упор на «финно-угорских» авторов...

Всё было очень чинно, спокойно и в то же время сумбурно, каждый говорил о своём. И Егоров уже не понимал, зачем он здесь и что вообще происходит. Был небольшой перерыв, во время которого курящие собрались в специальном помещении со стеклянными стенами, напоминавшем аквариум, и там, за закрытой, стеклянной же дверью, курили. Егоров прикончил две сигареты, сидя за пластиковым столом на пластиковом стуле, ни с кем не разговаривая...

После всех выступлений пошли на обед в какой-то ресторанчик, а вернее, конечно, кафешку или даже столовую, где сами набирали всё на подносы и становились в очередь в кассу. Расплачивалась за всех «финская сторона» - Аннели Малинен.

Егорову хотелось познакомиться и поговорить с Лосевым, и тот вроде бы тоже на него заинтересованно взглядывал. Но пока в общей говорящей, шумящей, делящейся впечатлениями массе это не получалось.

После столовки, опять всей толпой, пошли гулять. Аннели повела их на Сенатскую площадь.

- Будьте внимательны, - предупредила она, - здесь работают карманники из Румынии.

- Из Румынии? - переспросил кто-то.

- Да, - был исчерпывающий ответ.

Площадь красивая: большой собор, похожий на Казанский в Питере, памятник Александру Второму...

Мальчишки гоняли на своих колёс-

ных досках - скейтах. Один с разгона упал на бок. В джинсах, футболке, волосёнки белые, и видна розовая кожа под ними... Доска откатилась в сторону, а мальчишка сел и заплакал беззвучно, только слёзы по щекам бежали. Поэтесса Сидорова заохала, подскочила к мальчишке. А он глянул на неё испуганно, вскочил, подхватил доску и рванул к приятелям, стоявшим неподалёку...

Они ушли с площади и шли по какой-то пешеходной, без транспорта, улице.

Аннели Малинен спросила вдруг у Егорова:

- Как ваши университетские дела, Алексей?

- Ушёл я из университета.

- Да?.. Да, я понимаю, маленькая зарплата...

- Да, ушёл, работаю на мясокомбинате, - раздражённо ответил Егоров, надеясь, что больше вопросов не будет.

Аннели сказала:

- Мне понравилось ваше выступление.

- Спасибо.

...И Алексей вдруг понял, что совсем рядом море. По ветру, по запаху... И не ошибся - вышли на набережную.

- А у вас был вчера ураган?

- Был сильный ветер, - ответила финка. - А на море был, говорят, шторм. Даже не было паромного сообщения...

Подтянулась вся группа. Скупились, заговорили оживлённо и, кажется, все сразу, глядя на причал, на торговые ряды, на видневшийся недалеко большой златокупольный православный храм... Опять шли куда-то...

Аннели рассказывала:

- Я училась в Советском Союзе. В Ленинграде. Диплом писала по Шукшину. Работала потом экскурсоводом с советскими туристами. Однажды была группа работников мясной промышленности. Водила их на мясоперерабатывающий комбинат. Я сама там впервые была. Весь путь - от поросёночка до... до того, что из него сделали, прошли. И вот вышли во

двор комбината, а троих нет. У меня сердце в пятки ушло. - Она говорила так, будто вот прямо сейчас переживает те самые события, даже появилась заметный акцент. - Чего только не представила. Там же такие машины с ножами, крючья... Пошли искать... А они у одной такой машины стоят, рты разинув... Да, напугалась тогда...

«Для меня, что ли, рассказывает?» - подумал Егоров. - Вообще, конечно, страшно, что я там, в мясном цехе, оказался, никогда не думал... Впрочем, не страннее, пожалуй, чем финка, пишущая диплом по Шукшину...»

Егоров только сейчас заметил, что Лосева нет. Спросил у Закрутки:

- А где Лосев-то?

- Да он сразу в гостиницу смотался. Медведь-одиночка! - поправился: - Лось-одиночка! - и хихикнул своей шутке, отвлекшись от оживлённой беседы с симпатичной светловолосой женщиной, которая не выступала, но присутствовала на конференции. В руке у Закрутки была банка пива. А одет он был в строгий чёрный костюм с галстуком. И белые с красными полосками кроссовки...

Арви - «карельский финн», с лицом интеллигентного алкоголика, подвижный и разговорчивый, успевший уже, видимо, выпить, взял на себя роль гида, и все кучковались вокруг него:

- В этом кафе часто бывает президент Финляндии, просто заходит выпить чашку кофе, без охраны...

Аннели Малинен всё время шла почему-то рядом с Егоровым.

Алексей закурил и сразу вспомнил здание строгости. Спросил у Аннели:

- Можно?

Она улыбнулась и даже озорно махнула рукой:

- Курите. Всё равно поймают, что русский. У нас, кроме русских, никто на ходу не курит. - И, опять усмехнувшись, продолжила: - В прошлом году мы с мужем ездили в Россию. На автобусе. На границе, во время таможенной проверки, муж вышел покурить и не нашёл урну, бросил окурочку куда-то. Русский пограничник заставил его подобрать...

Егоров болезненно поморщился.

- Муж не хотел подбирать. Но я сказала: подбери, это правильно...

- Нет, нет... - замотал головой Егоров и сразу выбросил недокурочку в урну.

- Я люблю Рубцова, но совсем не знаю поэта Чухина, - сказала Аннели.

- Ну, это не удивительно, - ответил Егоров.

...Наконец все снова оказались у здания Центра русской культуры. Стали прощаться до следующего дня.

- Пошли с нами, Алексей, - позвал вдруг Егорова светловолосый Арви. Рядом с ним стояла та светловолосая женщина и поэтесса Элла Сидорова.

- А куда?

- Да есть тут поблизости симпатичная забегаловка. Поговорим. Вот и дамы хотят с тобой поближе познакомиться.

- Пошли.

Симпатичная забегаловка была на той же улице, что и «русский центр»: посреди большого зала стоял трактор, наверное, из тридцатых годов, тут же и чёрно-белая корова в натуральную величину, деревянные некрашенные столы, грубые табуреты. Арви сразу подошёл к стойке. Егоров услышал слово «шнапс». Сели за один из тех столов. Светловолосая финка, Мария, села рядом с Алексеем. Весь день он как-то и не обращал на неё особого внимания, а сейчас сразу почувствовал, что не просто так она рядом села. И смотрела на него... Однозначно смотрела.

Выпили, закусили какими-то пирожками, закурили.

Арви рассказывал, как жил когда-то в Петрозаводске. «Там дерьмово было, а и здесь, слушай, не лучше. Скучно живут белофинны...»

- Ты настоящий, - сказала Мария Егорову. - Несмотря на очки и безнадёжную интеллигентность, в тебе чувствуется настоящий русский мужик.

- Да какой я интеллигент-то... Дед и сейчас в деревне живёт, отец простой работяга был. Да и я в работяги ушёл...

- Из университета ушёл?

- Да, на мясокомбинате работаю...
- Все трое смотрели на Егорова, и он продолжил: - Никогда не думал, что буду мясником. А вот же - мясник. Увидел небо в колбасах! В детстве у нас рассказывали страшилку: один человек пошёл работать на мясокомбинат и не вернулся, а через несколько дней его жена нашла в палке колбасы знакомую пуговицу...

Все смеялись. И Мария уже сидела вплотную к нему, и Егоров левой рукой обнимал её. Он снял очки и спрятал в карман, чтобы не потерять, и от этого будто ещё больше опьянел - плохо видел-то без очков. И настроение у него было самое бесшабашное.

- Слушай, я знаю Рубцова, но не знаю Чухина, - сказала Мария.

- Он прекрасный поэт.

- Я не смогу перевести стихи, но если ты дашь статью о Чухине - переведу и опубликую здесь. Я же переводчик.

- Ты мне адрес свой дай, я пришлю что-нибудь.

- Да-да, - ответила Мария и ещё плотнее прижалась к нему.

- Я роман написал о коллективизации в Карелии, - сказал Арви. - Я ещё и вашего Белова перепишу.

- От руки, что ли? - парировал Егоров. Он попал в то лёгкое настроение, когда нужные слова находятся вовремя и к месту, или это ему так казалось.

И все опять смеялись. И Арви смеялся. «От руки... Нет... Перепишу!.. Я ещё роман написал о советско-финской войне...»

- А я знаю одну деревенскую старуху, её жених погиб на финской, и она так и не вышла потом замуж, - сказал Егоров.

- А я знаю финскую бабушку - её муж погиб в тридцать девятом. Но у неё уже была маленькая дочка - моя мама, - сказала Мария.

- Да знаю я! - вырвалось у Егорова даже со злостью. - Политкорректность. Не принято у вас о той войне говорить с русскими.

- Нет-нет, Алексей. Всё можно, да-да, всё можно...

- Ах, эта жизнь! Гори она огнём!

Возьми, Арви, ещё. На, у меня есть эти ваши... еврики... Мария, ты замужем?

- Да, да... Двое детей...

- Пойдёшь ко мне?

- Я не могу. Мне уже надо скоро домой. Ты ведь понимаешь. Ты очень умный.

- Я дурак!

- Да-да...

- Алексей! - Сидорова смеялась и грозила ему пальцем, и длинный квадратный ноготь перламутрово посверкивал.

Они расстались у ворот «русского центра». Арви вызвал по телефону такси и уехал с Марией. Сидорова и Егоров пошли в здание, и были они абсолютно чужие друг другу, будто и не сидели совсем недавно за одним столом. И, наверное, думалось Алексею, такие же чужие друг другу Арви и Мария, сидящие сейчас в такси рядом, близко...

Сидорова всё же обратилась к нему, уже открывая дверь своего номера:

- Простите, у вас не будет сигареты?

- Извините, нет, - ответил Егоров, проходя к своей двери, понимая, что Элла Сидорова, конечно же, знает, что он сейчас нагло соврал.

8

Лосев после всех выступлений сразу поехал «домой», в «русский центр». Экскурсии толпой никогда его не привлекали. Конечно, гуляя один, тем более сидя в номере, не увидит толком Хельсинки, не узнает чего-то. А нужно ему это? А что они-то узнают? Ну, покажут обычные достопримечательности - какую-нибудь центральную площадь с каким-нибудь памятником, ну, на рынок, рассчитанный на туристов, сводят...

Лосев сел в трамвай на противоположной от института стороне улицы, проехал три остановки.

Он не сразу пошёл к себе в номер. Прикинул, что здание «центра» и несколько прилегающих к нему, находятся в середине квадрата, очерченного четырьмя улицами, решил по

этому квадрату прогуляться. Здание «центра» всё время было видно, и он не боялся заплутать.

Дома вокруг были обычные городские, скучные. В первых этажах магазины, которые не интересовали его. И люди вокруг были самые обыкновенные, похожие, например, на нынешних петербуржцев.

Был по пути небольшой парк с детской площадкой: яркие пластиковые домики, горки, мамы с детьми.

Лосев зашёл в пивной бар. Молодой улыбчивой продавщице показал на кружку и поднял указательный палец. Она, приоткрыв улыбкой белую полоску зубов, показала два пальца. Лосев нашёл монету в два евро. Взял кружку и сел за стол.

Помещение небольшое, уютное, посетителей немного: шумная группа молодых парней, среди которых выделялся бородатый здоровяк в чёрной майке и с татуировками на руках; и сидели ещё за соседним столом двое мужчин средних лет интеллигентного вида, негромко и неспешно говорили.

Парни громко смеялись, мужчины разговаривали, продавщица улыбалась... Олег Лосев потягивал пиво, смотрел на людей, поглядывал в окно и знал, что никто не подойдёт к нему, не распахнёт душу, и не полезет в его, Лосева, душу, как это почти непременно было бы в любой пивнухе России. И сейчас это ему нравилось.

Он вспомнил Егорова, Чухина. Вспомнил, как нашёл тот невзрачный сборничек среди подготовленных к сдаче в макулатуру книг - расформировывали какую-то ведомственную библиотеку неподалёку от его дома (там он много ещё хороших книг взял, и сам посмеивался: «Великая русская макулатура!»). Раскрыл и сразу попал вот на то стихотворение: «Друзей потянет кочевать, а ты у осени попросишь бумаги лист, оконца просишь да деревянную кровать. Листва засыплет водоём, пройдёт хорошая погода, уйдёт последняя подвода, и день потянется за днём. Настроив душу на добро, на чистоту лесной берёсты, понять природу так же просто, как

птице обронить перо...» И сейчас, сидя в хельсинкской пивной, вспомнил это стихотворение (а он никогда не заучивал стихи специально, они или ложились сразу на душу и тогда уж запоминались сами собой, или проскальзывали мимо него), и покой объял душу. А, действительно, что, кто может побеспокоить его здесь... Все заботы и беспокойства там, дома...

«Что ж, Чухин, конечно, хороший поэт. Но сколько их, вот таких Чухиных, в России - хороших, но неизвестных. Кто бы вспомнил Чухина, не будь он другом Рубцова? Кто бы вспомнил Ганина, не будь он другом Есенина?...» И сам себе отрицательно покачал головой. «Нет. Ошибаешься. Вспомнили бы. И помнят...»

Рядом стоял тот татуированный здоровяк. Он что-то спрашивал и уже, видимо, повторял вопрос.

- Что? - Лосев, очнувшись, вскинулся на него. Финн показал жестом, что просит зажигалку. - Нет. Не курю. - И увидев, что здоровяк не понимает, добавил: - Я русский.

- О! - парень кивнул и пошёл к продавщице.

Лосев поднялся из-за стола, и оказалось, что он даже немного выше богатырского финна. Вышел на улицу. У входа была опрокинута урна, мусор рассыпался по асфальту. Из пивной вышел мужчина в белой футболке с какой-то надписью на груди, в джинсах, в белоснежных кроссовках и пластиковой метёлочкой стал замечать мусор на пластиковый же совок. И мусор тоже казался ненастоящим...

9

Красная машина иностранного производства неслась по трассе со скоростью более ста километров в час. Сидели в ней двое. За рулём - крутоплечий, чернявый, широкоскулый, с явной примесью восточной крови. Второй - тоже крепкий мужик, но лицом мягче, голубоглазый.

Оба в кожаных куртках.

Они, видимо, давно знакомы - привычно молчат.

Виднеются впереди домишки деревни, и водитель сбрасывает скорость.

Голубой щит с белыми буквами.

- Не фигу себе название, Серый! Деревня Старые Лохи, - усмехается чернявый.

- Да уж...

- Давай тормознём. Жрать хочу.

- Давай.

Домишки жмутся к шоссе. На крыльце сидит бабушка - шерстяной платок шалашиком. Она давно привыкла к бесконечно мелькающим машинам. Машины эти из какой-то другой, не её жизни. Есть они, нет - для неё ничего не изменится. Просто так уж вышло, что эта широкая гладкая дорога легла через её деревню, когда-то большую и шумную, а теперь едва дышащую.

Машина тормознула у крыльца, и весёлый чернявый парень крикнул:

- Бабка! Млеко, яйки! Бистро, бистро! Шнеля!

Старушка мешкает в нерешительности. Потом уходит в дом и вскоре появляется с литровой банкой молока. В другой руке решето с пятком белоснежных яиц и краюхой хлеба.

Она идёт к машине. Парни ждут её на кромке дороги, сосут сигаретки.

- Кушайте, сынки.

Они выложили яйца на заднее сиденье машины, выпили молоко...

Чернявый сел в машину, завёл двигатель.

А голубоглазый выдохнул вдруг:

- Прости, мать, - и сунул в её руку бумажку.

Когда тронулись, водитель сказал:

- Ты зачем бабке баксы дал? Она ж их не знает, печку ими растопит.

- Да помолчи ты, - огрызнулся голубоглазый и включил магнитулу...

Старуха сунула бумажку в карман передника и засеменила к дому. А к ней уже спешит сосед - высокий худой старик в заношенной фуражке:

- Что за гости, Власьевна?

- А внук из города с другом. Обратно поедут, так погостят. Пока вот денежку подарил, - она показала старику Егорову купюру. Тот покачал головой, но промолчал... Взял

бумажку, посмотрел на свет, помял уголок:

- А ведь это доллары, Власьевна. Мой Мишка такие из загранки привозил... (Мишка - старший внук, действительно, когда-то частенько ездил «в загранку». Мотался «челноком» в Польшу...)

А у старухи никакого внука нет... В избе она прячет денежку в ящик комода, что-то шепчет, глядя на фотографии племянников...

10

Марина позвонила на мобильный:

- Ну, ты идёшь?

- Да, уже выхожу, - ответила Галина, хотя ещё минуту назад сомневалась и даже склонялась к тому, чтобы не ходить в ресторан.

Теперь она, уже не раздумывая, надела серое, чуть закрывающее колени платье, поправила перед зеркалом волосы, скользнула помадой по губам, вставила ноги в туфли, прихватила сумочку, ещё раз глянулась в зеркало, подмигнула себе - «падшая женщина».

Не поехала в автобусе, не взяла такси. Шла не думая - и правда, ветерок в голове гулял. Поймала взгляд мужчины, какого-то хлыща в костюме, в сияющих ботинках, - не оценивающий, а уже оценивший, высоко оценивший. Усмехнулась, прошла, каблучками цокая.

Марина ждала её у входа в ресторан «Меркурий».

Галина давно не бывала в ресторанах, а в этом «Меркурии» - так ни разу. И сейчас, подходя к нему, подумала, что не лучшее место выбрала Марина. На первом этаже, под рестораном, была простоя забегаловка, где давали в разлив водку и пиво, и там всегда толклись «опойки». И рядом с Мариной кучковалась пьяная мятая компания - скидывались.

Но Маринка на тех алкашей внимания не обращала, стояла, вызывающе красивая.

- Привет.

- Привет, подруга.

А наверху, в ресторанном зале, спокойно, чинно, красиво...

Ещё не поздний вечер, и посетителей мало. К ним подошёл услужливый молодой официант:

- Что дамы желают?

- Дамы желают бутылку красного полусладкого, два салата и шоколадку, - ответила Марина. И вдогонку уже: - Минералку и сигареты ещё!

- Ты тут как дома...

- Не часто, но бываю, надо иногда расслабляться.

Звучала негромкая музыка, ресторан заполнялся посетителями, снова ли официанты...

К ним за стол подсел какой-то Маринин знакомый с другом. Оба крепкие сорокалетние мужики, очень уверенные в себе. Появился на столе коньяк, фрукты...

Марина уже всю танцевала, смеялась, болтала с этим своим приятелем. Второй, друг его, пригласил Галину. Танцевали, и он сразу прижал её к себе...

«Ну, этого ты хотела?..»

Галина вышла из зала, поглядела на себя в зеркало. За ней и Марина.

- Ну, ты чего, Галка?

- Пойду я домой.

И Марина не стала её удерживать.

Галина подала ей пятьсот рублей.

- Да ну, брось ты...

- Возьми-возьми.

- Сдачу завтра отдам, - сказала Марина. И добавила: - Ну, беги тогда, а то Эдик увяжется, запал на тебя...

Галина вышла на улицу и только сейчас поняла, что отдала все деньги. не было не то что на такси, но даже и на автобус. Впрочем, автобусы в первом часу ночи уже и не ходят.

- Такси, пожалуйста, - окликнули из ближайшей машины.

Уже когда отошла от ресторана, сообразила, что можно было взять такси, дома-то деньги есть. Но решила - пошла пешком.

В центре было светло от фонарей, огней рекламы, машинных фар. На площади грудилась, шумела молодёжь - сидели на спинках скамеек с неизменными банками пива в руках... Она давно не бывала в городе ночью, и её удивляло это многолюдие.

Снова шла через мост, и здесь уже

только фонари, да фары, да отблески в чёрной воде.

Рядом приостановилась какая-то машина, дверь приоткрылась:

- Подвезти?

- Нет, спасибо, - как можно твёрже, не оборачиваясь, ответила Галина.

- И не боисься одна-то ночью, такая красивая?

Она не отвечала, шла, машина катилась рядом.

- Да завязывай ты, Колян, некогда, - раздался другой голос. Дверь хлопнулась, и машина умчалась, обдав бензиновой гарью.

«Ну, вот этого, этого ты хотела?»

И от моста до дома она уже почти бежала. В подъезде сняла туфли - ступни горели.

А в квартире, не раздеваясь, легла на диван...

...Видела отца, маму, себя, девочку, родной городок, из которого с такой радостью и надеждой уезжала двенадцать лет назад и который ныне недостижим, нереален, невозвратим, как детство...

11

Егоров не успел войти в свой номер, Закрутко перехватил, шёл как раз по коридору.

- Лёха, пива хочу! - был он уже изрядно навеселе. - Пошли, прогуляемся до магазина.

Егоров взглянул на часы:

- Так одиннадцать уже, а у них ведь спиртное только до девяти вечера продают.

- Ну, русским-то должны!

- Ну, пошли.

Егоров знал, что легче согласиться с Закрутко, посвятить ему полчаса (и не больше), чем отвязаться.

Снова, ночная уже, освещённая фонарями и светом из окон, малолюдная улица. Магазин нашли быстро. Закрутко уверенно подошёл к продавцу:

- Ай эм рашен! Ту пиво, ту орешки! - показал два растопыренных пальца.

На вопросительную фразу финна, Закрутко ещё раз энергично произнёс:

- Ту пиво! - ткнул пальцем на полку, где стояли банки и бутылки с пивом. - Ту орешки! - показал, как кидает в рот и щёлкает орехи.

- Ноу алкоголь! - замотал головой продавец - молодой мужчина с длинными, почти до плеч, вьющимися волосами.

- Ай эм рашен! - Закрутко стукнул себя кулаком в грудь. - Он, - ткнул пальцем в Егорова, - тоже рашен! Ты пиво!

- Ноу, ноу...

- Тупые! Чухня нерусская! - грустно рутался Закрутко на улице, когда история повторилась и во втором магазине...

- Я домой, - твёрдо сказал Егоров.

- Ну, а я своего всё же добьюсь!

- Удачи.

- Кстати, - Закрутко поднял указательный палец, - «Чухин» - «чухонь» - «чухонцы»...

- Возможно, - понял ход его мысли Алексей. - Финно-угорские племена издревле в наших местах жили.

И они разошлись, каждый в свою сторону.

...Наконец-то Алексей оказался в своём номере, ополоснулся под душем, покурив сидя в кресле перед телевизором... Думал, что сразу уснёт, а не спалось... Случилось ведь что-то... Что-то покоя не даёт... Да - Мария... Обожгла ведь, обожгла... С женой так не было. С Галиной всё просто, обыденно даже получилось... Знал он её ещё студенткой, его ученицей и была. И тогда, на студентку, не обращал внимания, как и на всех остальных студенток. Не позволял себе. А было - приходили на экзамены, на зачёты в коротких юбчонках, глазками стреляли. А это только сердило его. К таким больше и придирился... Были у него когда-то, конечно, юношеские влюблённости, был вялотекущий длительный роман с замужней дамой с истфака, сам собой на нет сошедший... А потом уж, когда Галина аспиранткой стала, когда работать стали вместе и разглядел её. Без особых ухаживаний позвал замуж - и всё, и поженились, и живут... А Мария... Ведь он ни разу жене не изменил, а

сегодня готов был, даже и не вспомнил о Галине-то, когда Марию звал сюда... А не пошла... И ведь точно - не пошла только потому, что действительно не могла. Наверное, не было бы этого Арви - пошла бы, побежала бы за ним, вот сюда, вот на эту постель...

А потом-то - что бы? А неважно. Потом - было бы потом. Перемучились бы... А и хорошо, что не пошла - проблем меньше. Но ведь будь у него возможность вот сейчас, в это мгновение привести её сюда - и не думал бы ни о каких проблемах... Но ведь если только постель, то, наверное бы, и Сидорова не отказалась. Но не надо ему Сидорову-то, а Марию надо...

Так и промаялся почти до утра, пока, наконец, не задремал - полураздетый (в брюках и носках), поверх оделя...

12

Не спалось в эту ночь и Аннели Малинен... Дети спали, муж спал, а она засиделась в кабинетике, будто бы за работой.

Выговор от директора института уже получила.

- Зачем здесь какой-то Чухин, какой-то Ганин, Егоров, Лосев - они что, выдающиеся литературоведы? Почему так мало представлены финно-угорские литераторы? Нас не поймут, нас просто не поймут... - говорил директор и был безусловно прав. Тем более, что над институтом и так нависла угроза закрытия.

А она была рада, что ей удалось вытащить сюда, дать возможность выступить вот как раз этим Егорову и Лосеву... (Лосев, кстати, напомнил ей Сергея Довлатова, которого однажды показали ей на Невском. Напомнил, конечно, и фактурой - этакий боксёр-тяжеловес не в лучшей спортивной форме, и каким-то, на расстоянии чувствуемым, внутренним одиночеством).

А как трогательно растерян Алёша Егоров. И всё же - сколько достоинства даже в этой провинциальной русской растерянности. Как он любит

поэзию и этого мало известного поэта Чухина. Она, например, впервые услышала о таком, а ведь должна бы знать, Рубцовым ведь тоже серьёзно занималась, даже пыталась перевести... И в обоих - и в Егорове, и в Лосеве - есть то, что по-русски называют «не от мира сего». Да ведь и все они, русские - не от сего мира...

Отец её был в русском плену. Рассказывал ей, девочке, как однажды зашёл он в дом (куда-то отправили его с места работы их бригады, одного), зима была, холод страшный, а там одна девочка, и он присел у входной двери и попросил кипятку. Девочка налила кипятка в стакан из самовара, подала ему, а сама стала выкладывать из портфеля учебники на стол, специально так, чтобы он видел - учебник немецкого языка. И он не сказал ей, что он не немец... Навсегда запомнил ту девочку и дочке рассказал о ней. А больше никогда ничего ни о войне, ни о плене не рассказывал.

А потом она прочитала Толстого, Чехова, Шолохова. И она полюбила Россию и русских, ещё не увидев их...

Она раскрыла книжку Чухина, которую передал сегодня Алексей Егоров для институтской библиотеки: молодое, мальчишеское даже, лицо, спадающая на лоб чёлка, большие очки - это и есть Сергей Чухин. И дальше раскрыла сборничек. Наугад прочла:

*О милая! Наш миг неповторим.
Вся наша ночь*

*с её рассветной мукой
Она пройдёт, растает, словно дым, -
Живи разлукой.*

*И над рекой два робких огонька,
И матовые ивы над излукой,
Неповторимо всё, как облака, -
Живи разлукой.*

*Не жди прихода нового зари,
Что было нашей юности наукой.
Поговори со мной, поговори -
Живи разлукой.*

*Смотри, как небо рассекла звезда
Над всем земным покоем*

и разлукой.

*И ночь любви дорожке нам, когда
Живёшь разлукой.*

И у женщины сдавило сердце...

Где-то она читала: «Если Россия когда-нибудь прекратит своё существование, она всё равно будет жить в сердцах любящих её иностранцев».

Но утром нужно быть в форме, нужно улыбаться... Она выпила снотворное и пошла в спальню.

13

Егоров встал позже, чем обычно, - в седьмом часу. Он оделся и спустился на первый этаж. Откуда-то из бокового помещения выглянул сонный, с брюшком и лысиной, охранник.

- Прогуляться хочу, - сказал Алексей.

Охранник нажал кнопку электронного замка, открыл дверь:

- Обратно пойдёте, так там на входе звонок есть...

- Хорошо.

Утро было серое, сырое, с ощущением недавно развеявшегося тумана...

Алексей шёл прямо по улице, не сворачивая, боясь заблудиться... И опять маленькое чудо случилось - увидел, как в скверике из-под куста вылез ёжик и, перебежав дорожку, скрылся в траве. Вчера белка, сегодня ёж... А вот ни собак, ни кошек на улице нет. Точно! Ни одной не видел. И совсем нет пыли. Можно сесть прямо на асфальт и не запачкать брюки... Впрочем, сел он, конечно, не на асфальт, а на скамейку внутри пластиковой, с прозрачными стенами будки автобусной остановки...

И вот - чувство одновременно нереальности и обычности происходящего: Алексей Анатольевич Егоров, в недалёком прошлом преподаватель университета, «молодой учёный», а ныне аппаратчик термической обработки колбасных изделий, русский, женатый и т.д., сидит на скамейке автобусной остановки в одном из районов столицы Финляндии Хельсинки, никуда не торопится, никого не ждёт, курит, смотрит перед собой без желания даже особого что-то запомнить, что-то понять... Просто сидит и курит...

Егоров так и не понял - парень это или девушка. Длинноволосое существо с чертами лица, смазанными узкими и плотно прилегающими к черепу очками с жёлтыми непрозрачными стёклами, в светлом плаще, скрывающем фигуру, в непонятного фасона обуви... Непонятный этот человек смотрел на табличку (по написанным в ней цифрам Егоров понял, что это расписание движения автобусов), жеманно сдвинул обшлаг плаща, посмотрел на часы и, обернувшись к Егорову, что-то спросил.

Егоров пожал плечами. «Ноу, ноу...» - сказал неуверенно. И человек недоуменно приподнял брови над непрозрачными стёклами. «Рашен», - уже твёрдо сказал Алексей. «Русский я!» - повторил. «О!» - был ответ. И непонятный человек сразу отвернулся и пошёл какой-то тоже средней, - не мужской, не женской, - походкой. И Егоров встал, окурок, предварительно плюнув на него, отправил в урну и пошагал к «русскому центру». Там, в баре, уже пахло кофе и сигаретным дымом...

...Сегодня первым выступал поэт Савёлов - о «карельской поэзии» что-то говорил... Потом кто-то из местных (бывший советский человек) критиковал эмигрантский, выходящий в Финляндии журнал.

- Смотрите, какие перлы публикуются в нашем журнале: «Мы в Финляндии встречаем новый год и новый век. И судьбу благословляет ингерманландский человек!»

Все посмеялись невесело. Даже, наверное, и автор процитированных строк, скорее всего, находившийся в этом же зале.

А потом поднялся со своего места большой Олег Лосев, подошёл к Егорову и сказал довольно громко, но всё же давая возможность всем желающим сделать вид, что ничего не слышали:

- Пошли, Алексей, погуляем. Ну их... - и добавил совсем уж невежливое, не вязавшееся с его вчерашним вполне академическим выступлением.

По знакомому Алексею пути выш-

ли на Сенатскую площадь, оттуда двинули к набережной. Молчали. Лосев только сказал:

- Гляжу - куришь много.
- Да, не могу без курева.
- А я бросил.

Постояли, посмотрели на пару белых лебедей, плавающих неподалёку от причального бортика, на пассажирский паромчик, заполнявшийся весёлой публикой.

Мандариновая корка в воде, рядом с лебедем, нарушала идиллию...

Присели на скамейку.

Лосев сказал:

- Так бы и не поговорили.
- Запросто, - откликнулся Егоров.
- Я о Чухине думал, после твоего доклада. Вот вспоминаю, читал я его стихи и часто всё же видел в них огромное влияние Рубцова, интонации рубцовские, скрытые цитаты...

- Да, они очень близки, конечно. Но, как написал поэт Александр Романов: Рубцов - тайна русской души, а Чухин - открытая русская душа... Близки они, конечно... И в жизни были близки - дружили, и в смерти близки - лежат-то в метре друг от друга. И даже там, если есть оно, это там, рядом они. - Егоров снова стал прикуривать, пряча огонёк зажигалки в ладонях, а Лосев сидел, склонившись вперёд глыбистым телом, уперев локти в колени, будто вглядываясь сквозь чистый финский асфальт в землю, будто силясь постигнуть через разговор о поэтах нечто большее.

- Мне один наш писатель, склонный, впрочем, ко всякой мистике, рассказал как-то свой сон, - продолжил, сильно затянувшись сигаретным дымом Егоров. - На небе, на золотой скамеечке сидят: Рубцов и держит в руках золотую книгу; Чухин - серебряную книгу; Николай Дружининский - белую книгу...

- Дружининский?

- Да, был такой поэт. Помнишь популярную песенку: «Слушай, теща, друг родной...»?

- Ну-ну, помню, - кивнул Лосев.
- У него и посильнее стихи есть...
- Помнишь что-нибудь?
- Нет, так навскидку, не вспомню...

Хотя, вот эпитафия его шуточная: «Вот здесь покоится Дружининский, характер он имел пружинистый, любил он жизнь неумоимо, гуляла кровь по крепким жилам, любил добро, хоть трудно жил он». Так, кажется.

- Соответствует?

- Эпитафия-то? Говорят, что да... Так вот, вместе они там, хотя бы и во сне...

- Но по ранжиру-то он их расставил: золотая книга, серебряная...

- Сон. Хотя, видимо, отражает внутреннее к ним отношение... Чухин ведь и сам признавал влияние Рубцова. Ну и что? Вот стоят у меня на книжной полке дома, и тоже рядом - и, знаешь, хотя Рубцова очень люблю, а для души чаще всё же Чухина читаю...

- Ну, кто-то кого-то другого для души читает чаще, чем Рубцова, наверное, и уж точно чаще, чем Пушкина. Тут вот что, лично для меня: Чухин - символ всей провинциальной, не сумевшей, как говорят, пробиться, зачуханной русской поэзии...

Алексей перебил его:

- Такой случай рассказывают: Чухин, когда в Москве в литинституте учился, пришёл как-то к Яшину, а тот со смехом сказал: «Чухин! Да ещё и из Грязовца!..» Он тогда в Грязовце в газете работал... Да, пожалуй, есть что-то символическое... Помнишь знаменитое рубцовское: «Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда иду я многоцветным лугом, один или с хорошим верным другом, который сам не терпит суеты...» Это ведь, мне кажется, о Чухине. У Чухина есть стихотворение, Рубцову посвящённое, и будто о том же, но проще и при этом не менее пронзительно, чем у Рубцова:

*Уходим за последними грибами
Под крапающим изредка дождём.
Хотя отлично понимаем сами,
Что ничего сегодня не найдём.
Уходим за последними грибами,
И для сугрева пробуем бежать,
И сигаретки тёплыми губами
Стараемся подольше поддержать.
На пустоши давно ли огребали
Просушенное сено... А сейчас*

*Уходим за последними грибами -
За первыми ходили и без нас.*

- Сильно, - кивнул Лосев. - Будто увидел их - нахохлились, как воробьи, сигаретки в кулаках от дождика прячут. А Чухин ещё, наверное, говорит, что, мол, ничего, по своим местам проведу, наберём...

- Да, грибки были заядлые оба. И за грибами, конечно, в чухинской деревне ходили, и места у него, конечно, свои были, заветные, как ведь и у каждого из нас...

- Да... - И вдруг будто бы без всякой связи с предыдущими словами: - И ведь всех убили! И Ганина; и Есенина, даже если и сам; и Рубцова... - Тут запнулся, на Егорова взглянул.

- И Чухина, - подтвердил Егоров.

...Мимо них ходили люди, разговаривали на непонятном им языке, улыбались и хмурились, жили своими заботами...

Егоров сказал:

- А ведь и здесь люди несчастны.

- Да почему бы им здесь и быть счастливыми?.. Один человек сказал мне - и это так и есть: счастье земное лишь степень приспособления к тому злу, в котором лежит этот мир. Известно же, кто князь мира сего. Откуда ж и счастьем-то быть... Но - покой и воля, покой и воля!..

И совершенно естественно, будто туда и стремились с самого начала, двинули они в сторону златокупольного храма.

14

Тот же унылый пейзаж за окном, перестук колёс... Всё - домой, домой...

...Ехали опять всей русской компанией из института в «русский центр». И Аннели Малинен с ними. Говорили что-то, прощались уже.

- Я сейчас не буду плакать. Я приду домой и заплачу, - говорила Аннели с сильным акцентом. И вышла из трамвая на остановку раньше них. И даже, кажется, не все сразу поняли, что всё - простились...

Охранник, тот же самый, что открывал утром дверь, окликнул Алексея:

- Вы Егоров?

- Да.

- Слушай! - от волнения охранник перешёл на «ты». - Слушай, тут прямо рвалась к тебе финка, требовала тебя и всё, подай вот ей Егорова - и всё тут... Слушай, они ж такие... это... сдержанные всегда...

- Телефон не оставила?

- Нет. Ушла. Чуть не ревела баба. Да ревела, ревела!

Мария. Утром её в институте не было, потом он ушёл с Лосевым. Разминулись. Не судьба. Или судьба...

Вечером была прощальная попойка. И Егоров наконец-то достал свои две бутылки... Лосев сурово молчал; Закрутко, пока ещё не опьянел, требовал от всех тексты докладов, грозясь опубликовать их в своей газете, а потом его развезло, он то задрёмывал, сидя в кресле, то, очнувшись, вскидывался и вопрошал: «О чём шумят друзья мои поэты?»; Савёлов читал свои стихи; Сидорова читала свои и рубцовские и обещала Егорову приехать осенью на «рубцовские дни»; был там и Арви и опять сулился переписать Белова...

- А ведь мы ничего Аннели-то не подарили! - сокрушённо покачал головой Егоров.

- Это почему это? - возразил, протрезвевший вдруг Закрутко. - Я подарил матрёшку. Ну, как бы ото всех нас... - И уже пьяно пропел: - А мы по Хельсинки ходили - стукали и брякали! Кому надо надавали, немного накалякали!

- А я свою книжку подарила, - скромно пискнула Сидорова.

Утром Лосев, Закрутко и Сидорова уезжали прямым поездом на Москву, а Егоров с Савёловым на Питер.

...Неожиданно запищал мобильный телефон. Егоров даже как-то забыл о нём за эти дни.

- Привет, - родной голос... родной.

- Привет, ты чего?

- Соскучилась.

- Всё, еду в Питер, утром дома буду.

- Всё хорошо у тебя?

- Да, а у тебя?

Она не сразу ответила...

- Я соскучилась. - И выключила телефон.

«А ведь случилось что-то... Соскучилась... Да ведь и со мной что-то за эти дни случилось...»

Савёлов, видно, маялся после вчерашних посиделок, молчал и всё прикладывался к пластиковой бутылке кока-колы. И хорошо, что молчал.

Расстались они сразу на перроне. Савёлов торопился в метро, ему на другой вокзал надо, а Егоров никуда не торопился.

- Номер журнала с отчётом о конференции я тебе вышлю. А ты давай присылай своё. По Чухину пришли что-нибудь, и подборку его стихов. В октябре у него дата? Вот и дадим в октябрьском номере...

- Да-да, обязательно...

Алексей вошёл в вокзал... И почувствовал капли на лице. Поднял голову. В стеклянном куполе прореха, а в ней серое небо. Дождь, скоро осень...

ЛЕСТНИЦА ИЛЛЮЗИЙ



**СЛОБОДАН
ВУКАНОВИЧ**

Слободан Вуканович (1944) - профессиональный литератор, живет в Подгорице (Черногория). Опубликовал следующие книги стихов: «Звездные перья», «Снимки кассеты корабельного журнала», «Космическое переселение Монтенегро», «Куда нам дальше», «Лодка - ложка», «Крылатые рыбы несут златоустого Иеромонаха», «Дома пахнут туманом», «Это не для нежных» (три издания), «Ты мне не поверишь, Амалия стала ветряной мельницей», прозаическую книгу «Пять либретто для балета» и роман «Ключ - Маятник».

Вуканович опубликовал и семь книг для детей. Его драмы ставили в театре и на радио. Его произведения представлены в более чем 30 антологиях, обзорах и сборниках. Его стихи и «игроказы» представлены в учебниках для восьмилетней (девятилетней) школы «Как это можно» и «Чудеса чтения».

Его произведения переведены на английский, русский, французский, белорусский, итальянский, венгерский, румынский, словенский, македонский, турецкий, болгарский и албанский языки. Слободан Вуканович участвовал в международном «круглом столе» литераторов славянских стран в Минске в сентябре 2008 года (о нём наш журнал рассказывал в № 4 за 2008 год). Подборку своих стихов черногорский поэт прислал специально для «Вологодского ЛАДА».

ПИРШЕСТВО

В обычном дворике
Он искал море на небе
Строил небо на земле
Кормил голубей в Парке Терновника
Отыскивал возможности смысла
Ложь становилась складом
Залом ожидания Надежды
и Безнадежности
Народная кухня -
Опера пустого желудка

АРЕНА

В человеке камень спит
В камне - сердце серны
Ромашка защищается крапивой
Играют мощь и немощь
Победители возвращаются
Побежденные бредут в тумане

Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ ЖАБОЙ

Чувствую себя дождливо
Чувствую себя ветрено
Чувствую себя жгуче
Когда все это проходит
Тогда я нормальный
Как жаба в мутной воде
Я побежден в овсе запахов
Их вопрос - забота
Удовольствие - моя победа
Я потерянный человек
В цветах мандарина
В красках ириса
Во вкусе женщины
Грех - искать лекарство
Если его ищешь
Ты наказываешь свое тело
Настроение - рулетка души
Я хотел бы быть жабой

ПАУК КРУТИТ КОЛЕСО

Реинкарнация жабы
Янус загорает в терниях
Паук крутит колесо
Муравьи в сетке - пророки
подсолнуха
Янус с раскрытыми крыльями
машет хвостом
Нырять в морские глубины

Вода голубая
 Волны черные
 Пловцы белые
 Плоды - псалмы ночи
 Жаба прыгнет - расцветет мак
 Страсть - это глупость
 Лестница иллюзий
 Паук крутит колесо

ИСКАТЕЛЬ

Что с совершенством?
 Что с поимкой обмана?
 Мастера прячут Иллюзию
 Потерянные создают Теорию
 Вероятности
 Иллюзия с продолжениями строит
 Надежду

Эпитафия - Точка Мудрости
 самому себе
 Изобретатель Точки становится
 Стражем
 Биография - исправный лифт
 Или неисправный
 Я на странном судне
 Шагаю Плыву Лечу...
 Великий танцор на проволоке
 зависит от мелочей
 Незначительные вещи получают
 главные роли
 Муравей перепрыгнул через кита
 Искатель нашел Точку
 И треугольник может быть Мячом

Перевела Марианна КИРШОВА



Черное озеро - одно из красивейших мест Черногории

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (ВЕЛИМИРОВИЧ)

СЕРБСКИЙ СВЯТОЙ О РОССИИ

Читателям «Вологодского ЛАДА» уже знакомо имя ученого и писателя Ивана Чароты - профессора, заведующего кафедрой славянских литератур Белорусского государственного университета: его статью о Косовском крае «Наша общая святыня» наш журнал напечатал в № 4 за 2008 год. Открывая очередной год издания журнала, знакомим читателей с новой работой нашего минского друга. Иван Алексеевич подготовил подборку произведений замечательного духовного писателя святителя Николая Сербского (Велимировича), в которых он говорит о России. Святитель много писал о русских святых, о русской культуре и литературе, особенно о Федоре Михайловиче Достоевском. Профессор Чарота собрал рассыпанные по разным книгам мысли великого сербского святого о России, и редакция «Вологодского ЛАДА» рада представить эту работу, пусть и частично, своим читателям. Размышления о России сербского святого приходят на Русский Север в переводе белорусского ученого...
Разве это не доказательство славянского единства!

МЫСЛИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ (фрагменты)

НОВОСТИ ДНЯ

Новости дня:

в России люди убили царя, чтобы им стало лучше;

в Польше люди убили президента, чтобы им стало лучше.

в Греции люди убили шестерых министров, чтобы им стало лучше.

Медицина в целом за последние века развивалась слабее, нежели конкретно хирургия. Политическая хирургия тоже ушла далеко вперед по сравнению с политической медициной в целом. Надежды возлагаются на ампутации, и ампутации безоглядно проводят, но из оперированного тела возникают кровотечения, которые невозможно остановить.

В этом случае, как и обычно, убийцы обманываются в расчете. Убитые продолжают играть в обществе роль не меньшую, чем играли до смерти. Это все видят, все понимают и все стараются остановить кровь, что течет из общественного организма; а в то же время все думают и говорят о новых ампутациях, новых усекованиях.

ИЗ ОКНА ТЕМНИЦЫ (фрагменты)

6

Сказал Господь: «Блаженны кроткие, яко тии наследят землю», то есть: те, кто не выбегает в первые ряды, становятся первыми; и те, кто не рвется к богатству, и те, кто не отнимает земли у других, получают землю. Братья мои, мы должны привести логику нашу в согласие с логикой Божьей. Иначе будем ошибаться ежедневно и на каждом шагу. Не зря говорит великий апостол Христов: «А мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). Потому апостолы могли безошибочно мыслить, безошибочно говорить, безошибочно судить и делать. Ибо они обратили ум человеческий в ум Божий, ибо умствовали не как люди, а как Бог.

Ведь кто бы из людей сказал, что кроткие унаследуют землю - кроткие, а не горделивые; мягкие, а не суровые; воздержанные, а не отнимающие; агнцы, а не волки. Так бы не сказал никто, кто мыслит по-земному, а сказал бы каждый, кто мыслит по-божески. Кроткие унаследуют землю, за которую сражаются и кровь проливают горделивые, и алчные, и яростные. Поумирали великие завоевате-

ли чужих земель, да не понесли с собой на тот свет завоеванные земли и не смогли обеспечить их своим потомкам. Земли, которые завоевали Александр Македонский, и Цезарь, и Чингис-хан, и Наполеон, унаследовали не их сыновья, а совсем иные, кого они не знали и с кем не воевали.

Как это, спрашиваете? А так. И всё потому, что логика человеческая у ненабожных людей не согласуется с логикой Божьей. Посмотрите на землю русскую. Это самая обширная из всех стран мира. И это страна кроткого народа. Самыми обширными землями в нашем веке обладает самый кроткий народ мира. Вот вам очевидное доказательство истинности слова Христа: благо кротким, ибо они унаследуют землю. Воистину, не нужны вам доказательства яснее и реальнее, чем православная Русь и православный русский народ. Бесчисленные грабители и насильники владели этими пространными землями, которые ныне унаследовали кроткие русские.

Насильники умирают без наследников, и кроткие наследуют их землю. Грабители завещают отнятую землю своим родственникам, но Бог убивает их, а земля переходит в наследие кротким и неизвестным. Поэтому именно сказано в Священном Писании: «Безбожник собирает, но не знает, для кого собирает». Да если не знает он, знает Бог. И Бог дает тому, кому Он хочет, а не кому безбожник завещал.

Что ты отнимаешь, грешный человек? Отнимаешь то, что не твое. Для кого отнимаешь? Для того, кто не твой. Если имеешь разум, образумься. «Божья небеса, и Божья земля». А ежели земля Божья, можешь ли ты отнять у Бога? Когда воюешь против людей и отнимаешь землю, ты воюешь не против людей, а против Бога, и отнимаешь землю не у людей, а у Бога. Властитель неба и земли стоит на меже твоей нивы и смотрит, когда ты ее запахиваешь. Властитель солнца, месяца и звезд смотрит на тебя, когда ты захватываешь чужую землю, разоряешь города, убиваешь людей,

сжигаешь и испепеляешь с горделивостью и самовосхвалением, о гордая глупость! Властитель солнца, месяца и звезд - властитель тобою занятой земли и разоренных городов, и убитых людей и сожженных домов. Как ты ответишь перед Ним? Кто твой защитник? Как ты Ему возместишь урон? Он ведь смеет тебя, как зерно в жерновах. Так опомнись же! Так образумься! Никогда от сотворения мира никто не воевал против праведного народа, чтобы не воевал против Бога. И Бог остался непобежденным, а завоевателям приходилось извещать то, что зерну в жерновах.

Ибо «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним наинижайшего из людей» (Дан. 4, 17). Вот свет! Вот откровение! Вот несомненная истина! Любое царство на земле - Божия собственность, и Бог ее дает тому, кому Он хочет; сегодня одному, завтра - другому. Сегодня попускает, чтобы дурак и горделивец сел на престол, а завтра его свергает и возвышает наинижайшего из людей. Или, как святая Богоматерь говорила о Боге: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Вот как, и так именно, и это всё, что нужно знать в этой жизни. Если бы крещеные европейцы знали это, не имели бы двух кровавых войн, грязных пятен истории человечества и позора христианства. Но они не знали. Когда считали, что всё знают, как раз не знали ничего. Ибо чем больше они узнавали микробов, тем менее знали о Боге. И потому получили удар тяжелой руки Господа неба и земли. А вы, братья, выбирайте, будете ли с этими крещеными варварами или со своими благородными предками. Аминь.

27

Сын наследует долги отца своего и обязан их оплачивать. Если же не оплатит он, будет платить его сын, внук или правнук. А долг всё равно нужно возвращать заимодавцу. Таково правило повсюду в мире с точки зрения общественной. Сын наследует и болезни отца своего. Если же не излечится от той болезни, перейдет

болезнь на его сына, внука или правнука, до четвертого колена.

А вот если сын оплатит все долги отца, тогда его потомки будут счастливы. И если сын излечит в себе болезнь своего отца, тогда его потомки будут здоровы.

Ах, братья мои, восемнадцатый век - отец века девятнадцатого, а девятнадцатый - отец двадцатого. Отец весьма задолжал. Сын не оплатил долгов отца своего, а еще более задолжал, и долг перешел к внуку. Отец был поражен тяжелой болезнью, а сын не излечился от той мерзкой болезни отца своего, а еще более усугубил ее, и болезнь перешла на внука с утроенной тяжестью. Внук - это двадцатый век, в котором мы живем.

Восемнадцатый век ознаменован бунтом против Церкви и священства римского понтифика. Девятнадцатый век ознаменован бунтом против Бога. Двадцатый век ознаменован союзом с дьяволом. Долги выросли, и болезнь усугубилась. А Господь сказал, что испытывает грехи отцов вплоть до третьего и четвертого колена. Не видите разве, как Господь испытывает внуков из-за грехов их дедов европейских? Не видите разве следов розог на внуках из-за непоплаченных долгов дедовских?

Царь-антихрист представляет начало девятнадцатого века. Папа-антихрист представляет середину девятнадцатого века. Европейские философы-антихристы (из сумасшедшего дома) представляют конец девятнадцатого века. Бонапарт, Пий, Ницше. Три роковых имени, трое тяжелейше больных, с наследственными заболеваниями.

Они ли победители девятнадцатого века? Нет, они носители самой тяжелой болезни, унаследованной от восемнадцатого века. Они самые тяжелые больные - кесарь, понтификс и философ... не в языческом древнем Риме, а посреди крещеной Европы! Не победители они, а побежденные. Когда Бонапарт надругался над святынями Кремля, и когда Пий обвещил себя непогрешимым, и когда Ницше открыто обнародовал свою службу ан-

тихристу - тогда солнце померкло на небе. И если бы оно было не одно, если бы их тысяча была, померкли бы от печали и позора. Ведь это чудо, которого свет не видел - атеист-кесарь, атеист-понтификс и атеист-философ. Во время Нерона не был атеистом хотя бы один их троих - философ. Восемнадцатый век - это век Пилата: осудил Христа на смерть. Девятнадцатый век - это век Каиафы: распял Христа вновь. Двадцатый век - век синаедриона, составленного из иуд крещеных и иуд некрещеных. Это синаедрион провозгласил, что Христос мертв навеки и что Он не воскресал. Стоит ли тогда удивляться, братья, что пришло время небывалого наказания европейской части человечества, наказания розгами, которые секут до крови, до костей и до мозга костей - через бунты, революции и войны?

А кто же тогда победитель, если не кесарь, и понтификс, и философ расхристианенной Европы?

Победитель - русский мужик и сербский крестьянин, по словам Христовым: «Кто из вас меньше всех, тот будет велик» (Лк. 9, 48). Кто был неизвестнее, непризнаннее и меньше других в девятнадцатом веке, веке великого Бонапарта, и непогрешимого Пия, и неприступного Ницше, если не русский мужик, паломник по святым местам, и сербский крестьянин, ратник против полумесяца и освободитель Балкан?

Дьявольское поле рати? Дьявольское священство и дьявольская мудрость - это кесарь, папа и философ девятнадцатого века. Сербский крестьянин представлял противоположное всему этому: во-первых, крестonosный героизм, во-вторых, мученическое священство и, в-третьих, рыбацкую апостольскую мудрость. К нему опять-таки относятся следующие молитвенные слова Господа и Спаса нашего Иисуса: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11, 25). Что открыл Бог простым крестьянам? Открыл им мужскую храбрость, не-

бесную святость и божественную мудрость. Открыл им то, что противно западным кесарю, папе и философу, совсем противоположное, как день и ночь.

Ах, братья мои, держитесь вечных победителей, а не вечно побежденных. Давайте будем держаться рыбаков и мучеников, а не Ирода, и Пилата, и Каиафу - ныне и впредь - во век века. Аминь.

33

Божий выбор, братья мои, изначально отличается от выбора человеческого.

Бог избрал Авраама, бездетного столетнего старца, чтобы он стал самым плодовитым из всех людей на свете и чтобы потомство его было многочисленно, как звезды на небе и как песок на берегу морском. И стало так.

Бог избрал не культурных римлян, не пресыщенных египтян, не искусных эллинов, не мудрых индийцев, чтобы быть избранным мессианским народом, а избрал рабов-евреев - народ никакой, безграмотный, голодный, несчастный, народ рабов, народ, живший в хижинах из соломы и глины, без науки, без искусства, без поэзии, без городов и без деревень, без государства и без свободы. Бог избрал не могущественного фараона египетского, а пастуха Моисея, чтобы через него явить скрижали Своих основных десяти заповедей, без которых народ не может быть народом, а государство государством.

Бог избрал земледельца Гедеона, чтобы тот избавил народ Израиля из рабства мadianитянского. Кого избрал? Меньшего из меньших, как признается сам Гедеон ангелу, который объявил ему это призвание: «Вот, и племя мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший» (Суд. 6, 15).

Бог избрал пастуха сельчанина Давида, чтобы тот был героем в битве, и поэтом, и пророком, и царем на престоле, какого не было никогда ни до того, ни после того.

Бог избрал скотовода Амоса, что-

бы тот был Его пророком, предостерегал народ и укорял царей.

И так далее - много записано примеров, когда Бог поднимал малых, чтобы посрамить больших, и возвышал незнатных, чтобы устыдить кичливых. Но все это лишь тень того, что случилось, когда Бог Сам как Царь Царей сошел в мир.

Кого избрал Господь, когда пришел к людям, когда родился от Пресвятой Девы Марии и Духа Святого, когда явился людям как страшный и благой Мессия мира? Воистину, избрал не римских цесарей, не эллинских поэтов, не египетских магов, не арабских математиков, не персидских звездочетов, не вавилонских зодчих, не индийских философов, не китайских мудрецов, а избрал... Кого избрал Господь? Он избрал рыбаков галилейских и бедняков иудейских, наименее знатных и наименее известных, самых горемычных и самых отверженных.

Кого избрал Бог, когда пожелал освободить Россию от ига чужеземного? Избрал земца Минина.

Кого избрал Бог, когда пожелал положить конец магометанской тирании в Европе? Избрал крестьян и монахов шумадийских - Кара-Георгия, Милоша, хаджи Стефана и иных. (...)

О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ

О чудесно сохранившейся иконе Богоматери

8 марта 1898 года в церкви города Курска, где пострадала Богородичная икона, именуемая Знаменской, произошел такой случай.

Четыре студента-революционера, чтобы доказать незначительность святости, поставили под эту славную икону адскую машину. К счастью, взорвалась машина та ночью, когда в храме никого не было. Однако взрыв был сильным и разрушения большими. Дверь, окна, железная решетка перед иконой, подсвечники и лампы - все разлетелось вдребезги. Киот с куполом, в котором размещалась

икона, тоже рассыпался на мелкие кусочки, словно перемолотый. Только икона Божией Матери осталась нетронутой. Подобный же случай с иконой Богородицы рассказывал нам и генерал Цолович. Но об этом в другой раз.

О болезни как средстве духовного исцеления

Тот же Пахомий рассказал нам, что после этого вдруг ослеп. Лег в постель - зрение вернулось. Но когда попробовал встать, снова перестал видеть. Затем надолго остался в постели. Ослабел, исхудал. Домашние ухаживали за ним плохо. И он возопил к Богу, чтобы вернул ему здоровье, тогда он всю жизнь будет Ему служить. «Всего себя отдам Тебе, Боже!» - говорил он, хотя, признается, тогда не знал, что это значит. И Бог вернул ему здоровье. После этого исцеленный обратился к священнику за советом: вот, дескать, Бог здоровье вернул, а он не знает, какую жертву он должен принести. Священник ему посоветовал отнести что-нибудь в дар монастырю. Он купил масла и свечей и пошел в монастырь Хопово. Но потерял дорогу, долго блуждал и вышел из лесу возле монастыря Ремета. Когда же передал то, что принес, монахи сказали, что как раз этого недостает им в последние дни. Настоятелем монастыря был русский. И когда поговорили некоторое время, тот сказал посетителю: «А почему бы тебе не посвятить себя полностью Богу? Почему ты не отдашь Богу себя всего?» Произнесены были именно те слова, которые он некогда сказал Богу, моля о здоровье и давая обет! Это все решило: молодой Никола (так его прежде звали) пошел в монастырь и стал монахом.

Повесть о найденном полтиннике

В книге о докторе Джоне Моте помещено письмо одного русского студента, касающееся происшествия во время посещения Мотом России. В письме говорится: «Я хотел попасть на лекцию господина Мота. Но бедность

моя никак мне этого не позволяла. Хотя цена входного билета небольшая, но и она для меня была недоступна. Я не имел денег даже на хлеб, не то что платить за вход на лекцию. Но Провидение мне помогло услышать Истину из уст господина Мота. «Духовная и моральная сила», - повторял я, читая программу лекции в витрине книжного магазина. Я тогда был настолько погружен в свои мысли, что опустил голову к земле, и ... у моих ног в снегу и грязи блестела монета, полтинник. Сначала я подумал, что это обман зрения. Но нет, это действительно были деньги. Я обрадовался и сразу же стал считать, сколько на них могу купить хлеба. Но вдруг осенила меня евангельская мысль: «Не хлебом единым жив человек». Я зашел в книжный магазин и купил четыре входных билета на четыре лекции, отдав за это сорок пять копеек. А на оставшиеся пять копеек купил хлеба. Так я получил пищу для тела и для души. Это необычное происшествие, со мною случившееся, так взволновало меня, что я решил оставить все земные заботы и посвятить себя полностью, душой и телом, службе Христу».

Повесть о жребии

В житии святого Тихона Задонского (+ 13 августа 1783 года) записано, как он по таинственному промыслу был избран епископом. В тот день в Священном Синоде, в Петербурге, происходили выборы епископа Воронежца. Тихон, как архимандрит, сослужил за Литургией в Твери. Совершалась архиерейская служба. И когда архимандрит, приступив к проскомидии, сказал архиерею (Афанасию): «Помяни мя, Владыко святой!», архиерей помянул его словами: «Епископство твое да помянет Господь Бог!» После этого владыка спохватился, что помянул ошибочно, и сказал: «Пусть Бог даст, чтобы Вы стали епископом». А в тот день, значит, в Петербурге происходили выборы епископа. Бросали жребий. Было семь кандидатов. И вдруг митрополит сказал: «Давайте

включим и Тверского ректора архимандрита Тихона». Остальные сначала возражали: дескать, он еще слишком молод. Но все-таки согласились дописать имя Тихона как восьмого кандидата. Три раза тянули жребий, и все три раза вытягивали бумажку с именем архимандрита Тихона. Не промысел ли это судеб Подателя Господа: что в тот день его, будто бы случайно, во время службы архиерей помянул как епископа и что его имя, будто бы случайно, было добавлено восьмым в число кандидатов, и что все три раза его жребий доставали?

О ВИДЕНИЯХ И ЯВЛЕНИЯХ ИЗ НЕВИДИМОГО МИРА

Повесть об игре демона с людьми

В книге о Мелании-затворнице из Елецкого монастыря описывается случай, подобный тому, что произошел со святым Симеоном Столпником.

Однажды ночью после продолжительной молитвы присела Мелания на пороге своей кельи немного отдохнуть. Вдруг явилась ей огненная колесница, а на ней юноша в белом одеянии, который сказал ей: «Прииди, Богом возлюбленная, и прими награду за свои труды. Бог послал меня, ангела Своего, чтобы я перенес тебя в райские селения, где ожидает тебя сестра твоя Екатерина». (А сестра эта недавно умерла). Услышав весть о своей любимой сестре, Мелания забыла обо всем, даже не перекрестилась, села в огненную колесницу, и крылатые кони понесли ее куда-то. После этого, однако, Мелания перекрестилась. И всё вдруг исчезло, а вдаль раздался пакостный смех. Ужас охватил Меланию. Она огляделась вокруг и увидела, что находится на краю моста возле мельницы - вот-вот может упасть вниз, в реку. Она в ужасе закричала что было мочи и упала на мост, потеряв сознание. Ее крик услышали находившиеся на мельнице люди, прибежали и увидели на мосту известную им затворницу без сознания. Очень удивились, конечно,

как она оказалась в ночное время на этом месте, и отнесли полуживую в монастырь.

О обновлении икон в Харбине

Рассказывал нам владыка Димитрий из Харбина:

«Госпожа Корней, супруга русского полковника, подарила храму Харбинского Дома милосердия две старые иконы. Одна из - Пресвятой Богородицы, другая - Святителя Николая. Известный русский художник Волоченко, проживавший в Харбине, исследовал обе иконы и определил, что им примерно по двести лет. Богородичная икона представляла «Всех скорбящих радость». Лик Богоматери на ней можно было распознать лишь в контурах. А вокруг Ее изображения по обе стороны располагались лики святых, из которых можно было узнать только Святителя Николая. Богородичная икона постоянно находилась на аналое для целования, так что была известна всем православным города. И вдруг люди стали замечать, что икона светлеет и становится всё выразительнее. Художник Волоченко приходил в храм каждое воскресенье и каждый раз видел икону всё более светлой и более выразительной. В конце концов она стала совершенно выразительной. Отчетливо стал виден лик Богородицы, а также тринадцать святых с одной стороны от Неё и тринадцать - с другой. Все святые оказались узнаваемыми. Среди них был и лик святого Антипы Пергамского, упоминаемого в Откровении. Это особенно обрадовало госпожу Корней, так как в их семье особо почитали и прославляли святого Антипу. Более всего нас удивляло то, что золотой ореол вокруг главы Богородицы сиял даже из-под воска, то есть сквозь воск, которым икона была закапана. Это обновление иконы воодушевило и обрадовало всех русских на Дальнем Востоке».

О спасительном чувстве страха при близости врага

Мы много читали и слышали, как люди чувствуют сильный страх, когда к ним приближается злой дух. Но

такой страх неисторченный человек чувствует и при близости человека-врага. И это чувство не подводит. С архимандритом Амвросием из монастыря Милькова известен один случай, о котором он неоднократно рассказывал своим друзьям.

Он, в миру Владимир Зиновьевич Курганов, окончил философский факультет университета и поступил в юнкерское училище. Там застала его революция. На собраниях народных он открыто выступал против коммунистов, из-за чего подвергся преследованиям как их враг. Почувствовав себя в опасности, он на коне отправился в село на юг России, где жил его дядя-священник. После долгого пути ночью он прибыл в это село. Но когда был уже у самого дома дяди, почувствовал такой страх и такую печаль, что не мог от них избавиться. Успокаивал себя, подбадривал, хотел сойти с коня, но не мог. Так и проехал мимо дядино дома, направился в другое село и там заночевал. А на завтра узнал, что агенты большевиков произвели обыск в доме дяди, разыскивая его, Курганова. Таким образом он спасся, а впоследствии перебрался на Балканы.

Как офицер убедился

в существовании дьявола

Оптинский старец Амвросий спросил у одного посетителя, верит ли тот в существование дьявола. А когда услышал утвердительный ответ, рассказал такой вот случай:

«А некоторые, видите ли, отвергают это и считают, что дьявол - не что иное, как олицетворение наших страстей. Такие мысли подбрасывает сам враг человечества, чтобы люди его отрицали, а он таким образом имел больше свободы на них воздействовать. Но вы, наверно, читали в газетах, как в некоторых домах случаются странные явления: вещи летают сами по себе, слышится грохот и многое тому подобное. Это действие злых духов. А вот что произошло однажды. В последний вечер сыропустной седмицы сидела компания офицеров,

а среди них был и старый войсковой священник. Зашел разговор о демонах. Все офицеры отрицали существование их и высмеивали это как суеверие, оставшееся от средневековья. Священник долго слушал молча, а потом сказал: «Вы, значит, господа, не верите в существование демонов и считаете это сказками. А не желает ли кто-нибудь из вас на себе испытать, что демоны на самом деле существуют?» Откликнулся один пожилой офицер. «Зайдите ко мне!» - предложил ему священник. Офицер пошел к священнику домой, и тот дал ему почитать молитвенник, прежде всего молитвы Пресвятой Богородице - которые, по мнению старца Амвросия, дьявол особо ненавидит. Священник рекомендовал начать чтение молитвенника в Чистый Понедельник, причем в запертой комнате. Офицер так и поступил. И когда он начал читать молитвы, почувствовал, как мурашки пошли по спине. Во вторник офицер опять читал. Тогда чувствовал еще больший озноб и ужас, и мурашки еще больше ходили по спине, и волосы вставали дыбом. А еще он почувствовал, будто бы кто-то ходит вокруг него. На третий день он начал снова читать, но ясно почувствовал, как кто-то ходит по комнате, затем волну сильного холодного ветра, налетевшего на него, и наконец услышал дикий издевательский крик: «И ты вот пришел к молитвеннику!» Офицер в ужасе вскочил, открыл дверь, побежал к священнику и сказал: «Теперь я верю в существование демонов!» («Душеполезное чтение». II. 1903. С. 219.)

О Святителе Николае в Харбине

Владыка Димитрий из Харбина рассказывает нам следующее.

На вокзале в Харбине русские когда-то установили большую икону Святителя Николая, и она там находилась много лет. Набожные русские возжигали свечи перед отъездом или после счастливого возвращения из путешествия. Глядя на русских, эту икону

стали почитать и китайцы - они также ставили свечи. Когда же русские безбожники взяли железную дорогу в свои руки, они приказали икону с вокзала убрать. Однако против этого выступили прежде всего китайцы, говорившие так: «Чем вам мешает этот добрый старец? Он находится здесь уже столько лет, и от него мы никакого зла не видели. Не дадим его трогать, удалять отсюда». Безбожники побоялись народного протеста и оставили икону там, где она была. Как ни удивительно, а десяток лет икона простояла на Харбинском вокзале при власти русских безбожников. Святой Николай не позволил, чтобы его удалили. А это еще значительно укрепило и у православных русских, и у язычников китайцев ревность ставить свечи перед ней. Позднее железная дорога перешла в руки японцев, и, естественно, икона осталась на своем месте до наших дней.

Однако в том, 1935 году произошло нечто, привлечшее к иконе еще большее внимание всего Харбина. Там за городом, возле реки Сунгаре, есть гора. Власти собрались на этом месте что-то строить, и гору нужно было копать. Копали долго и много. Однажды китайские дети играли под этой горой, уже сильно подкопанной. Да, гора уже была подрита настолько, что ее верхняя часть нависала, как некая, можно сказать, крыша. И вот как раз под этой крышей китайские дети играли, когда вдруг явился некий белобородый старик и велел сейчас же убежать оттуда. Дети беспрекословно послушались старика, испугавшись его появления больше, нежели чего бы то ни было иного. И как только дети убежали, гора обвалилась со страшным грохотом. Останься они там, дети бы все погибли. А увидев обвал горы, дети рассказали, что там погиб такой-то дедушка. Рабочие провели раскопки, но старика не нашли. Но кто-то из тех детей после случившегося оказался на вокзале и, когда увидел икону Святителя Николая, закричал: «Вот он, тот старик, который нам явился и прогнал нас из-под горы!»

О явлении Святителя Николая на пароходе

Художник Богданов-Бельский рассказывает нам о чудесном происшествии. Около трехсот русских офицеров, покинувших родину, направлялось пароходом в Константинополь. Когда вышли они в Адриатическое море, поднялся ужасный шторм. Буря была невиданной силы, и все уже прощались с этим светом. Вдруг на пароходе появился Святитель Николай, величественный и спокойный, и сказал троем офицерам, стоявшим близко от него: «Не бойтесь, вы спасены!» После этого он сразу исчез, а буря прекратилась. Вельский слышал рассказ об этом в Дубровнике от очевидца, одного из трех офицеров, которые видели святого Божьего на пароходе во время ужасного шторма.

Повесть об умирающем графе

Рассказывает нам игумения из Хопова о покойной игумении Екатерины, ее утонченной духовности. Она графского рода - аристократка по крови и по духу. Была хорошо знакома с известным русским философом Соловьевым. Чаще всего говорила о жизни после смерти и ждала смерти с радостью. А у игумении Екатерины был родной брат, граф Андрей Ефимовский, которого она безгранично любила. Но этот брат не имел веры, что сестру ужасно беспокоило, печалило. Она старалась найти брату доказательства, давала разные книги - но все напрасно. Граф Андрей, как беженец после революции в России, прибыл к сестре в монастырь Хопова. Здесь он и умер, уже после Екатерины. Однако перед смертью мучился и кричал во весь голос. Крик его был обращен к каким-то теням, которые нападали на него со всех сторон. Днем и ночью в его комнате дежурили монахини, крестным знамением и молитвами отгоняя мрачные силы от умирающего. В трепете и ужасе испустил наконец он душу свою.

**Перевод с издания:
Глас Цркве. 1997. Бр. 3-4**

Швейцарский учёный Константин МОНАКОВ: «МОИ КОРНИ В РОССИИ»

ОТКРЫТИЕ МОНАКОВА

Мудрый человек заметил: счастливый случай помогает тому, кто делает всё, чтобы на него наткнуться. Именно так произошло с тем, что я называю «открытием Монакова» для себя и, надеюсь, для многих вологжан.

В силу образования, профессии, да и просто собственной увлечённости я отслеживаю связи Вологодчины с европейскими странами. Поиск информации об экономических и культурных контактах, людях, исторических событиях иногда перерастает в какие-то личные встречи, позволяет познакомиться с неординарными людьми.

В конце 2008 года ушел из жизни Зигфрид Хакенберг, немецкий предприниматель и книгоиздатель, который несколько лет провел на Вологодчине в плену. Удивительно, но всю свою жизнь он не устал интересоваться тем, что происходит в России, позднее занимался установлением связей между Вологодчиной и землёй Северный Рейн - Вестфалия. В одном интересном и содержательном немецком календаре, который З.Хакенберг послал мне пару лет назад, нашлась заметка о юбилее Константина Монакова - пионера в области изучения головного мозга, основателя швейцарской неврологии. Поразительно, но Константин Иванович Монаков - вологжанин, уроженец Грязовецкого уезда!

Это и стало отправной точкой дальнейших поисков. Оказалось, что в Цюрихе чтят память учёного. В Институте истории медицины ведётся работа, связанная с обработкой письменного наследия учёного. При университете города Цюриха существует основанная Монаковым неврологи-

ческая клиника с лекционным залом и экспозицией, посвящённой научной деятельности нашего земляка. Примечательно, что в 1994 году здесь широко отмечалось столетие со дня призывания Монакова в университет, ставшее одновременно и столетним юбилеем Цюрихской школы неврологии.

Кстати, выставку, организованную к этой дате, с большим количеством экспонатов, приборов, медицинских инструментов, которыми пользовался наш выдающийся земляк, довелось увидеть собственными глазами во время поездки в Швейцарию. Познакомились мы и с людьми, бережно сохраняющими память о Константине Монакове. Один из них - директор клиники по научной части, вице-президент Швейцарского неврологического общества Клаудио Бассетти, был очень удивлён тем, что Монаков абсолютно неизвестен в России и у нас в области или же известен, но в очень узких кругах и лишь как швейцарский учёный, пусть и с русской фамилией. Профессор Бассетти подарил нам книгу «Сто лет швейцарского неврологического общества», которая вышла в свет в 2008 году. И первым, о ком идет речь в этом издании, стал именно Константин Монаков, его деятельности в различных областях знаний посвящен ряд глав. Говорится тут и о том, что вся швейцарская неврология берёт начало именно от Монакова, оценивается вклад, который внес этот выдающийся нейроанатом, невролог, психиатр, мыслитель в мировую науку.

На выставке есть раздел, посвященный детству К. Монакова, где помещена цитата из его воспоминаний. «Большую часть жизни я провел за рубежом, в детстве попал в Германию



и затем Швейцарию, но для меня всё равно немецкий и другие языки, которыми я владею, остаются иностранными, ведь мои корни в России. Детские впечатления были первым, что я впитал, с чего начался мой путь познания мира».

Очень бы хотелось, чтобы в ряду наших выдающихся земляков нашлось место и Константину Ивановичу Монакову.

Анатолий СЫЧЁВ

Сотрудник Правительства Вологодской области Анатолий Сычёв, заинтересовавшись личностью выдающегося ученого Константина Монакова, многое делает, чтобы воложане узнали как можно больше о своём замечательном земляке. Специально для «Вологодского ЛАДА» журналист Александр Чечкин побеседовал с Анатолием Сычёвым о результатах его исследований жизни и деятельности Константина Ивановича Монакова, оставившего заметный след в мировой науке.

В ПУТЬ...

- Согласно данным метрической книги Грязовецкого духовного правления Богородско-Бакчаковской цер-

кви, Константин Монаков родился 23 октября 1853 года в деревне Бобрецово Семёнцевской волости Грязовецкого уезда.

Бобрецово - родовое имение Ивана Алексеевича Монакова, отца Константина, - в настоящее время не существует. Не сохранилась и помещичья усадьба. О когда-то бурлившей здесь жизни напоминает лишь роща.

Иван Алексеевич занимал различные должности государственной службы, работал в Министерстве просвещения и до отставки некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Это был высокообразованный человек, увлекавшийся историей, философией, литературой, языками и имевший разносторонние интересы.

Счастливая семейная жизнь Монаковых была недолгой. Когда Константину было четыре года, мать скончалась от туберкулёза. Это стало тяжёлым ударом для него и для всей семьи. Отец вновь поступил на государственную службу. Воспитанием детей занимались родственники и иностранные гувернёры. Недолгое время семья жила в Вологде, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге.

В 1863 году отец, увлекавшийся либерально-демократическими идеями, принимает решение покинуть Россию. В течение трёх лет семья, состоявшая из отца, сыновей Константина и Алексея и дочери Марии, жила в Дрездене, а после начала войны между Австрией и Пруссией переехала в 1866 году в Цюрих.

- Анатолий Борисович, отъезд Монаковых за границу совпал по времени с началом либеральных реформ в России при Александре II. Отменено крепостное право, общество живёт ожиданием демократических перемен, и в это время поборник этих идей принимает решение покинуть родину. Нет ли тут противоречия или какой-либо загадки?

- Скорей всего, это решение зрело в Монакове-старшем длительное время. И события, связанные с началом реформ, видимо, не вселяли в него больших надежд и не остановили его



Первая в Швейцарии неврологическая поликлиника. 1887-1913

от такого шага. Он чувствовал, что пассивное неприятие государственной системы управления может иметь для него серьёзные последствия.

Если же посмотреть на нашу историю, то это был благоразумный поступок, как бы это непатриотично ни звучало. Можно представить, какая участь ждала эту помещичью семью на родине. Да и психиатрия, если предположить, что Монаков-младший и здесь бы увлёкся именно ею, подвергалась в нашей стране в начале XX века постоянным нападкам. Поэтому замечательно, что наш земляк К. Монаков смог раскрыться на Западе.

Его биографы отмечают очень любопытный факт. На документе о принятии Монаковых в гражданство кантона Цюриха стоит подпись Готфрида Келлера, в те годы государственного писаря, а впоследствии одного из выдающихся классиков швейцарской художественной литературы. Это примерно так же, как если бы в Россию приехала на жительство семья швейцарских землевладельцев, а документ ей подписал бы молодой Лев Николаевич Толстой.

- Впечатления детства, как известно, самые сильные - десятилетний мальчик помнит вологодскую провинцию? А после окончания гимназии делает выбор в пользу медицины. Случайно ли это?

- Тут многое взаимосвязано. В автобиографических записках Константин Монаков пишет: «Мысль выехать в чужую страну, чей язык был мне едва ли знаком, и потерять Россию, несмотря ни на что, мою любимую родину, была для меня невыносимой». Да, он очень рано теряет мать, сильно переживая эту трагедию. Но он всегда чувствовал свою связь с миром дворянских гнёзд, миром Тургенева и Толстого, и называл всё это своим кругом. Он считал себя своего рода привитым на европейскую почву. «А мои корни именно там, в России, и именно туда меня по-прежнему продолжает тянуть», - писал Монаков.

Почти сразу, когда семья только переехала в Европу, умирает его любимая сестра. И в нём просыпается потребность помогать людям справляться с болезнями - этим можно объяснить выбор медицины. С другой стороны, по словам одного из учеников К.И. Монакова - М. Минковского, твердого решения, куда поступать - на медицинский или исторический факультет - не было. Важнее другое: пружина искательства, заложенная в этом человеке, помогла ему раскрыться и как медику, и как учёному-биологу, и как философу. Его бредило стремление докапываться до истины, думать, искать, находить какие-то оригинальные пути достижения цели. Константин Монаков поступает на медицинский факультет Цюрихского университета. Во время учебы он проходит практику у известных неврологов и психиатров в клиниках Швейцарии и Германии. Практическая и экспериментальная работа становится для него самым важным направлением деятельности.

НАУКУ ПОДКРЕПЛЯЛ ПРАКТИКОЙ

- Выходит, что «дух искательства» в сочетании с практикой и



Дом Бельмонт - Институт анатомии мозга и неврологическая поликлиника. 1913-1952

экспериментом стали отправной точкой Константина Монакова в его научной деятельности?

-Я бы назвал это отличительной чертой его творческого, научного почерка, сопровождавшего всю его жизнь. Будучи уже преподавателем, он продолжает делать анатомические опыты, лечит больных. При этом во всех сферах своих интересов пытается находить взаимосвязанные вещи. Эту необычайную широту его интересов иногда недопонимали даже его ученики, а оценили лишь ученые второй половины XX века. То есть для него не существовало узкого дробления отдельных дисциплин: вот это неврология, это - психиатрия. Он на всё смотрел в комплексе, объяснял одно из другого.

После окончания университета в 1877 году Монаков начинает работу в качестве врача-ассистента в психиатрической клинике Санкт-Пирминсберг в Пфедерсе. Представляете, небольшая деревенька, но это не меша-

ет Константину Монакову именно здесь сделать свои первые важные открытия, связанные с локализацией зрительных нервов и центров и их изучением. Он проводит удивительные эксперименты, которые дают поразительные результаты. Статьи К. Монакова начинают публиковаться в научных журналах. К молодому учёному приходит известность. Впоследствии его ученики и биографы так и называют этот период в жизни Монакова - «научный прорыв в деревне».

В 1885 году он возвращается в Цюрих, где открывает частную практику и одновременно начинает преподавать в Институте патологии. Здесь же он арендует небольшое помещение для своей лаборатории (впоследствии - Институт нейроанатомии). А уже через два года открывает первую в Швейцарии неврологическую поликлинику. И не прекращаются его научные искания. Впоследствии он делает выводы, которые были бы не под силу «узким» специа-



Дом и лаборатория Монакова
на Штадельхоферстрассе. 1891-1913

листам. То есть, переходя из одной области науки в другую, Монаков очень плодотворно влияет на их развитие. Именно он стоит у истоков таких понятий, как «нейробиология», «психобиология». К. Монаков был одним из первых, кто, допустим, психоанализ Фрейда вводит в научный обиход Цюрихского университета. Но при этом говорит, что психоанализ - далеко не единственное, чему надо учиться, а тем более молиться на него. Это лишь одно из направлений, которое нужно обязательно изучать.

- Анатолий Борисович, а не было ли совмещение Монаковым научной, преподавательской деятельности с врачебной практикой необходимо, в силу, скажем, финансовых затруднений, особенно в начальный период его деятельности?

- Да. В начале пути Монакову было довольно проблематично заниматься только наукой. Ясно, что ему приходилось отталкиваться от прикладного характера этих занятий, то есть пытаться этим делом дополнительно зарабатывать на жизнь. Он, как врач,

занимается пациентами и параллельно продолжает исследования. Финансовое положение поликлиники и лаборатории было довольно сложным. Он совмещает научную и преподавательскую деятельность с врачебной практикой, чтобы иметь возможность продолжать свои исследования. Вместе с тем, к тому времени молодые ученые со всей Европы приезжают в Цюрих, чтобы получить возможность заниматься научными исследованиями под руководством К. Монакова.

Позднее он всегда подчеркивал, что настоящий ученый должен оставаться практиком. Когда учёный отходит от соприкосновения с реальностью, он перестаёт быть исследователем.

- Известно, что за нашего земляка было даже некоторое «соперничество» австрийского Инсбрука и Цюриха.

- Действительно, в 1894 году Константин Иванович приглашают на должность заведующего кафедрой психиатрии в австрийский Инсбрук. Правительство кантона видит, что перспективного учёного, что называется, могут перехватить, и предпринимает попытки удержать его. Ему создаются более благоприятные условия, прислушиваются к его предложениям, связанным с развитием научной школы. Монакову присваивают звание освобождённого профессора нейроанатомии, а его частные неврологическая клиника и лаборатория получают частичное государственное финансирование. При этом он продолжает возглавлять оба заведения. К тому времени Константину Монакову удаётся собрать вокруг себя профессиональный коллектив единомышленников.

Результатом плодотворной работы группы учёных стало издание в 1897 году объёмного труда «Нейропатология». Позднее эта фундаментальная работа, основанием которой стали результаты многочисленных экспериментов, анатомических и клинических исследований, дополнялась и переиздавалась.

Этот период времени был для учёного и его учеников очень плодо-



Институт истории медицины

творным. Регулярно собиравшийся так называемый «монаховский кружок» впоследствии становится Обществом психиатров и неврологов, на заседаниях которого выступали ведущие европейские учёные того времени.

В 1904 году К. Монаков избирается членом Международной комиссии неврологических исследований, одной из задач которой являлось создание сети исследовательских центров. Институт Монакова официально признаётся центральным межакадемическим исследовательским центром. Это обеспечивает его институту придание статуса государственного института при университете города Цюриха. В знак благодарности Монаков передаёт в дар кантону всю коллекцию своих научных исследований.

В институте нейроанатомии Монакова в то время работают молодые, но уже очень известные учёные из Швейцарии, Германии, Голландии, Польши, России и Японии. Например, в 1906 году здесь одновременно трудились пять профессоров из различных университетов США.

Константин Монаков инициирует

создание Швейцарского неврологического общества, становится его первым президентом. В этот период времени в Германии начинают регулярно выходить его научные публикации под общим названием «Исследования Института нейроанатомии в Цюрихе».

«МИРОВОЙ НЕВРОТИЧЕСКИЙ КРИЗИС»

- Разразившаяся в Европе Первая мировая война не была для К.И. Монакова личной катастрофой. Но она стала для ученого своеобразной мировоззренческой травмой, потрясением. Монаков прерывает работу над третьим изданием «Нейропатологии». В какой-то момент он полностью уходит от активной исследовательской работы и уезжает в деревню. Его занимают вопросы истории, этики, психологии, политики и философии.

- Можно ли говорить о том, что причины войны, её жестокость, последствия он трактует как-то по-особому?

- Вот именно. Он рассматривает весь клубок проблем, вызванных войной, с точки зрения биолога, исследователя головного мозга. Монаков пытается сопоставить нервные заболевания и социальные. Война - этот «мировой невротический кризис» - стала причиной того, что к тому времени уже всемирно известный нейроанатом и невролог всё больше начинает заниматься проблемами биологической психологии и психопатологии. Те или иные мотивы поведения человека он начинает трактовать с точки зрения изучения структуры мозга, его нарушений и каких-то влияний на него. Он ищет связующие звенья между физическим и психическим, основываясь на своих глубоких знаниях в области биологии и эволюции человека и природы. Монаков пишет о движущей силе отдельного индивида и всего мира, их взаимосвязи. Рассматривая присущий живым существам инстинкт к совершенствованию, установлению связей с другими существами, окружающим миром и Вселенной, он

объясняет причину религиозности человека.

Одним словом, Первая мировая война и тяжелые в моральном и материальном плане послевоенные годы не явились препятствием для продолжения исследований. Они скорее послужили толчком к тому, что учёному удалось самым плодотворным образом проявить свой талант в смежных отраслях знаний. В двадцатые годы выходит ряд его статей, посвященных различным проблемам биологической психологии и развитию так называемой «биологической» совести, которая включает в себя такие категории, как солидарность, сотрудничество, стремление к свободе, потребность в поиске.

- Можно ли сравнить вклад нашего земляка в науку, скажем, со вкладом таких российских учёных, как Сеченов, Мечников, Павлов, открывших много нового в биологической науке?

- Вклад Монакова ничуть не меньше. Абсолютно. Вот, к примеру, высказывание известного немецкого невролога Карла Вернике о том, что схема оптических путей Монакова, представленная и законченная, является самым выдающимся достижением нейроанатомической науки. Константин Монаков открыл в своей сфере абсолютно новые вещи. Позднее стало ещё более очевидным, что он был чуть-чуть впереди многих европейских учёных того времени.

Константин Иванович являлся почётным членом и членом-корреспондентом шестнадцати зарубежных научных обществ (в Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Амстердаме, Киеве, Ленинграде), был почётным членом Швейцарского общества психиатров, почётным президентом Швейцарского неврологического общества.



Микроскоп, которым пользовался Константин МОНАКОВ.
Экспонат выставки в неврологической клинике

4 ноября 1923 года учёная общественность торжественно отметила 70-летие учёного. Представители государственных органов просят его, несмотря на достижение им предельного пенсионного возраста, продолжать руководить Институтом нейроанатомии. Спустя четыре года Монаков заканчивает свою деятельность в качестве руководителя института по состоянию здоровья. Оставляя пост директора института, Константин Монаков указывает, что науку нельзя отделять от практики. Хотя он и был сильно занят в силу своего положения и признания, но он оставался для своих пациентов внимательным врачом, не прекращавшим практиковать до конца своих дней.

Константин Иванович обладал настоящим педагогическим талантом. Его ученики относились к нему с боль-

шой любовью. Монаков умел направить их, оказать поддержку, радоваться успеху вместе с ними и открывать в их успехах новые идеи и возможности. Впоследствии многие из них стали учёными мирового уровня.

КОЕ-ЧТО ЛИЧНОЕ...

- В какой-то период времени Монаков был своего рода символом Цюриха. Это был человек большого роста, очень импозантного вида. Жители Цюриха могли наблюдать, как он каждое утро направлялся в сторону университета, а вечером возвращался домой.

Примечательной особенностью, говорившей о его характере, было то, что Монаков с осторожностью относился к развитию технического прогресса, считал очень многое во всём этом поверхностным, внешним, отвлекающим человека от каких-то более глубоких вещей. Как отмечали его ученики, Монаков, выходя на проезжую часть, будто бы не обращал внимания ни на повозки, ни на автомобили. Он утверждал, что они должны ориентироваться на пешеходов, а никак не наоборот. И в случае, если извозчик или водитель не останавливался, то он поднимал свою трость и строго грозил ею.

- Это несколько странно, что у выдающегося ученого были, мягко говоря, сложные отношения с техническим прогрессом. Может быть, он считал за истину то, что техника в соединении с пошлостью - вот истинный враг всего прекрасного. Или нет?

- Вероятно, он понимал, что технический прогресс - далеко не единственное средство развития человека, а может стать и угрозой его существованию. Последнее, кстати говоря, двадцатый век прекрасно продемонстрировал. Да и сегодня найдется немало людей, которые, как они сами



Лекционный зал К. МОНАКОВА при неврологической клинике

выражаются, не представляют свою жизнь без того же телевизора или мобильного телефона. Когда человек начинает связывать свою жизнь исключительно с наличием у него каких-то атрибутов, то волей или неволей обедняет её, обедняет себя. «Люди в потьмах блуждают по жизни, и идеи, за которые они держатся, в действительности мешают им увидеть реальный мир и собственную жизнь». Пожалуй, вот этот афоризм испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета раскрывает взгляд Монакова на эти вещи. По роду своих занятий, мировоззрению и чертам характера Монаков чем-то напоминает профессора Преображенского в «Собачем сердце» Булгакова.

- Остались ли в Швейцарии его потомки?

- Фамилию Монаковых сегодня в Швейцарии никто не носит. Хотя у Константина Ивановича был сын Пауль, который был врачом в Цюрихе.

Он рано погиб - во время одного из походов в горы с ним произошел несчастный случай. У Пауля было четыре дочери, последняя из которых умерла сравнительно недавно. В Швейцарии живет лишь правнучка Монакова.

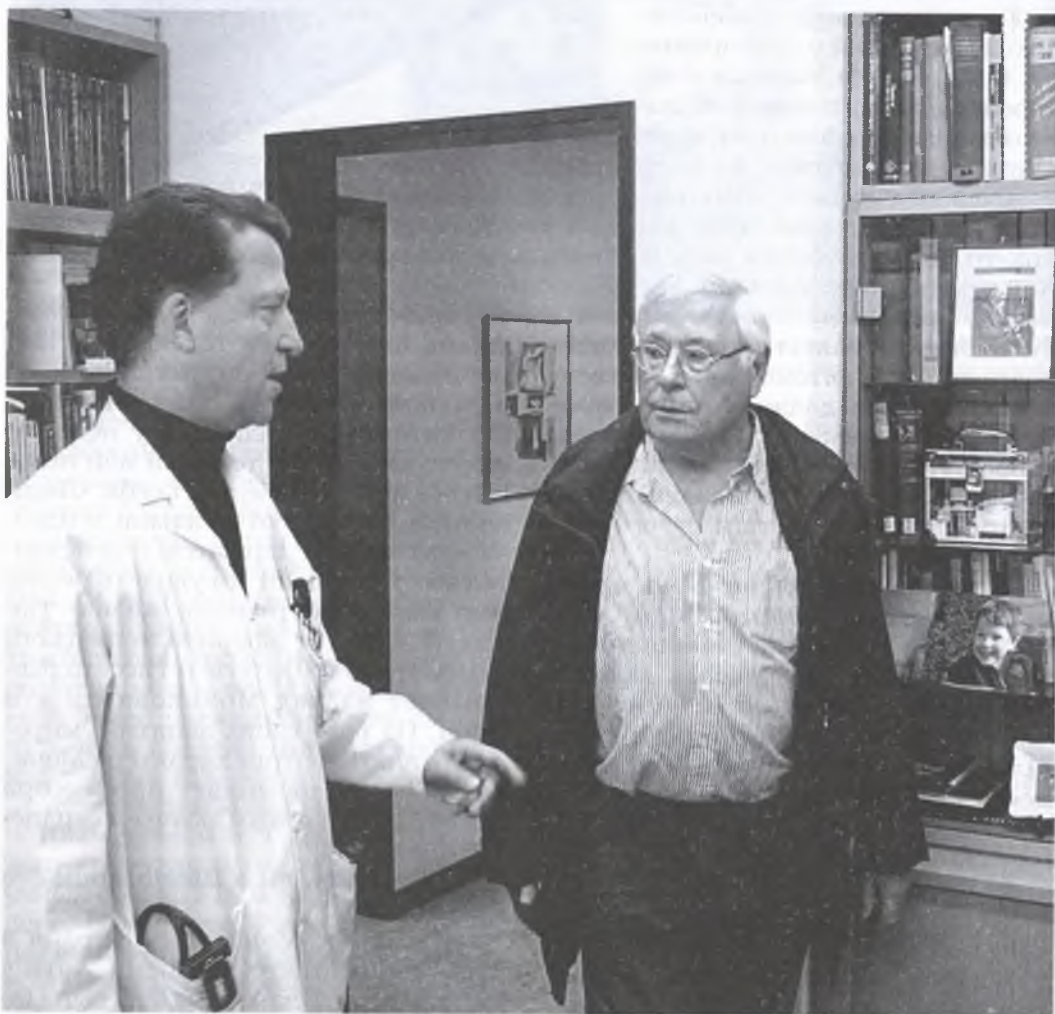
Константин Иванович умер 19 октября 1930 года. В свои последние дни он работал над очерком о системе человеческих ценностей. Символом всей плодотворной жизни учёного стали его последние слова: «Позитивная деятельность», которыми он назвал новую главу своего очерка.

- Итак, Анатолий Борисович, знакомство вологжан с выдающимся земляком, можно сказать,

состоялось. Его имя возвращается к нам из забвения. Что же дальше?

- В далёкой Швейцарии чтят память нашего выдающегося земляка. Полагаю, что и вологжане могут им гордиться. И если бы мы смогли каким-то образом увековечить память о Константине Ивановиче Монакове, то выполнили бы свой долг. Было бы правильным сделать хотя бы небольшую музейную экспозицию о выдающемся учёном. И, конечно, надо продолжать поиски всего того, что связано с его жизнью и судьбой.

**Подготовил
Александр ЧЕЧКИН**



Профессор К.БАССЕТТИ и невролог, биограф К.И. Монакова Х.БЭР

ДИПЛОМ ВОЛОГОДСКОЙ КНИГЕ

В прошлом номере нашего журнала говорилось о книге «Дом Спаса. Каменные Кижы Вологодчины», выпущенной ИНП «ФЕСТ» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Эта книга, составленная Вадимом Дементьевым, Надеждой Плигиной и Андреем Сальниковым, представляет собой самое полное собрание материалов о Спасо-Каменном монастыре, его истории и сегодняшнем дне. В ней есть очерки о природе Кубеноозерья и путевые заметки о поездках на Спас-Каменный, произведения русских писателей XIX - XX веков о дивном острове в Кубенском озере и хроника восстановления древней обители в наши дни... Основу книги составил очерк известного современного исследователя, активного автора «Вологодского ЛАДА» Вадима Дементьева.

Тираж книги по нынешним временам довольно солидный - 3 тысячи экземпляров; издатели опасались, что будут трудности с распространением, ведь краеведческая книга - не бездумное, не развлекательное чтение. Однако не прошло и трех месяцев, как у издателей ни одного экземпляра на продажу не осталось: часть разошлась по церковным лавкам, часть увезли в Усть-Кубинский район... Распространители «ФЕСТА» предлагали книгу о



Спасо-Каменном на нескольких крупных ярмарках и были удивлены, каким спросом она пользовалась.

Оценили «Дом Спаса» не только читатели. В марте были определены победители Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина», и вологодская книга о древней обители на Кубенском озере получила специальный диплом этого конкурса. Итоги конкурса подводились на XII Национальной выставке-ярмарке «Книги России», которая в начале марта проходила во Всероссийском выставочном центре.

Соб. инф.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПРЕМИЯ - НАШИМ АВТОРАМ

Пятая церемония награждения Всероссийской православной литературной премией имени святого благоверного великого князя Александра Невского в Санкт-Петербурге собрала сразу трёх авторов журнала «Вологодский Лад».

Двенадцать премий вручались в одном из известнейших храмов России - Александро-Невской лавре. В номинации «Поэзия» победителями

стали череповчанин **Александр ПОШЕХОНОВ** и Николай РАЧКОВ, живущий в Ленинградской области. В номинации «Критика и литературоведение» первая премия присуждена москвичке **Лидии СЫЧЁВОЙ** за книгу статей о культуре «Эх, славяне!..»

Мы поздравляем наших авторов-лауреатов и ждём их новые произведения для публикации.

Соб инф.

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

Творчество одного из лучших русских писателей Владимира Личутина читателям «Вологодского ЛАДА» знакомо: в первых двух номерах 2007 года опубликовано его художественно-публицистическое исследование современности «Год девяносто третий... Взгляд из деревенского окна (опыт психоанализа)», а год спустя - очерк «Сельский поп (Русская натура)». Можно сказать, складывается традиция начинать каждый год жизни «Вологодского ЛАДА» личутинской прозой. Не нарушаем её и в нынешнем году. Новая работа Владимира Владимировича - «Сон золотой (книга переживаний)» - уже получила признание в Вологде: на первом Всероссийском конкурсе современной прозы имени В.И. Белова в 2008 году Личутин получил за неё первую премию. Частично «Сон золотой» опубликован в сборнике прозы лауреатов этого конкурса, полностью перед вологодским читателем появляется впервые.



СОН ЗОЛОТОЙ

(книга переживаний)

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Писатели - народ странный, ну прямо дети: жить с ними трудно, ибо в каждую цель лезут со своей указкою, но и без них нельзя. Свою внутреннюю язву «дражнят» в упоении и невольно этой чесоткой заражают многих. Знать, для какой-то цели Бог наслал их на землю вместе с грехами, слабостями, шалостями и весьма сомнительными достоинствами, которые, однако, перевешивают все их недостатки. Вот вроде бы и не сеют они, и не пахнут, балуются со словами и буквами, бессмысленно истрачивая драгоценную жизнь, но эта хитрая умственная игра с Богом и дьяволом исполнена такого непонятного вещаго смысла и такого притягательного, обавного чувства, что за литераторами, как слепые за поводырями, мы охотно тащимся, словно зачумленные иль опоенные «мухомором», и в этом наваждении порою готовы свалиться в яму... Но ведь писатели и сами-то походят на нищую братию, на калик переходящих и, уцепившись за идею учительства и за чувство превосходства своего, как за «вервь непроторженную», готовы в любую минуту, поддавшись человеческой беспомощности и унынию, с повязкою на глазах взмолиться во тьму к Господу: «И кто нас оденет, обует, и кто нас теплом обогреет...» Баюнки и обавники, спасители человечества и искушители, учителя и духовники, страдалцы и чревоушители, дети Христа и спосыланники «не наших» - сколько всего густо и неразборчиво понамешиано в этой породе! К ней по завещательной и неисповедимой судьбе принадлежу и я...

А по складу письма сразу виден сочинитель: иль гордец он, иль простец, иль на дуде игрец, самовлюбленный он, иль Богом удивленный, кто всякий смысл на небесах прочитывает.

Одни пишут трудно, измощая себя по ночам, изнураясь кофеин, вытягивая из головы строки, как собственные мозговые извилины, свою судьбу они видят как жертвенную, необыкновенную и тем невольно гордятся собою, как Божии посланники... (Федор Достоевский). Другие же сочиняют, как на дудке поют, буд-то в горле завелась серебряная горошинка, и вот, запрокинув голову, они словно бы считывают стихиры с неведомых нот, что развешаны меж облак... (Сергей Есенин).

Сергей Залыгин, например, писал роман кусками, не зная, куда выведут они, в какие дебри, после раскладывал исписанные страницы на полу, как игральные карты для пасьянса, и, ползая на коленях, наводил в этой путанице сюжетные концы. Залыгин был инженерного ума, рационального склада, вот и строил роман, как натуралист-дарвинист, вырешивая людские судьбы через математическую задачу.

Одни всю жизнь переписывают уже однажды сотворенное, в этой переделке находят болезненное удовольствие, похожее на мозаику, пытаясь дважды войти в одну реку, повторить пережитые чувства (Леонид Леонов).

Другие пишут сразу набело, вытягивают строку, как шелковую нить шелкопряда, и уже никогда не возвращаются к тексту, то ли стыдясь его, то ли боясь повториться.

Виктор Астафьев порою писал в день по пятьдесят страниц и более, как бы освобождался от тяжелой сердечной гнетей, а, разрешившись от бремени, годами переплавлял словесный хаос, просеивал от шелухи через частые решета. Шутник и балагур, порою матерщинник, пересмешник и злоязычник, с какой-то однобокой желчной памятью, на письме Виктор Петрович был необыкновенно нежен, чист и романтичен. Он прирос к каждой истинно русской душе своей простонародностью, ароматностью, полнозвучностью слова...

Лев Толстой переделывал тексты по десятку раз, его корявую руку не мог понять никто, кроме супруги. Само писание, чувствование слова, течение мысли на бумаге доставляли ему наслаждение, похожее на любовь к женщине, лошадям, вину и картам. Плодовитость графа во всем была необыкновенна (уже сто лет черновые варианты Толстого - хлеб для вечно несытых литературоведов).

Девиз Олеши: «Ни дня без строчки». Но накуковал лишь два тома.

Василий Белов (по его признанию) садится за письменный стол с чувством неизъяснимой радости.

Александра Куприна жена привязывала к стулу, чтобы он исполнил свой дневной урок.

Кто-то сочинял на ресторанной салфетке, кто-то на лядвии любовницы, кто-то с кокоткой на коленях, в вагонном купе, в горячей ванне, на дружеской попойке, в землянке, перед терактом, на пересылке по этапу, в тюремной камере, в ссылке, «на шарашке», в эмиграции, в шалаше, в Кремле, на супружеском ложе с чашкою крепкого кофю... Магнат и табачный король Александр Потемкин для литературных трудов выстроил дом.

Кто-то пишет лишь первой ручкой, полагая, что все душевное и духовное из груди на бумагу переливается лишь через мозолистые подушечки пальцев. Это наивное заблуждение дает им право смотреть с чувством превосходства на тех, кто работает на машинке или компьютере. Для них это «поврежденные», неистинные литераторы, всего лишь ремесленники (в том числе и «аз» грешный).

Валентин Распутин пишет тонко зачиненным карандашом и настолько мелко, что буковки-блочки его надо прочитывать через мелкоскоп. Они смирны и покорны авторской воле, не скачут и не городят огорожи. Такая манера позволяет, наверное, постоянно держать ум в напряжении, а сердце в узде.

Строка Александра Проханова похожа на кардиограмму и европейские готические башенки.

Мой отец оставил в школьной тетради всего лишь три странички фантастического романа. Почерк каллиграфически-изысканный, этакое писарское летучее гусарство с хвостиками и прочерками. Так зачастую пишет очень страстный, чувственный человек, сознательно утесняющий в себе всякую распушенность и несдержанность. Для него превыше всего «орднунг», долг и честь.

Многие советские литераторы, не имея приличного жилья, писали на кухне, на подоконнике, в ванной, порою и в туалете. Такая прижимала нужда и коммунальная стесненность.

Иные писатели, начиная произведение, знают, чем закончится оно. Вся интрига продумана, отступления от плана незначительны.

Другие же, подхвативши первую строчку, настроившись на небесную музыку, пишут, как Господь Бог направит, и каждое слово у них в лыко, нет никакой промешки и унылых длиннот, а рука спотыкается лишь тогда, когда все сказано и любой звук будет уже лишним, разрушит симфонию текста. Для этого нужен особый, редкий талант, когда ничего не убавить и не прибавить, когда литератор пишет, как дышит, он сродни изустному народному творчеству и обладает природной мерой.

...Я знал одну мастерицу из Вологодской области (к сожалению, запечатывал фамилию), что на краснах (ткацком стане) ткала из тряпок не половики и дорожки, а художественные картины и, держа в голове весь сюжет, тянула месяцами это полотно длиной метров пять, и ей нельзя было ошибиться, что-то подправить, но надо было постоянно держать в голове в мельчайших подробностях не только перспективу, содержание работы, десятки баб и мужиков, деревенскую гулевую среду, в которой идет праздник, но и блюсти природную меру, характеры, поведение, выстривать уличную сцену, а это ох как трудно, если голова гармониста (к примеру) состоит из одного тряпошного кукиша, на который надвинут картуз, но этот кляп из цветной покрывки или лоскута удивительно точно

выражал не только физиономию гуляки, но и его нрав и норов, то сосредоточенное самохвальство и достоинство, кое присуще лишь сельскому музыканту, которого по принятому на деревне обычаю обхаживают все девицы-хваленки. Старушка, бывшая больничная сиделка, стала ткать картины, выйдя на пенсию, в семьдесят лет и скоро так преуспела в своем необычном таланте, что все ее работы разъехались по музеям страны... Помнится, я спросил ее, дескать, как это делается. И она ответила: «Не знаю... Все как-то само собой идет».

Духовная, эстетическая сторона дела необъяснима и непонятна даже мастерице... Я гладил эту картину из тряпок и поражался неисследимой глубине русской души.

Долго можно толковать о писательском ремесле, той самой таинственной кухне, на которой в алюминиевых кастрюлях и чугуниках варятся «шедевры», о которой так любят сплетничать из передней литературы, подглядывая в замочную скважину минувшего, перетряхивать семейный быт, попойки, любовники и любовников, болезни, недостатки, скверность характера, поступки, замысловатые коленца отношени - судачить о всем том глубоко личном, интимном, что вроде бы близко к писательству, может, и прилегает каким-то боком к нему, опосредованно намекая на изюминку в человеке, но, оказывается, никак не раскрывает секрета, происходящего на писательской кухне, всех приправ, качества и аромата «художественного варева». Ибо все это только плотское, телесное, физиологическое, о чем подглядывают, а духовное, душевное объяснению и толкованию не поддаются, ибо в них мало земного, но много небесного, что связано с Богом. Все вроде бы понятно: вот взял беллетрист стило, писало, гусиное перо, шариковую ручку иль окунул стальную «лягушку» в непроливашку, нажал клавишу печатной машинки или компьютера - и чувство, мысль писателя, возникнув в глубине сознания, разродились в виде бегучей строки. Ну и что?.. Суть так глубоко зарыта, что не докопаться до нее, ибо мы не знаем, что такое мысль, где ее жилище, каким образом она одевается в личину, наряжается в словесные образы. И вообще, в голове человека она обитает, иль считается с невидимого экрана, иль нашептывается на ухо? ...А что такое слово?.. Откуда оно берется, где хранится его энергия и куда дается, а может, в небесных «облацах» и озерах скапливается до времени? ...Все ремесло лежит на поверхности, орудия его крайне просты (если нет рук, можно писать и зубами), но и все, слава Богу, необъяснимо, и оттого притягательно, завораживающе, словно блуждаем мы в густом непроницаемом тумане, похожем на свинцовую стену, сквозь которую не проткнуться никогда. Как бы мы ни бились лбом... Мы верно знаем, как зачинается и рождается дитя, но как его судьба запечатана в крохотном семени, каким образом сгущена вся история его вместе с чередой предков, - вот этого нам не поверит никто. И во всем том, что я припомнил о писателях, конечно, больше мистики, суеверий, досуужих причуд и старинных примет, ибо все это лишь крутится вокруг необычных способностей добывать «хлеб духовный», прилежит к ним, принадлежит им, но никак не объясняет их. Случается порою, что талант, этот дар Божий, бывает ниспослан человеку, невероятно скучному, невыразительному во всех отношениях - в судьбе, и облике, и в поведении, и в качествах натуры, такому пресному «человеку в футляре», и как бы ты ни крутил его судьбу, как бы ни вымывал из «глины его жизни» интригующий образ, а получается лишь обычный кухонный человек, приодетый в чужое нарядное платье... Область духа неподвластна нашему пониманию. Где плоть сопрягается с духом, там все неясно, все загадочно. Там религиозная мистика. А мистика - основа правды и сама правда.

Иной литератор напишет одну работу, порою чрезвычайно интересную, как бы вскрикнет, изумясь красоте матери-сырой земли, удивясь своему неожиданному таланту, а после и замолкнет, будто захлебнется горлом от переизбытка напоенного луговыми травами воздуха, и больше никогда не раскроет рта, прозябая длинную жизнь и тайно презирая тех, кто упорно сидит за черниленкой (Андрей Скалон. «Живые деньги»).

...Другой же пишет и пишет, страдает непонятный урок, словно бы впрягшись в ломовую телегу, сам себя изнуряет в тесном хомуте, натирает холку, не видя белого света, заключив себя в добровольную темничку. Борис Бондаренко, уже тяжело больной, затворился в глухой деревнюшке в старую изобку в три окна и, глядя в заилненное от дождя иль занесенное пургою стекло, упорно вершил роман в сто печатных листов и умер за столом от рака за последними его страницами. Что за неволя заставляла спешить, изнурять себя, что за наваждение царевало над ним, кто пригнетал на работу, какая невидимая рука вела и поддерживала его дух в мучительные минуты, когда от боли ссыхалась, изнемогала его утро-

бушка?! Такая судьба была прописана Бондаренко от рождения, и он исполнил ее беззаветно, а другого объяснения не сыскать. Дух и плоть боролись за человека, и нечем, кто кого оборол в этом трагическом поединке... Какое-то роковое, тяжкое, но и победительное заключение жизни...

Пятилетняя девочка Даша, дочь нашей приятельницы, однажды спросила у церковного старосты: «Бог придет?» «Обязательно придет», - ответил он. «Когда Бог придет, то позвоните, пожалуйста, моей маме». - «Обязательно позвоню», - пообещал церковный староста.

Мне думается, что Борис Бондаренко и писал в терпеливом ожидании Бога, может, и чувствовал его присутствие за окнами, на сиротской улице, заросшей топтун-травой, ожидая всем сердцем, когда скрипнет похилившееся крылечко, отпахнется дверь и в пустынное невзрачное жило войдет Он. Затворник опустится перед Ним на колени и скажет: «Господь, я исполнил Твой урок...»

И действительно, вдруг захрустит снег под закуржавленным оконцем, протяжливо вскрикнет набрякающая дверь и вместе с облаком морозного пара появится на пороге жена Надежда с авоськами и сумками, его верный охранитель, ангел спасения...

1.

Откуда выплеснулось такое длинное вступление, вроде бы совсем лишнее, постороннее для моей «книги переживаний», никоим боком не приносящее к ней, не объяснить... Ведь речь-то пойдет о моих родителях, о их любви.

Пробовал начать с описания родовой избы (как и полагается в солидных мемуарах), того гнезда, в котором я однажды вылупился из материной родильницы и открыл на Божий свет глазенки; бабушкин дом стоял в верхнем конце Окладниковой слободки (города Мезени), по улице Первомайской, о край просторного, бесконечного болота, переходящего за речкой Пыей в Малоземельскую тундру. Выпрыгнув из окна, можно было при великом старании убраться по северным моховым палестинам аж до Карского моря, на гибельный край белого света... Так и шли когда-то, будто заворожженные пространством, поморы-землепроходцы.

Зимами родное болото превращалось в слепящее белое море с волнами-застругами, на первый взгляд совершенно безжизненное, мертвое, но мы-то знали, что по зарослям кустарника-еры бегают стайки куроноптей, там шляются лисы в поисках добычи, мечут бисер следов зайцы, выскакивая на поедь из ближних ворг, там шастают волки; под весенним солнцем снег крепчал, оплавлялся, покрывался ледяной броней, хрустящей корочкой-настом, он свободно держал даже взрослого человека, и можно было пройти болотом во все концы света... В конце мая с белыми ночами тундра зацветала, торопливо наливалась зазывными яркими красками, превращалась в цветной радостный ковер, и от него в распахнутые окна наносило сладким хмельным духом канаварника, сихи, голубели, морошки, моховой прели, иван-чая, а чуть потянет ветерок с лета, как сразу же вся травичка оживет, всколыхнется: и шелковистая трава-пушица, похожая на крохотных цыплят, и ярко-желтый зверобой, и фиолетовый кипрей, и осотник, и зонтичные корянки - затрепещет вразнобой, потянется, зазывая нас, детишек, к себе... Но на болоте пока нечего делать, там несытно, бродно для детских ножек, маятно от духоты, мы пока пасемся по свежей пахоте, где плутом вывернуты на белый свет желтые сладкие корешки. А с конца июля тундра - наш выгон, наша пастьба, на ближних к дому кочках мы отъедаемся, толчем в бутылках первую напевшую ягоду, выжимаем сок и, похожие на молочных козлят, днями не вылезаем с болота, набивая животишко лешевой едою...

Кажется, я уже об этом вспоминал... Эти лучезарные картинки раннего детства неотступны, пожалуй, это и есть то самое счастливое у человека, чище и радостнее его уже никогда не случится; это богатство неповторимое и оттого бесценное, немутнеющее, не покрывающееся с годами туском и патиной, не прячущееся по сердечным захоронкам, но являющееся пред очию во всякое время самовольно, чтобы растревожить душу, не дать ей отупеть от обыденки. Вот тут-то мы и спохватываемся вдруг до невольного сердечного вскрика: «Господи, какое счастье мы, оказывается, уже имели, постоянно хуля жизнь свою! Что имеем не храним, потерявши, плачем!» Значит, в детстве Бог помещает человека на короткое время в рай, испытывает его раем, в какой бы скудости ни жил тогда ребенок. Он тогда едва ли выше дудки-падреницы, и мать-сыра земля нянькает его в своей горсти, и солнце особенно радостно проникает сквозь розвесь берез и поросль душистой травички...

Я пробовал начать «книгу переживаний» и с того, как я, малец, чуть выше валенка (мне лет шесть или семь), спешу ноябрьскими густыми потемками в третий магазин, чтобы сменить в очереди бабушку. В канун советского праздника всегда выкидывали муку по талонам, и хотя народ знал, что достанется всем, что в такой малости не обманут, не обидят, не отстайвал всю ночь, терпеливо перемогая стужу и нужу, никак не выражая недовольства. Война кончилась, у кого-то мужики остались живы, уже прикатили с войны, пусть и колченогие и косорукие, но неожиданно новые, заматерелые, непохожие на прежних, вроде бы постоянно хмельные, не только от вина, нет, но от внутренней радости, что перемогли, вернулись в родные дома. И вот они гуртовались у крылечка особь, нещадно паля махру и оббивая сапог о сапог, а мы, приткнувшись подле, напоялись этим запашистым дымом, перехватывали мужичье тепло; остороно стояли вдовы-бабени, запахнувшись в ватные подергушки, всем своим обреченным видом, скорбно опущенными губами старя самих себя (нынешним-то умом думаю: да какие там старбени - жёнки в самом соку, но у кого все будущее оборвалось одним днем с казенной похоронкой, а на руках пятеро-шестеро дитешонок); да тут же смиренно, клюя носом, караулили свой черед старушišки в старинных салопах и седатые старичонки в оленьих малицах: вот и нас, мальцов, на пересменку старшим сбежалась не одна дюжина. Холод предзимний, особенно нудный, железный какой-то, пробирает до кости, дороги уже заколели, выбелились ночной порошей, досчатый тротуар скрипит под ногою, по-за рекой Мезенью сизые облака стогами, обещают разродиться снегом. Все ждут урочного часа, когда стукнет на часах восемь, и тогда изнутри спадут с двери железные засовы-крюки, и народ (те, кто первыми в очереди), побряхтывая и постанывая, будет потягивать дверную ручку на себя, а кто позади, неожиданно накалившись, разгорячившись ожиданием, принажмет в спины, и толпа невольно сожмется в тугой ком теста, которому нет никуда выхода, и так, пошатавшись слитно на крыльце, неслышно воспев: «Эй, дубинушка, ухнем, эй, дубинушка сама пойдет, сама пойдет, подер-не-ем!» - мезенские мешане наваливаются на непокорную дверь и выдавливают ее с петель, отбрасывают, такую упрямую, на улицу и, теснясь в узком проеме, вваливаются внутрь магазина; и я, шкет, среди них, как мышь в валенке, и никто меня не раздавит, не сомнет, ибо неведом почему, я ловок и настырен, ловлю любую щель и, пробиваясь к прилавку одним из первых, отыскиваю взглядом знакомую спину, за кем мне черед... И народ в магазине как-то сразу смиреет, словно из него разом вышел весь пар, никто вперед не лезет, нет уже прежнего напряжения, и, позабыв недавний накал, тайно стыдясь его, уже ведут мезенские мешане вполголоса обыденные разговоры, будто ненароком метая взгляд за прилавком, где дымится заманчиво, сытно белеет в мешках пшеничная мука, где продавщица сует деревянным совком туда-сюда, качаются чашки на весах, стучат гири и гирьки... Как бы отбивают радостную барабанную дробь: «Скоро праздник, мама наладит печиво, да и в каждой избе заведут стряпню, и пирогами да шаньгами, сытным духом жилого теста тогда пропахнет вся мешанская слободка...» Ну, а пока два кило в руки на живую душу - и отходи в сторону, не маячь, не засти света. И, как помнится, сколько бы раз ни выкидывали праздничную норму, каких бы крепких новых дверей ни выставляли в магазине, оковывая железными полосами, каждый раз их разносили, порою в щепу... А потом отменили продуктовые карточки, хлебную норму, и ночные стояния за мукою и сахарным песком скоро ушли в воспоминания...

Но и этот зачин я отставил, почему-то полагая, что речь должна идти о родителях, и, значит, надо сразу брать быка за рога, а не волынить вокруг да около, делая прямое кривым. Но я вот все о себе да о себе, о своих переживаниях, но если о них опять же не поведать, на чем и настаивается бродиво жизни, если не вспомнить о таких мелких детских страстях, то и судьба родителей никак не вывяжется, ибо она, уже отлетевшая в небеса, отраженным светом живет только в моей еще не остывшей душе...

Наверное, лучше бы начать сразу с писем. От отца остались велосипед, гитара, гармошка, патефон и сотня писем. Велосипед был единственный на весь нижний околотов, и все мальчишки научились на нем кататься сначала без седла, привязав к раме подушку или кацавейку, и можно было лишь удивляться прочности и долговечности первых советских вещей. Гитара с развесистым алым бантом недолго висела над кроватью и куда-то незаметно пропала, не потревожив моего сердца. Гармошку мама обменяла на хлеб. Патефон же крутили много лет, это был единственный безотказный музыкальный инструмент, на котором умела играть вся наша семья. Патефоном и большим набором пластинок в специаль-

ном ящичке мы дорожили, скрашивая песнями Руслановой унылую скудость будней, а когда я подрост, то пластинки послужили мне подспорьем. Я проводил пересортицу музыкального «хранилища», ребячьим вкусом и смыслом соображая, что нужно хранить в семье, чтобы беречь длинные вечерами сердце, чего может вдруг хватиться мать (и слез тогда будет не убраться) и пропажа чего останется незаметной. Поначалу взялся за набор пластинок с речами Сталина; разбивал их молотком и относил в скупку «вторсырья»... «И чего их хранить?» - думал я, беспечно вслушиваясь в бесконечные аплодисменты, бульканье воды из графина, хриплые, с акцентом скупые слова вождя. Переставлял другой стороной - и снова бурные аплодисменты... Какое богатство зря пропадает. А пластинки - тяжелые, весу в них много. Килограмм пластинок стоил четыре рубля, этих денег мне хватало на кино и кулечек слипшихся монпансье. Потом перешел на оперы и симфонии. Шли на списание Чайковский, Глинка, Мусоргский и вся «Могучая кучка». Пластинок было так много, стояли они в специальных жирках так тесно, а уловистый «промысел» мой был так вкрадчив и неприметен, что мать, наверное, и не догадывалась о их пропаже. Вот ведь как получается: отец собирал, не думая о выгоде, но о красоте жизни, а непутный сын разбазаривал...

Письма же хранились в «думке», выпитой розанами наволочке, и лежали в верхнем ящичке комода. Они никогда особо не занимали меня, хотя с малых лет примелькались, были всегда на глазах, сопровождали все мое детство, их было поначалу, как я понимаю нынче, куда больше, мать тоже проводила с годами свою «пересортицу», чтобы чужой взгляд не оследился на сердечных сокровенных тайнах, дорогих только ей, и не вывернул бы их изнанкою. Иногда, когда не было матери, я доставал письма из комода, шерстил, иное выдергивал из пачки наугад и безразлично прочитывал накое, если останавливала взгляд какая-нибудь картинка или завитушка, нарисованная цветным карандашом, ибо «отец» - это было нечто отвлеченное для меня, бесплотное, вроде бы и не бывшее никогда, словно бы я был «сколотным», безотцовщиной, выткавшись сам по себе из болотного прямого воздуха, из гибельных моховых павн или болотных бездонных озер, маревящих в ясный день над тундрой и как бы приколоченных к небу. Дней рождения в семье никогда не справляли, будто матерью на этот день была наложена крепкая печать, чтобы не травить сердца, и дня гибели отца тоже не знали. Он словно бы однажды убежал, кинул семью, скрылся в неизвестном направлении, а может, завис меж небом и землею, отлучившись на время, и вот мы ждем его, а его все нет и нет. ...А потом и ждать перестали, и вспоминать...

Но с годами отношение к письмам менялось, прорастало любопытство к тайнам родителей, ведь они не были назначены чужому взгляду. У матери в комоде хранились про запас две «осьминки» махры, желтой, крупичатой, терпко, «вонь-ко» пахнущей табачиной. Махоркой мать травила колонии клопов, когда наклеивала новый слой газет. Я открывал заслонку в печи, скручивал толстую «козью ногу», запаливал и, заслонившись едкими клубами дыма, ложился на материну пружинную кровать с никелированными шарами, закидывал нога на ногу и раскрывал пожелтевшую, поистертую на сгибах «отцову почту». Как-то выудил, запустив руку в наволочку, конверт, в нем оказалась буква «Т» из наклеенных марок, под нею стихок:

Получил письмо от Тоськи

И обрадовался я,

Потому что, дорогая,

Не забыла ты меня...

Без луны на небе мутно,

А при ней мороз сильней!

Без любви на свете трудно,

А любить еще трудней.

(28.4.40 г. Ржев)

В убогой комнатенке сумрачно, тихо, в другой половине дома у дяди тоже все на работе, окна призаветаны морозной кружевной броней, от багрового вечеряющего солнца мохнатые узоры на стеклах вспыхивают сполохами, над комодом, откуда я достал письма, большой портрет отца в черной раме, отец играет на гармонике, у него высокая шапка черных волос, толстых, как проволока, темные глаза, толстые губы. Я совсем не похож на него, внешне он совсем чужой, во мне много от матери и дедушки Семена. Сквозь горьковатый, щиплющий глаза дым, заставший комнатенку, отец вглядывается на меня с укором и вместе с тем жалостливо, отчего на глаза наворачиваются невольные слезы. И кажется, что и отец тоже плачет вместе со мною... Может, в эти минуты что-то отзывистое и

ворошится в груди, но как-то мельком, непамятно, скользом, не задевая души. Я весь пока в блазни, весь в запрещенном взрослом мире, я воровски курю, валяюсь на материнной кровати, и от того, что я творю грешное, запретное, мне особенно сладко в эти минуты... Мне скоро тринадцать. Старшие брат с сестрою уже съехали учиться в Архангельск, младший братишка Василек в яслях, мать на работе. Сумерки густеют, бледнеют сполохи на окнах, комнатешка съезживается, как шагреновая комната, вроде бы покрывается паутиной, рубином вспыхивает махорная скрутка. Я жмурюсь от дыма. Невольно шарю взглядом по житышке и ничего нового не нахожу в нем. Та же печь-голландка с занавеской у запечка, там сохнут катанки и носки, стоит баночка молока на простоквашу, сразу за кроватью рукомойник с тазом за ситцевым легоньким прикровом, в переднем углу возле окна черная тарелка репродуктора, в правом углу висит на гвозде мохнатая елка, которую я притащил с ворги. Поставить некуда, настоль тесно в боковушке, и я приторочил развесистую елку к потолку. Она грузная, ее кусачие изгибистые лапы готовы полонить все живое пространство. На елке густо навешано самодельных игрушек из цветной бумаги, гирлянды флажков и бус, которые я мастерила всю неделю пред праздником. Есть и несколько блескучих легких шаров, покрытых изморосью, они тоже остались от отца. Так сказала мать. Есть в комнате круглый стол, швейная ножная машинка и комод. На комод - зеркало, шкатулочка из папье-маше палехской работы, несколько слоников и розовая насмешливая свинья-копилка, дожидаящаяся своего часа. Махорный терпкий дух изгоняет из холодеющей избы даже праздничный запах еловой смолки. Возле печки лежит беремце ольховых дровишек, источающих слезку. Время подкатывает к четверем, я часто прислоняюсь к боковому зальделому оконцу, соскребаю ногтем мохнатый иней, дышу ртом, чтобы вытаять проталинку-глазок. Скоро в просторе улицы должна появиться мать в почтовом темно-синем пальто, и по тому, как спотычливо пробирается она узкой стежкой в глубоком снегу, насколько изгорбится, накренится под тяжестью сумки, я стану угадывать, словно полоротый птенец, с чем попадает наша кормилица домой - с пустыми руками или тащит домой съестного. И настроение как-то скоро меняется от сполошливой радости до глубокого уныния. Сегодня на почте для детей должны давать праздничный гостинец, в нем может оказаться шоколадка, кулечек конфет, горстка печенья и парочка пряно пахнущих корицей и ванилью хрустящих козуль, которые мы с братцем, конечно же, сразу не прикончим, а подвесим на елку, и вскоре же, с часок промедлив, станем откусывать и отламывать по крохотному кусочку, чтобы продлить наслаждение.

...Дальше этого мое воображение не убегает. Я прибираю вымятую кровать, изгоняю махорный дым из комнаты и узких темных сенцев на волю, соображаю, чем бы умягчить настроение матери. Ага... Дровишки нарублены, воды полная кадца, заулочек от снега вычищен, и сугроб под окнами уже подпирает скат крыши...

Дети не знают страданий, и потому их неразвитая душа в самом зачине свернулась клубочком, как слепой кутенок. Они живут, как небесные птицы, не зная судьбы и рока, они вечны, как ангелы, и оттого бессознательно жестоки и часто бессердечны к близким, не понимая суровости жизни. Дети полагают, что родителям все достается легко, они никогда не устают, не знают печали, никогда не увянут и не выстарятся.

Много лет я не брал в руки отцовскую связку писем; бумаги, ветшая, кочевали по родичам из рук в руки мною совершенно неценные (обычная житейская переписка, как полагал я в юности), их хранила судьба именно для меня, чтобы через много лет перекочевать из сутемок прошлого, из того старинного утекшего времени, когда меня еще никто не ждал. Как странно устроено в природе: человеченки вроде бы еще нет и в зачине, он где-то в космосе живет крохотной зернишкой, но он уже и есть, никем не знаемый, ненамоленный, как бы всем лишний, нужна лишь воля Бога, его попущение и благословение, чтобы из живого пульсирующего семени выклюнулся тот, кого позвал белый свет, кому нестерпимо захотелось глянуть на него глазом и возопить от ужаса случившихся перемен и восторга: «Я пришел!» Дитя рождается не тогда, когда задумано отцом-матерью, но когда он сам решит появиться, и Господь, услышав его просьбу, дает на это свою волю... Ведь так раньше и говорилось: «Бог ребенка дал». Считалось великим несчастьем, если детей в семье не получалось, и тогда жизнь была не в радость, годами вымаливали ребенка у Господа, страдали ночами перед иконами на коленях, били поклоны, задабривали посулами, ходили по монастырям по всей России и к знахаркам-травницам, давали Богу обет, а в церковь - приносы, просили

старцев, блаженных и юродов молиться во здравие. (Царь Алексей Михайлович был вымолен преподобным Елеазаром Анзерским). В народе говорили, дескать, за грехи тяжкие прилучилось с бабою такое несчастье - запечатал ей Господь плодильницу... И грехом великим, непростимым считалось в народе насильно освобождаться от плода, убивать его в утробе. «Где пятеро, там и шостому найдется кусочек на пропитание. Где гриб родился, там и пригодился. А кто извел дитяти, не попустил на свет Божий, тому век счастья не видать».

Вот и я-то, казалось бы, не больно и нужен был хворающей матери, как бы выскочил преж времен, без всякой задумки, но отцу появился в радость. Получив телеграмму, уже следующим днем пишет он на Мезень: «г. Ржев. 14.3.1940 г. «Милая Тоська, поздравляю тебя с рождением дорогого для нас сына Вовки. Я несказанно рад, что все, дорога, обошлось благополучно! Наконец кончились твои страдания! Конечно, не все, ведь еще Вовки большого нет с тобой, но его теперь будет заменять маленький Вовка. Теперь желаю тебе, моя крошка, набираться сил для дальнейшей жизни. Целую моих милых крошек Ритенку и Генюську...» (Письмо раскрашено цветными карандашами. Нарисовано алое сердце). И далее сбоедельные стихи « ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ТОСЬКИ».

Тонюське!

Тонюську дорожую
Послушать я готов.
Табак курить не буду
И буду я здоров.
Теперь, моя любимая,
Дела пойдут на лад.
Спасибо, моя крошечка,
За вкусный шоколад.

После разлуки с Тоськой
Все думы в голове
О жизни дружной нашей,
О детках, о тебе.
Теперь тебе, голубонька,
Так тяжело без меня,
Но будет это времечко,
Прижму к сердцу тебя.
Прижму и расцеую,
Мой цветик золотой!
И будем жить мы весело,
Любимая, с тобой...

Время коварное мчится,
Оно безразлично к судьбе.
Но все мои мысли, желанья
Направлены только к тебе...

Что ни день - разлука больше,
С каждым днем свиданья близок час,
Будет время - будем жить мы вместе,
И никакие силы не разлучат нас...

Нынче я понимаю, как дороги (драгоценны) были письма для моей матери, и единственное, что связывало ее с прошлым, делало жизнь долгой и непрерывной, - эти вот пожелтевшие листки бумаги с буквицами, выведенными каллиграфическим писарским почерком. Сохранились не просто послания из прошлого, но была жизнь, пусть и похожая на сновидение, из которого трудно выдираться в явь, ведь этот сон был куда радостнее, краше, полнокровнее, чувственнее затрапезного глухого быта вдовичицы.

Война со всем ее трагизмом, с ее миллионными потерями оглушала мое сознание, но как-то особенно не трогала души, ибо то были чужие несчастья в далекой стороне, невидимые слезы, неслышимые стенания, отвлеченное горе. Умом-то я принимал, конечно, величие и громадность русской жертвы, но те беды случились где-то, война прошла палом по чужим, невидимым судьбам, я не видел облика погибших, не знал особенного характера, они все были как бы на одно лицо. Но, прочитав письма отца, часто сентиментальные, семейные, житейские, я вдруг

понял через жизнь моей матери невосполнимую, неизъяснимую утрату, весь истинный, скрытый глазу ужас войны, который с поля сражения перетекает в дальнюю деревеньку, во вдовый дом, когда с приходом похоронки разом зачеркивается все будущее. Если горе одной лишь женщины (моей мамы Тони) было таким глубоким, то каким оказалось общее горе всех русских вдов?! Если сложить его воедино, то, пожалуй, достигнет оно седьмого неба и упрется в хоромы самого Господа Бога.

...Духовное от бесконечных переживаний, может, и навастривается, обостряется, страдания выделывают нового человека, душою уже мало похожего на прежнего, но душевное, сердечное, мимолетное, с их охами-вздохами, радостным ойканьем и ночным шёпотом, плотским томлением, короткими праздниками любви, пирогами и застольями, встречами-проводжаницами, совместным любованием детьми и устроением их судьбы вдруг в один миг уходит в прошлое и запечатывается там навсегда. Оказывается, жизнь человеческая от рождения до ухода и сочиняется из всего самого будничного, неприметного, душевного и сердечного, что при ровной счастливой жизни обычно и не замечается нами...

2.

До того, как дядя Валерий (Валерушка) женился, у нас были общие сени. Зимой - студеные, гулкие, летом - прохладные, в сенях висели и стояли шкафы, где держали съестное, провиант, муку, и сахар, и крупы, стояли ладки с рыбой, и тут же бабушка хранила печиво. Дверцы закрывались на вертлюжок, и то, что на них не водилось замков, особенно приманивало меня, огорая. Бабушка любила стряпать «каждодневное» по субботам и сдобу по праздникам, а хранила печеное на полках, и я, пошатавшись на улице, приоткрывал украдкой дверку, высчитывал, сколько на тарелке ягодных шанежек, вытаскивал одну и выметывался на заулочок. Но эти ватрушки были такие маленькие, почти крохотные, такие вкусные и ароматные, они так незаметно и ловко, даже не коснувшись языка и неба, проskalзывались в мою заячиную утробушку, отчего-то не насыщая рахитичного тельца, они были такими воздушными и бесплотными. что вызывали лишь сердечное раздражение и сладкое восхитительное воспоминание. Бегаю на улице, я неотвязно помнил о их присутствии, и эти картинки настойчиво преследовали меня: что в шкафу хранится так много печеного, и пока меня нет возле, шанежки, конечно же, выставят на стол к самовару какой-нибудь роднице-гостье и тут же все подметут, позабыв про меня. Полчаса не проходило, как я, сдерживая дыхание, снова прокрадывался к заветной полке. снова пересчитывал остающуюся стряпню, откуда-то снизу выколупывал шанежку (мне казалось, что никто не заметит моей проделки) и торопился на волю... Бабушка - великий эконо, строго ведшая семью через увалы военного времени, выдававшая к чаю «рукодано» по глызке сахара и кусманчику хлеба, когда мы не смели протянуть самовольно руку к тарелке, конечно же, все видела, ибо у нее каждая ватрушка была на счету и так хитро уложена горкой, что всякая корочка была видна с тарелки своей завитушкой, но, зная о моих проделках, ни разу не указала, не пригрозила и не пристрожила, не обозвала воришкой, постоянно прижимая меня, безотцовщину, считая за своего неумышленного ребенка, которого Бог дал ей вместо погибшего сына Владимира...

Братцы мои, жизнь укатилась, а все стоит перед глазами и эти гулкие сени с окрашенными полами из толстых плах, и лестница на темный чердак, где под крышей среди шуршащих веников и качающихся сетей с наплавками и глиняным кибасем, принакрывшись густой паутиною, обитают дед-доможирко со своей бабой-доможирхой, и эти настенные ящики, столь приманчивые для меня, мальца, вечного прожоры, и дверь в бабушкину половину, обитая холстами и ватными жгутами для тепла... Та дверь вела в кухню с присадистой русской печью. где бабушка с дедушкой спасались от зимней стужи и где несколько лет проживал я; из кухни был ход в просторную (так мне помнилось) горницу, тесно уставленную фикусами, чайными розами в кадках, геранями и столетниками, и когда белые и красные розы густо расцветали, то комната походила на летний сад. Цветами занимался дядя, к ним он имел неискоренимое пристрастие...

...В то время, как я лежу на материной перине и бездумно «фукаю» махоркою е потолок, загибая кольца, я уже не живу на бабушкиной половине; года четыре назад, когда дядя решил завести семью и оплодотвориться, меня отвели назад к матери. В прежние годы в стене, где нынче стоит комод, а над ним висит портрет отца, была дверь в нашу боковушку; того времени я помнить не могу, ибо лежал е

люльке и «чукал» тряпицу с хлебным мякишем. Когда мать была на службе, бабушка через эту дверь унесла меня к себе вместе с окуртками. Мама постоянно болела железами, после каждого родов у нее распухала и гноилась шея, в таком состоянии да работая на почте письмоноской, волоча на себе тяжеленную брюхатую почтовую сумку за крохотные деньги, она не могла тянуть нас троих: старшей, сестрице Рите, исполнилось восемь, братцу Генриху - шесть... Вернувшись с работы и найдя зыбку пустой, мама горестно порыдала, повздыхала, выбрала свекровь за ее «дурной» поступок, но тут же и отступилась от меня. Так, еще бессмысленный, я угодил в бабушкину семью, и казалось, что навсегда. (Об этом я уже вспоминал в очерке «Путешествие в Париж».) Бабушка стала моей матерью, а настоящая мама на несколько лет - просто соседкой, родницей, чужой сердитой теткой с двумя детьми, живущей по соседству...

С того времени дверь заколотили, и семья наша совершенно обособилась. Стало понятно, что отец, которого ждали восемь лет, уже никогда не вернется.

Теперь о бабушке Нине Александровне. Она была из рода Петуховых, видом цыганская, с черной густой волосней, губастая, носастая, с темно-кариыми глазами, с торопливой походкой, крикливая и неутомная. Ее сестра вышла замуж за купца Мельникова, их сын (двоюродный брат моему отцу) после учебы в столице выслужился до генерала медицинской службы и академика, его сыновья тоже пошли по ученой части, один стал знаменитым онкологом, а умер от рака, другой - директором Пулковской обсерватории, правнучка - актрисой. В нашей семье жила легенда, что бабушка Нина выплакала глаза по погибшему сыну, но на самом-то деле, судя по переписке, она стала слепнуть еще до войны и ездила лечиться в Ленинград к своему племяннику-генералу. (В семье Петуховых, наверное, были одни девицы, и фамилия скоро перевелась, перелив кровь в другие мезенские роды).

Когда я жил у бабушки, она еще видела на один глаз и бойко вела дом. Дедушка Петр Назарович - из рода Личутиных (Назаровичей), у него было шестеро братьев, все они состояли по департаментам полиции и почты, были мелкими служащими и далеко по образу жизни отошли от жизни своих предков Личутиных, известных промышленников-мореходов, ходивших на Новую землю и в Норвегию. Фамилия перешла в сословие чиновников с мещанским укладом - с фикусами и чайными розами, с темными салопами, кофиями в самоварах, любителей городских романсов, наливки, моченой морошки и брусники, печеных сивов, мало-солной семги и домашней выпечки...

Войдя в семью Назара Личутина, бабушка сразу породнилась с огромным поморским родом. Тогда-то они и поставили свой домик в пять окон в нижнем конце Мезени о край затажного болота, завели коровенку, овец, получили свой покос на сухом веретке за ручьем: весь берег по краю заливной покотины бы уже застроен. Петр Назарович тоже служил на почте письмоводителем. Ростика небольшого, сухонький, с короткой стрижкой и усиками, скулы в мелкой серебристой щетинке, в аккуратном мундирчике, с шаркающей неторопливой походкой, он до конца жизни походил на гимназиста. Такая «казенная мышь», необходимая во все времена для ровной жизни любого государства, исполнительная шестереночка в его огромной неповоротливой машине.

Утром дедушка чинно, слегка пригорбившись, неторопливо двигался хлипкими мосточками, обросшими травой-муравой, на работу, и соседи, не глядя на часы, знали, что времени без пятнадцати минут девять; днем приходил на обед, а вечером возвращался домой, и все верно знали, что на часах пятнадцать минут седьмого. Петр Назарович не изменял своей привычке до шестидесяти лет, пока служил. Соседка Паша Шаврина, словно не было для нее других дел или какая нужда припирала, обязательно выбегала с поганым тазом и ведем и, вышлеснув со взвоза грязную воду из-под рукомойника, сильно припадая на левую ногу, мчалась мимо соседа к болотной яме, чтобы, поди, в десятый раз за день вышоркать помойную посудину тряпкой и осотою... Петр Назарович невольно призадерживался, вздернув кудые бровки, недоуменно смотрел вослед серыми тесно посаженными глазенками, как хромоножка с высоко подоткнутым подолом юбки, сверкая белыми тощеватыми лядвиями, словно лихая кобыленка, обдав соседа паром из ноздрей, мчит босая по болотным кочкам, осень ли то, иль морозное утро (к Паше Шавриной я еще вернусь)... И, ничем не выразив недоумения, также неторопливо следовал дальше, затянутый в узкий почтовый мундирчик.

Я не знаю, был ли дедушко подкаблучником, гонялся - нет со шваброю за своей неутомной супругою Ниной Александровной, изменял ли ей когда, но голоса

его, тихих повадок, нравоучений, которые должны были быть ко мне, когда я, сорванец, обитал в их семье, я совершенно не запомнил, словно бы дед неслышно, ровной походочкой проскользнул мимо моей памяти. С невесткой (моей мамой) в пререковы он никогда не вступал, не зубатился, не грозил нервной снохе, а все молчал и молчал, но и не заступился ни разу, когда совершенно испортились отношения с дядей Валерушкой, видно, по природной робости своей (или равнодушию) не хотел принимать ничьей стороны. Его по болезни еще до войны вывели на пенсию, но пособие было куцее, и Петр Назарович вернулся на службу, неумолимо увядая плотию, как сухостоина в бору. Мне же казалось, что дедушка вечен и все в нем неизменно от форменной одежды, которую он донашивал, до привычек. Но все труднее становилось выскабливать щеки бритвою, и седая щетинка уже не сходила со скульев. Младший сын не замедлил обрасти детьми, и бабушкина половина, казавшаяся мне такой просторной, вдруг оказалась тесна, и тогда стариков решили отделить, перестроив просторные сени в комнатенку. И вдвоем семье тоже сердито зажали, совсем заузили ее жилое пространство, выкрав на улицу лишь узкий темный переход. Работников дядя не нанимал, строились сами, в оконце было видно, как неумело тесали они бревна, отдирали топорिशком щепу, а потом, впрягшись в постромки, волочили сырые деревья за дом, где прирубали новый вход и стайки для овец. Дедушка тогда был уже совсем стар, почтовые синие брюки плескались на худых ножонках, как занавески с оборками, когда, напрягая узкие плечи и морщиноватую серую шею, по которой сбежали короткие серебристые волосенки, дедушка впрягался в ярмо, упорно раскачивал по земле комель, чтобы сдвинуть бревно с места. Ну просто муравьишко, что тащит соломинку в общий груд!.. Но тут к старику подстраивался сын, напругал спину и широкий зад, загрюк Валерьюшки наливалась багрецом, и родичи скоро скрывались в заулке, оставляя в траве жирную рваную борозду... И уже там, на задах, тыкали топором...

Дядя Валерий был вылитый отец Петр Назарович, только размерами крупнее, иной выпечки и выделки: лицо гладкое, ровное, как бы отшлифованное, с прижатыми ушами, тонкими губами, с короткой прической «полубокс» и близко посаженными глазами. Соседка - хромоножка тетя Паша, злоязыка сплетница-переводница и вместе с тем сердечная, добрая женщина, примерила ему прозвище Огурец и как приклеила, так точно списалось оно с натуры... По правде говоря, в Мезени никто без кличек не ходил, порою они бывали и обидные. В нашем верхнем околотке жили Клопы и Комары, Ворзи, Кути, Херовичи, Мандели, Манькины и Малашкины, Пекари, Батькины, Соболи и т.д. Многих я уже и не упомяну... Каждому человеку была приклеена особая отличка, словно бы без нее сосед мог затеряться на миру, остаться неузнанным. Если одну большую ветвь дерева Личутиных звали Назаровичами, то Валерий Петрович, будущий почетный гражданин родной Мезени, заимел прозвище Огурец. Может, и обитало-то оно лишь на нашей Чупровской улице и на Советский проспект не вылетало, а может, и знали, но не упоминали при нем, ибо неловко было низить известного в городе человека, что служил библиотекарем в райкоме партии... Прозвища считались пережитком, с которым следовало бороться...

Сцена на заулке, как тащат бревно старик с младшим сыном, прочно, живописно осела в памяти и невольно послужила причиной повести «Бабушки и дядюшки», где главный герой Федя Понтонер строит бомбоубежище, чтобы спастись в грядущей атомной войне. Повесть была вроде бы написана совсем о другом, и странно, что, случайно прочитав ее в журнале «Дружба народов», одна родничка из Архангельска «услужливо накатала телегу» Валерию Петровичу, дескать, «племянник изобразил тебя в повести в весьма неприличном виде».

И, наверное, через год встречаемся в Мезени, дядя попадает мне навстречу возле милиции, и никак нам не разминуться, не разойтись. Угрюмый взгляд близко посаженных глаз еще пуще сбежался к носу, и казалось, что дядя не увидит меня, проществуя мимо, да и я вдруг почувствовал неловкость и вину, вспомнив героя повести Федю Понтонера. Я забежал по сторонам взглядом, мне захотелось тут же провалиться сквозь землю, только бы не столкнуться с родичем, но досчатый щелястый тротуар, густо обросший лопухом и крапивой, не желал опрокидываться. Дядя совсем не изменился, только раздобрел на тихой райкомовской службе; он внезапно задержал шаг и, уставя на меня порошины зрачков, с глубокой обидой в голосе скрипуче выдавил: «Владимир, ты почто выставил меня таким идиотом на весь мир?» Я сделал наивные глаза, будто не знал, о чем идет речь, и возразил: «Валерий Петрович, вы просто не так прочитали. Это не вы, это литературный образ...» На это дядя ничего не ответил и пошел дальше, но «Федя Понтонера» не

мог простить мне до самой смерти. Помню, как через четверть века зашел в дядину половину, чтобы расспросить о моем отце. Валерьюшка, высохший весь, обструтанный старостью, теперь вылитый батюшка Петр Назарович, с незамирающей обидой сказал, как отрезал: «Твоего отца я совсем не знал... Брат ушел в армию, когда я был совсем ребенком (а ему было тогда восемнадцать лет), - и вдруг совсем не к месту, злорадно добавил: - А вы знаете, я много занимался в архивах и акта о бракосочетании брата и вашей матери не нашел». Странно было слышать эти слова от старика. Он зачем-то поставил под сомнение их супружество...

Через два месяца дядя умер. Я попросил у родственников почитать письма моего отца к родителям, их наверняка сохранился не один десяток. Сын Женья ответил, что всю переписку Валерий Петрович сжег перед смертью...

Если размышлять о корнях, о родове, то, пожалуй, в отце моем мало что отслось от Личутиных. Но от бабушки, наверное, перешло все или почти все и в наружность, и в характер...

3.

Шесть лет назад судьба послала мне вестника, а я в пылу торжества, весь разгоряченный, с туманной головою от похвальбы, едва расслышал глуховатый старческий голос посланца в людском гомоне, похожем на птичий сполошливый грай, и тут же позабыл его в суматохе юбилейного столпотворения. У меня словно зарево вспыхнуло в голове, и так мучительно обожгло сердце, и я, растерявшись, уводя взгляд в сторону, не зная, о чем спросить, что-то вяло пробормотал - так все случилось странно и неожиданно. А тут еще публика терзала вопросами, улыбками, просьбами, «растаскивала меня по частям». Мне бы хоть телефон спросить иль адрес, чтобы после связаться. Значит, я внутренне, сердечно, душевно и духовно еще не был готов к встрече с прошлым. А старик смущенно поклонился и, чтобы не отвлекать от торжества, торопливо растворился в толпе. И я тут же забыл о госте из минувшего времени... Да, я после старался что-то припомнить из встречи, старик, кажется, сказал, что звал моего отца накануне войны иль служил с ним действительно, а потом разминулись на войне. Все вымелось из моей пустой головы, как бы выдуло сквозняком. Иль наснилось? Иль привиделось? Да нет же, меня действительно разыскал посланец отца, которого я никогда не видел, и оттого мне трудно представить, каким бы вдруг он явился, мой отец, из нетей долгого забвения, а я бы, конечно, не признал его в высохшем согбенном старичке с темным морщинватым лицом, сивой прядкой волос надо лбом и печальным выцветшим взглядом. Я ведь вздрогнул тогда от какого-то мистического ожидания, что внезапный гость вдруг скажет сейчас, что ваш отец жив, я знаю, где он, и отведу к нему... Это Господь протянул мне прядено клубка, а я небрежно оборвал его...

Но, слава Богу, с годами что-то непременно ворошится в человеке, в нем происходят незримые перемены. Нельзя сказать, что он становится внешне лучше, красивее, ибо годы потрошат, как рыбину нож, сбивая серебристый клец и живой благородный лоск; порою от человека остается одна «стень», лишь тусклое отражение от прежнего - так весь вылиняет. А к чему, любезные, расшаркиваться и выписывать словесные кренделя, достаточно приблизиться к зеркалу и взглянуть в свое постное изрытое рыло... Но ведь когда я был гладкий и розовый, как поросенок, меня не преследовали мысли об отце, и надо было случиться, чтобы шкурка потрескалась и покрылась шелухой, и тогда лишь душа застонала и из нее запоточило слезою. Боже мой, подскажи, как там родитель мой?! И так захотелось вызволить его из небытия, выставить перед собою живым.

Да тут еще сестра, как бы предчувствуя скорый конец, прислала прощальную весточку, где просила «написать роман о необыкновенной любви отца и матери». Невольно пришла на ум наволочка с письмами, я стал хлопотать о них, и со всякими проволочками переписка из Мезени попала ко мне. Я взвесил посылку в руке, еще не понимая ее ценности, словно бы определял лишь вещественную тяжесть, но сердце мое вдруг вздрогнуло от непонятного страха, и я, не распечатывая, сунул письма «в долгий ящик». И лишь через год решился прочитать. Помнится, я даже приневолил себя раскутать старое кружево, когда-то лежавшее на швейной машинке, в котором нынче хранились бумаги. Когда читал, неоднажды мороз пробежал по коже и каждая строка поворачивалась новым, глубоким смыслом, с нее как бы отряхивалось мелкое, житейское, чему мы по обыкновению иль не доверяем, иль предаем ухмылке. Боже мой, какие страсти таились за

полунамеками, за полужразами, неистовство чувств, близкое к безумию, вспыльчивость и нежность! Время пошло вспять, и я увидел отца. Сестра оказалась права.

Письма у матери всегда были под рукою. Зимой при свете моргасика, крохотной коптилки, «сварганенной» из аптечной бутылочки и круглой железки от перьевой ручки, куда был просунут шнурок или скрученные хлопчатые нитки, - так вот, при свете этой коптилки, отбирающей от темени лишь тусклый круг возле стола, она доставала письма из верхнего ящика комода и придирчиво перебирала, наверное, пересчитывала, не делась ли куда весточка, ибо мы, несмышленные и коварные младени, в отсутствие мамы на свободной стороне письма безжалостно оставляли свои карандашные каракули, будто эти армейские треугольники назначались назад к отцу. Прятать их было бесполезно: лишь возбуждался особый варварский интерес.

Также напрасно было прятать сахар. Сахар выдавали на карточки «глызами», похожими на голубоватый искрящийся сладкий камень. Если его долго лизать, то губы склеивались и вся мордашечка превращалась в липкую замурзанную карамельку, куда были вставлены хитрые близко посаженные «глазенапки». У бабушки Нины стащить сахару было трудно, даже невозможно, ее секретные тайники и погребцы не знал никто; перед чаем она добывала из-под фартука сахарную «голову», сверкающими щипчиками откалывала всем (детям и взрослым) по осколку и давала «рукодано». Если в доме заводились монпансье или полосатые подушечки, спаявшиеся в медовый ком, то бабенья благословляла конфеткой, сама умудряясь с одной карамелькой выпить чашек восемь чаю и почти непотраченную сладость, слегка погрызенный с одного бочка кусочек, оставляла на блюде до следующего самовара. Бабушка Нина имела в доме власть «тираническую», пока не женился дядя Валерушка, и перечить ей никто не смел. Каждое чаепитие имело свои традиции, и их следовало соблюдать. У матери же в семье (куда вернули меня), несмотря на ее капризный, порою и вздорный характер, было куда больше воли, вернее, во всем соблюдалась свобода; не хотела, да и не умела нас ущемлять в самом малом, чтобы мы потешили детскую утробушку. Помню, как прятала она месячный сахарный паек на печь-голландку: я сооружал подобие эшафота из табуретки и поленьев и, рискуя разбиться, доставал узелок, похищал «глызу» и смылся на улицу. «Сладкая мышь» завелась в нашей боковушке, и ее не мог поймать ни один материн «капкан». Она прятала сахар в снях, на чердаке, под кроватью и под периной, в комод, на чердаке под сеном, а однажды решилась схоронить в окованном железными полосами сундуке. Сундук был ее единственным приданым, приехавшим в городок из родимой деревеньки Жерди, и напоминал о рано умершей маме Марии (моей бабушке по материнской родове). Ключ неисповедимыми путями, мальчишеским ищейным нюхом я отыскал - блестящий, с витой головкой - торопливо, прислушиваясь, не идет ли мать, просунул в ушко толстый гвоздь, надавил, что-то курлыкнуло в скважине, и надо же, хоботок в прорези хрустнул, свернул себе шею, и ключ застрял в замке навсегда. Видит Бог, я был ни капельки не виновен; насколько красив, изящен и загогулист был старинный стальной ключ, настолько оказался он слабенеком в детских ручонках.

Это случилось весной, когда на взгорках за городскими воротами, за скотиньими дворами и меж прясел местами уже проклюнулись жидкие проталины, но на полях и луговинах еще толстой зыбкой периной лежал сахаристый снег. Чужа неизбежное наказание (вернее, предполагая его, но сердцем не веря ему), я, босой, помчался по снегу на угор, только пятки засверкали, а мать, потрясая ремнем, кричала в сиреневые сумерки: «Вовка, вернись, а то заперю!»

С того раза мама, увидев бессмысленность занятия, перестала прятать сахар, но и во мне внезапно пропал к нему всякий интерес. Значит, телесный мой состав перешел в новое качество. Наверное, ему захотелось табачку.

Эти невинные проказы, эти детские шалости были столь несерьезны по нынешним примеркам, что ничего не вызовут у читателя, кроме улыбки, но в том послевоенном голодном житье они отбирали у матери последние нервы. Есть грех простимый и грех непростимый: так вот, о давних проделках нынче так сладко вспоминать, будто я мышинными зубками отколупываю от «сахарной искрящейся головы» и этой медовой сладостью, по капле стекающей в мое зверное горлышко, никак не могу напиться...

Как пчелка собирает нектар с каждого цветка, просунув хоботок в его зев, так и я, испытывая острую необъяснимую тоску, вглядываюсь в пестроту пережитого, как в благоуханный цветущий луг, и каждой картинкою, похожей на художный эскиз, возбуждаю в себе будто бы угасшее навсегда прошлое. И с невольным приставыванием сердца отвлекаюсь от ровного течения мысли...

Мать ждала отца до сорок девятого года, считалось, что он пропал без вести, как сгинули в том пожаре миллионы русских мужиков. Ей какое-то время даже не платили пенсии на детей, наверное, власти полагали (и не без основания), что солдат мог угодить в плен или поверстаться к власовцам, в диверсанты, в полицию к немцам, съехать на запад, дезертировать, да мало ли куда может повернуть неисповедимая судьба. Ведь человек не муха, чтобы сгинуть бесследно, его незримые пути неизбежно, каким-то неисповедимым образом обнаружатся под зорким оком государственной службы... И вот, перелистывая архив, я недавно обнаружил похоронку, пришедшую еще в сорок пятом году, но мать, оказывается, скрывала от нас казенную бумагу, да и сама, видимо, не поверила ей. Как помнится, до нас часто доходили обрывочные слухи, что учителя Владимира Петровича видели то на морском вокзале, то в поезде, на пересылке, на арестантском этапе среди заключенных, будто бы он просил передать жене весточку, что жив, что пусть ждут; то в лагерном бараке, то в столице с другой красивой женщиной. Перетолки были разного рода, они подогревали нашу жизнь, давали ей веры и терпения, а с ними куда легче переносились лихолетья. Нам казалось, что матери стало бы куда легче, если бы отец вдруг обнаружился, и пусть бы себе жил на другом конце света с новой семьей; по-моему мать до конца своих дней так и не поверила окончательно, что муж погиб. Эти тускнеющие с каждым годом письма долго не оставляли в покое, а после превратились в единственное бесценное богатство; ведь Господь не столь жесток, полагала она, чтобы до конца обрезать даже крохотные надежды на счастье...

Весной, когда наступали в природе белые ночи и солнце светило неугасимо, до августа не скатываясь с неба, мать любила читать письма в кровати. Если день банный, то, намывшись, сменив постельное белье, высоко обложив себя подушками, выпроставшись из-под одеяла по белые покатые плечи, мама высypала на высокую грудь письма и наугад вынимала конверт, читала посланица молча, а потом долго лежала, призагнув глаза, погрузившись в себя. Я думаю, что она знала их наизусть. Настроение ее внезапно портилось, она плакала навзрыд, начинала укорять мужа, бранить, как живого: «Обманщик! Сам сбежал на тот свет, а меня оставил тут коротать вдовую!»

Мы затихали за столом, как мыши, лишь ниже клонили голову к учебнику, затыкали уши, только бы не слышать странного надсадного крика. Ведь отец погиб на войне, его никогда больше не будет с нами, а мать честит его на чем свет стоит. Лишь сестренка по какой-то природной женской пронизательности подсаживалась к маме, приобнимала за плечи, как верная подружия, и начинала что-то несвязно шептать ей на ухо, заливаясь слезами. (Вот я пишу эти строки, и меня самого невольно одолевают слезы, которые я не вырвел тогда, шалопай и уличный сорванец, которого отец оставил маме вместо себя на поддержку, а укрепа оказалась худая).

Позднее, когда я возвращался из столицы в родной дом снова холостым, она во всем винила только меня. И стоило нам зацепиться в разговоре, в чем-то не сойтись, разбежаться во мнении, как она тут же начинала костерить меня: «Вы и любить-то нынче совсем не умеете. Да-да! Все вам выдай, все подай. Уж лишний раз не поклонитесь друг дружке, боитесь попросить прощения! Все нос в потолок!» Слова-то верные, от души, но она произносила их так громко, нараспев, с надрывом, так возвышенно и цветисто, словно бы читала с театральной сцены монолог, что по молодости моей наставления не давали науки, но лишь отталкивали и вызвали ответное раздражение, отчего весь смысл нравучений пропадал. «У меня с Володей такого не было! У нас была настоящая любовь, вот! Все нам только завидовали».

Мать уже забыла свои признания, как муж пробовал учить молодуху в назидание сразу после свадьбы. Одно лишь слово впоперечку и сказала, и тут же закапиризил, всю приданую посуду срыл со стола под порог. Потом в помойное ведро замели, столько и попользовались. Тетка Улита, бывало, придет, не раз спросит: «Ой, деточки, что-то я у вас дареной посуды не вижу?» - «Володя картину над столом решил повесить да столешницу опружил и всю посуду нечаянно перебил...»

«Вот послушай, как отец писал мне о любви, ты только послушай! Нынче ни-

кто так не напишет. Двух слов связать не могут. А обращаются-то как: эй ты... Будто собачку зовут... - мать шелестела страницами, отыскивая нужное место. Промелькнуло на оборотной стороне алое сердце, пронзенное стрелою. - Любовь - это ветерок, шелестящий среди роз, нет, это желтый блуждающий огонь в крови. Любовь - это мучительно страстная музыка, которая заставляла трепетать даже сердца стариков. Это маргаритка, которая раскрывается при наступлении ночи. Вот что такое любовь! Она может принизить человека, вознести его опять и снова заклеить позором. Но она может быть незыблемой, как скала, и гореть неугасимым огнем до самого смертного часа, ибо она вечна».

Я не принимал этих напыщенных слов, но и правды сказать не мог, но, видимо, кислая физиономия невольно выдавала мое сопротивление, отчего у матери сразу портилось настроение и с нею случался взрыв истерики. Мать нынешнюю жизнь сравнивала с прошлой, и теперь по всему выходило, что раньше все было лучше, полнее, любимее, откровеннее, чище. Мать жила в прошлом, тешила душу минувшими счастливыми мгновениями, растягивала их в воспоминаниях на целые годы, и оттого часто слезилась, куклилась вроде бы беспричинно и сразу каменела сердцем от каждого, по ее смыслу, обидного слова, изводя тем самым себя и других. Своей прошлой любовью она мучила себя, сжигала, держала душу в постоянном сладостном наваждении, после которого иногда наступало пробуждение, а вместе с ним и рвущая нервы усталость. Все на свете казалось обманом, ересью, суетой, зряшной пустой канителью, и тогда ей не хотелось жить... Нужен был лишь повод, чтобы уйти навсегда...

4. «ДУША НЕИЗЪЯСНИМАЯ»

«Дети прилипчивы к животным, хотя и тискают порою безжалостно, но тут же и прикалывают беззаботным, наивным сердцем и плачут скоро просыхающими слезами. И домашнее зверье отвечает своим «тиранам» ответными чувствами, скоро прощают обиды и часто встают на защиту, ополчаясь даже на своих хозяев. Такая спайка, такое родство живут меж них, быть может, и потому, что дети еще близко к земле, почти вровень со зверьем, собаку и кошку легко осязают руками и принимают за родню; ведь они тоже дышат и бегают, но так похожи на плюшевых, у них добрые глаза, мокрый чутыстый нос и теплая пушистая шкурка, под которой волнами прокатывается ответная на ласку телесная дрожь. А взрослые где-то высоко, они под самыми облаками, почти вровень с деревьями, - это существа иного порядка, непостоянные, скрипучие и непонятные...

В детстве, как и все ребята, я всегда мечтал о своей собаке, намекал матери о псичке, но она отвечала уклончиво, не отказывая прямо, иль вовсе уходила от ответа. Поморские мохнатые собаки жили обычно на воле, возле избы, зимом они зарывались в снег, чаще на гребень сугроба, чтобы далеко было видеть, и наружу торчали лишь темно-карие суровые глазки в заневельях ресничках, черный, как керзовый сапожок, носыря и сторожкие уши. Лайки были покладистые существа, напрасно не ворчали, никого не задевали, однако прощупывали каждого пешего и конного сторожким взглядом и лишь меж собою часто затевали гневные свары, чтобы отвадить от своих владений запугавшую иль нахальную соседку. Иногда в большие морозы хозяин пускал собаку на поветь иль в сени (на мост), но в саму избу заходить не позволялось, а особенно в тех дворах, где блюлись староверские заветы и в большом углу на тябле стояли иконы. Считалось это баловством и грехом. Кормили собак несытно, не поваживали, держали впроголодь, чтобы помощница не зажилась и не теряла навыка, давали обычно что оставалось от обеденного стола иль залежалось на погребнице, поприкисло и попритухло, но если хозяин прибивал (а это случалось зачастую от простуды) и не мог принести дичины с охоты, то псичку отпускали в лес на самопрокорм, где резвая, опытная собачонка всегда затравит зайца или подомнет глухаришку... Собака была членом семьи, добытчиком и если теряла чутыстость по возрасту и болезни, иль слабеда на ноги, то с нею особенно не церемонились, и потому крайне редко преданное существо доживало возле хозяина до старости...

Всего этого я, безотцовщина, конечно, не знал, да и не моего ума это было. Мне просто хотелось иметь собачонку, вот и весь сказ: чтобы она облизывала меня, тыкалась сыренькой носопыркою мне в лицо и преданно ковыляла за мною, куда бы ни поскачили мои вольные ножонки.

Однажды я решил и подобрал у соседей Шавриных на повети заблудшего щеню. Он был не больше рукавицы-мохнатушки, с квадратной мордочкой и черными бусинками глаз. Более красивой собачонки, пожалуй, не сыскалось бы на

всем белом свете, так я решил, глядя на безгласное существо влюбленными глазами. Сердце мое замерло, когда я провел ладонью по пушистому загривку. Но куда поместить нового жильца? В тесной келейке, где помещалась наша семья, он как бы везде оказывался невольно под ногами. Но сирота у сиротеи всегда обогреется, верно? Так решил я и коробку из-под обуви поставил в тесный проход за материной кроватью возле умывальника. Худшего места нельзя было придумать, но откуда тогда мне, огорая, найти было ума. Ведь дети живут лишь одним сердцем. Щеня поскуливал, вырывался из гнезда на волю, чтобы обнюхать комнатынку, наследить в ней, поставить меты и признать своею. Сердце мое радовалось псишке, я, елозя за собачонкой на коленях, тыкался в нее носом, таял, норовил просунуть палец подальше в зверную черную пасть, кобелек рычал и щекотно прикусывал кожу, а я отчего-то заполошно, счастливо смеялся, как дурачок, опрокидывался на спину и дрыгал ногами. Я не думал, что будет дальше и как судьба распорядится находкою...

Тут пришла с работы уставшая мать, сумеречно взглянула на коробку, на игривого косолопного щенка и сказала: «Унеси собаку, где взял». «Но, мама, - заканючил я, - ты посмотри, какой он хорошенький! Он подрастет и станет жить на улице. Я буду ходить с ним на охоту». «Ты что, не слышал меня? Живо унеси туда, где взял, - непреклонно повторила мать, стараясь не глядеть в мою сторону. - Нам и самим-то негде спать. Ты уже большой мальчик и должен все понимать без слов». Я отвернулся к окну, захлопал носом, чтобы разжалобить маму, слезы закапали из глаз. Но сокрушенным сердцем я понимал, что мать права, ради собаки она тесниться не будет и ничего изменить нельзя. На стены, оклеенные газетами, уже ложилась вечерняя северная мгла, и огонь от керосиновой коптилки едва добавлял света. Щенок заполз в коробку и затих там, взгорбив спину, словно бы догадывался, что сейчас решается его судьба.

Газеты были наклеены толстым слоем, рядов в шесть, для тепла, за годы стали, как защитная броня, в одном месте над материной кроватью я проковырял пальцем, томясь перед сном, и оттуда, как из оконца, на меня строго, с укоризною смотрел из довоенного времени нарком товарищ Ежов, в кителе с отложным воротом и в красивой твердой фуражке, будто сшитой из картона. Он словно бы говорил мне: «Ну что, доигрался?»

Мать подхватила собачонку вместе с коробкой и ушла из дому. Я, крадучись, выметнулся следом, но сразу потерял ее в густых сумерках. Босиком по хрустящему снегу, по жидким проплешинам оттаявшей пахоты я выскочил на косогор, истошно воля: «Жуча! Жуча!» Весенний ветер-низовик путался в травяной ветоши и кустах ольховника, забивал мои вопли, закладывал уши. Чудилось, что это мой родной псишко поскуливает со всех сторон, плачет и зовет к себе. Несколько дней я напрасно метался туда-сюда, искал по задворкам, за дровяниками, в овраге у ручья, за конюшнею, на полях, у родника под утором, где начинались непролазные ивняки и ольховники, но мой Жуча пропал навсегда, сгинул, будто наваждение, словно теплый ласковый сон... После-то много было у меня псишек, многое и выпало из памяти, попритухло, пораструсило, но эта ласковая щеня, как первая блажь, как желанная детская утеха, до сей поры незабываема мне...

...Дети - чистые, наивные существа, но от того, что они еще не познали греха, не боролись с ним, не страдали, - жестокосердые и черствые, живущие лишь своим настроением и плотью. Я не понимал тогда, да и душа не отзывалась, как матери тяжко, непосильно, ведь ей, военной вдове, всего лишь тридцать три года, что она тянет на себе непосильный воз и живет на износ, и все мысли, все силы нацелены лишь на то, чтобы набить нам, птенцам, брюшишко, поднять на ноги, вечно голодных, ненасытных... И щеню-то оттащила на болото по той же причине, что нечем будет кормить. Мать-то знала о грядущих неперенных хлопотах, когда кобелек обрыляет, встанет на лапы; это как бездельного едока принять к себе на постой.

...Я тогда вернулся за полночь. Снег от легкого морозца спекся, схватился корочкой, ломко похрустывал, проминался под залядившимися босыми ступнями. Из-за туч вынырнула луна, белая, как сахар-рафинад, с голубыми закрайками. Я еще остановился на крыльце, на что-то надеясь, крикнул в ночь: «Жуча! Жуча!» Прислушался. В груди у меня постанывало, но слез не было, это плакало сердце от глубокой обиды, которую, казалось мне, никогда не изжить. Мать даже не ворохнулась в постели, в зыбком свете, струящемся в раму, ее заострившееся скуластое лицо чудилось не живым. Брат кротко спал на полу, я мышкой занырнул под его бок и тут же забылся с горькими мстительными мыслями.

...Проснулся я внезапно от тонкого ознобного поскуливания, словно бы к по-

доконью прибежал мой щеня и с улицы зовет меня. В окно заглядывала луна, и в комнате было призрачно светло. Я замороженно приподнялся на локте, как-то худо понимая, что происходит. Мать сидела, скорчившись, на полу в белой ночной рубашке до пят и, прижавшись к железной спинке кровати, стягивала на шее удавку. Моя сестра Рита ползала перед ней на коленях, выдирала из рук веревку и жалобно, с плачем умоляла: «Мама, не надо! Мы-то куда без тебя? Ма-ма, не надо!» «Не пропадете... Государство вырастит», - отрешенно, в забытье гугнила мать, с трудом раздирая спекшиеся губы.

Не выказывая себя, я занырнул назад под одеяло в свою нагретую нору, сжался в комочек и, с трепетом поджидая неизбежного несчастья, незаметно уснул.

...Очнулся же внезапно от мерногобряканья ложки о дно миски. О, как знаком и радостен был этот звук! Это мама крутила тесто на блины. Она сутулилась у стола, переступив через наши тела, как темная башня; голова, освещаемая керосиновым моргасиком, была повязана белым платом по самые брови. Мне были видны только горько приопущенные губы и принабрякшие веки. Но весело топились печь, и беспечные языки пламени резво, с прищелкиванием прыгали по дровишкам, готовы были выскочить на ледяной пол к нашей постели и обещали мне беззаботный бесконечный день.

«Бедный Жуча, как-то ты там один?» - подумал я, засыпая снова.

...Никогда того случая мы матери не припоминали, чтобы не беречь минувшее».

5.

Мама была из Жерди, что в тридцати верстах от Мезени, за Пезой-рекой. Там я впервые едва не утонул. Дедушка Семен Житов, мамин отец, впервые повез меня на каникулы в деревню и, как позднее признавался, спокаялся с этим огорчем. Пока ждали перевоза через реку, я умудрился вскочить в беспризорную лодку, оттолкнулся от берега, и меня потащило течением к устью, где неукротимая Мезень-река распаивалась навстречу свои широкие объятья. Лодка оказалась дырявой, стала скоро набираться воды, а гребей в посудине не было, и я на глазах ошарашенного деда Семена стал тонуть. Так, не доехав до родовой маминой деревни, я чуть не отдал концы. Дед увещевал меня: «Вовка, ты уже большой мужик. Ведь тебе уже восемь лет, а ведешь себя, как пацаненок...» Уже на следующий день я сунул руку в старую молотилку на гумне, новые деревенские друзья повернули шкиво, шестеренки зачарованно закрутились на валах, и мне только по случайности не изжевало напрочь правую руку. Но покалечен я был сильно, во всю летнюю побывку ходил с перевязью через плечо, как военнораненый, чем изрядно гордился...

Тут, наверное, пора немного рассказать о материной крестьянской фамилии, которую я непонятно почему, но сильно залюбил, хотя мало, скудно чего помню.

Знаю только, что Семен Житов был в царской армии фельдфебелем, вернувшись из армии, женился на девушке Марии из деревни Николы. Был он приглядист, с русыми кудреватыми волосами, с рыжеватыми от махорки наостренными усами и голубыми глазами с улыбочивой искрой. Сколько себя помню, улыбка не покидала его лица. Он был, наверное, даже красив, и ладен, сноровист, хотя судьба была неласкова с ним. В тридцатом году власти признали его лишенцем, у крестьянской семьи отобрали все права, и эта гнетая долго тяжким бременем лежала на горбу, истирая холку в кровь. Дед ходил обозами на Канин за навагою, потом месяц тащились лошадьми до столицы и в Питер, увязав мороженую рыбу в рогозные кули. С Неси, Омы и Пеши, Чижи и Нижи везли кладью глухаря и куропотя, лисицу и песца, горностаю и выдру, оленину, камуса, шкуры зверя морского, семгу, омуля, нельму, сига, камбалу и селедку. (В те поры еще много всего было. Помню, когда куропоть летел с тундры, то над Мезенью неба было не видеть). А надо сказать, что служба обозника лихая, студеная, бездомная, чертоломная, когда неделями и месяцами тяжело груженные лошади ползут, поскрипывая копыльями и полозьями, через заснеженную тайболу от кушной зимовейки до другой, чтобы в ночь передохнуть, сменить лошадей, а кругом тасжная глушь и безлюдье, ухабы да дорожные просовы и раскаты, тут глаза держи остро, и стоит лишь призапнуть чуток, тут тебя леший и поманит, да кладь-то и стащит с дороги в сугроб - будь он неладен, анчутка этот! - да и опрокинет, вот и барахтайся по шею в снегу, вызволяй сани анышпугами из снежной бездны. А если мороз садит и до ближайшей кушной избойки еще версты и версты тягуна и лесного болота?

...Старшего сына Спирю гоняли валять лес, а в двенадцать лет уже и дочь Тоню отправили на сплав на обкатку леса, замелившегося при молевом сплаве.

Северные воды студёные, река Мезень глубока и норовиста течением, работа та с багром тяжкая, лошадиная да воловья, дородный мужичина и тот плечи обломит за световой день, а тут девчоночка еще совсем «малеханная», не больше ратовища. А ночь в походном шалаше, накиданном из еловых лап на скорую руку, да на комарах и гнусе, мужики, те хоть смоят махру, да матерятся, да и винца примут чару для обогрева и от усталости. А девчонке разве что остается, похлебав кулешу, тихо поплакать в рукав от непонятной обиды и ломоты в теле. Осень, вода уже остывшая, покрылась салом, вот-вот пойдет шуга, сапожишки худые, подол мокрый, по пояс в реке, высушиться негде. Железное здоровье надо иметь. И не отвертеться, не отказаться от разнарядки. Там-то и застудилась мама, получила хвори на всю оставшуюся жизнь... Коли лишенец ты, то и помалкивай в тряпочку, тебе никто «таких прав не давал, чтобы пасть раскрывать и нявгать». А к тому же двор обложили непосильной продналогою: молоко сдай, масло коровье сдай, мясо, шкуры, яйца, шерсть, сметану, рога - все сдай по разверстке... Сами молока не ели, детям наливали в блюдечко, разводили водой, и те макали житенным колом. Да еще и деньгами пригнетили семью сверх того. А коли каждая копейка в крестьянском хозяйстве была на счету, то бабушке Марии приходилось прикармливать денежку исподовольки, а хранила ее в холщовом мешочке, подвешенном к спинке кровати. Для «прилики» иль по какой-то особой задумке, может, чтобы не попасть в разряд подкулачников и врагов народа, в переднем простенке висел портрет товарища Сталина. И когда бабушка особенно изнемогала от тяжелой жизни, когда стон и плач стояли в груди колом и надо было освободиться от надсады, Мария выхватывала из подпечка ухват, тыкала сажными рогами в портрет Сталина и, не таясь, кричала так, что вопль вырывался на деревню: «Чтоб ты сдох, жид проклятый!» «Что это за нация такая, жида?» - думал я, слушая рассказ матери, но переспросить не решался. И по сей час полагаю, что мать моя тоже ничего толком не знала про эту породу. А пришло это слово в деревню, наверное, из староверческих духовных стихов...

Бабушка Мария оказалась недолговекой, еще до войны надломилась от житейских трудов и померла. И когда я впервые попадал в Жердь, ее место занимала новая жена - Агриппина, тихая, кроткая бездетная женщина, типичная поморянка, принявшая детей и внуков мужа, как своих кровных (царствие ей небесное! - желаю я сейчас, вспоминая, как она обихаживала, стерегла меня, пострела, чтобы вернуть матери живым, неукорливо, мягко, заботливо, стараясь ничего не забыть и ничем не обнести за едою и в позднем вечеру, когда я, уставший, но счастливый, с горящим от воли лицом возвращался с улицы в избу).

Но и бабушка Агриппина не зажила, и деду пришлось доживать век вдовцом. Он, чего греха таить, любил поднять стопочку. Но никогда не напивался пьяным, не валялся под забором, во хмелю не бузил, и с лица его не сходило радостное выражение. Помню, питухи уже под стол свалятся под ударами Бахуса, а дед Семен отойдет из стопки, голову на руки уронит, лишь на минуту забудется, потом поднимет улыбочивые глаза, осмолит застолье, как бы проверяя, пересчитывая гостей, все ли на месте, и тоненько, с хрипотцой затанет: «Со вчерашнего похмелья болит буйная голова... Тройка скачет, тройка пляшет, а седушки песню поют...» И так сутки мой дед мог не вылезать из-за гостевого стола. Потом дед заболел легкими, стал кашлять, оплешивел, светлая кудря покинула голову, все реже он стал посещать наш дом, наверное, боялся заразить нас. И вот приехал однажды с попутьем, переступил порог, сдернул с головы шапку, и я едва признал деда. У него выросли волосы, довольно густые, пушистые, но какого-то мышинного серого цвета, так что пришлось заводить расческу. Помню, как дед прошел к комоду, на котором стояло зеркало, и деловито, сосредоточенно расчесал голову и поблекшие усы. (За всю жизнь я только двоих знал, у кого в старости заново отросли волосы, - это мой дед Семен и девяностолетняя старуха в деревне Часово, где я и пишу эти строки).

Дед Семен Житов, на которого я похожу, но которого так мало знал, и стал неожиданно моим романтическим героем.

У мамы были еще сестра Анисья и младший брат Василий...

В двадцать седьмом году отец закончил школу второй ступени (девять классов) и решил стать учителем. Его направили в деревню Ому в начальную школу. В тридцатом году перевели в Жердь, и отец, не дожидаясь попутного транспорта

из Чешской губы, где схоронилась тундровая деревенька, напрямиком через болота и десятки тундровых ручьев и речек, не однажды рискуя жизнью, приобрел пешком, сломав длинную рисковую дорогу, так не терпелось ему попасть на новое место. Поселили его у Ермаковых... Жена хозяина была сестрою Семена Житова, моего деда. Матери в том году исполнилось тринадцать, осенью она пошла в четвертый класс. Тося частенько забегала в соседи, будто по нужде какой, просила то огонька на разжигу (и тетка, догадливо ухмыляясь, доставала ей с загнетка живой уголек), то кислой опары для теста, то соли, а сама будто случайно стреляла глазенками, обводила посторонним взглядом избу и невольно наталкивалась на гостя; ее белесые короткие бровки при этом вздрагивали, хотя глаза внешне оставались холодными и прозрачными, но щеки беспричинно будто наливались брусникой. Учитель как бы случайно всякий раз вдруг оказывался на хозяйской половине. Он тоже отворачивался равнодушно, доставал из кармана кисет, медленно развязывал его, рылся ногтем в пахучей махорке, долго скручивал сигарку, набивал табачком, но сердце его каждый раз больно тукало, когда с тугим хлопком закрывалась за девочкой дверь...

Новый учитель Владимир Петрович сразу «положил глаз» на девочку. Она только что прибыла с реки, где вместе с мужиками работала багром, гоняла бревна, лицо ее настигало ветром и дождями, прокалили солнцем, у нее широкий постав плеч, уже девичья грудь, упругие, с ярким румянцем щеки и отчего-то печальные не по возрасту серые с искрою, широко поставленные глаза. По суровой жизни девочка как бы незаметно перешагнула свой возраст, рано заневестилась и казалась в классе «заблудившейся». После четвертого класса надо было уезжать в соседнее село Дорогорское, в семилетку, или в Мезень, в интернат, но мама была дочерью лишенца, и на этом ее образование закончилось. Девочку отправили снова на сплав окатывать с берегов омельившийся лес...

Однажды они столкнулись на деревенской улице лицом к лицу; Тоська шла чуть попереди девчонок, груди у нее холмушками, немного тяжеловатые для ее легкого, окутанного розовым сарафаном тела, выступала она напористо, словно бы они тянули, подгоняли вперед. Парни (а среди них был и сын хозяина Илья Ермаков, царствие ему небесное! - **Авт.**) шли вразвалку, под тальянку и, как водится, что-то ехидное и колкое кидали девцам, а те не оставались в долгу, ловко обрезая языком, и дразняще, глуповато хихикали. Как водится во все века, невестящиеся «курочки» заводили «петушков», знать, приспевало, поторапливало, уже маячило на пороге время любви. У Тоськи лицо было напряженное, волосы дымчато струились, и, хотя вечер был задумчиво тих, создавалось ощущение тягучего ветра-морянина. Увидав учителя, она вдруг покраснела лицом, словно бы перед этим только что думала о нем и, не останавливаясь, дразняще выкрикнула громко: «Владимир Петрович, давайте с нами!» Остальные девчонки, поравнявшись, захихикали, уже с особым приглядчивым любопытством оглядели и оценили учителя, а тот от неожиданности так и остался торчать посреди улицы, задумчиво развесив губы. Сразу не решился, а потом показалось неудобным бежать следом - как глупый мальчишка «за мелкотаю», недорослями - и потому, неодобрительно похмыкивая, напустил суровость на скуластое лицо. А вольный табунок по грядам камней, по переборам проскочил речонку и растворился за можжевельной порослью на другом берегу, где стоял цыганский табор. Вскоре там стало еще шумнее, заперхали собаки, кто-то тонко, пронзительно запел, разминая голос, и тонкие дрожащие переборы цыганской гитары показались учителю в черном недвижимом воздухе особенно зазывными и тоскующими...

- Ныне им и вечерка не вечерка... Нет бы дома сидеть... Вовсе оглупали с этими цыганами. Блазнят они да поманывают дурочек, вот и повадились те к нехристям ходить.

- Это черт приваживает. Такое дикое время, когда Бога забыли и все попустились на дурное, - осуждали старухи, перемывая девы косточки.

- Будто там медом намазано, так и тянет их туда...

- Дали волю, вот и галят, как оглашенные, вот и жжет да палит кунку дикшерстну...

- Вот уж сглазят котору ли, как девку Сару. Тогда очнутя, поди...

- Нынче ведь как повелось... В подоле дитё притащат, как в лавку сбродят за куплю. Скажут: на, мати, водися... Эх-ма...

- Набуздаешь, и дедко даст плетюганов, и станешь, милая моя, водиться, куда денешься... Своя кровя...

Послушал деревенский учитель бабы пересуды, и так вдруг одиноко стало на белом свете, так неприютно, хоть плачь. И уже прижаливал, клял себя за робость,

что вот не кинулся следом; там, небось, весело сейчас, дым коромыслом, кострище палат до небес; Тоська, поди, с ухажером в обнимку, чего им теряться вдали от родительского глаза... Вернулся учитель на постой в свою половину, накинул на дверь крючок и впервые за последний месяц развел в непроливашке сажных чернил: «О, любовь - это летняя ночь со звездами на небе и благоуханием на земле! Почему она заставляет юношу красться по потаенной дороге, а старика горько рыдать в своем одиноком углу?! Ах, любовь превращает сердце человека в сад, пышный и бесстыдный сад, в котором разрастаются таинственные и ядовитые грибы...»

Девушку Сару увели цыгане из Мезени самоходкой. Уж как они забрели на дальний Север, какая нужда их толкнула на Белое море, но только за шарком на поскотине, напротив города, они стояли табором все лето, и тем на долгие годы остались в памяти гулевые беспокойные люди, что один цыганенок чем-то обаял, улестил, обворожил юную мещаночку, и она, как ослепленная, села в цыганскую кибитку и, несмотря на плачь родителей, на увещевания соседей, сошла из города навсегда. По дороге они остановились у Жерди, искали на селе постоя, и древняя морщинистая цыганка, обвешанная монетами, прицепилась к учителю: «Дай погадаю, молодой, красивый! Вижу, на душе у тебя горе по службе... Позолоти ручку, положи на ладонь денежку. Не бойся, не украду. Всю правду скажу, что выпадет в жизни».

«Соврешь - не дорого и возьмешь, старуха, - отказывался вроде бы учитель, пугаясь темных глаз гадалки, а душою-то хотел узнать судьбу и, значит, тайно верил предсказанию. - Ну откуда тебе, бродяжка, видеть, что у меня впереди?»

И сунул ей в ладонь монетку.

Лет пять было ему, когда наезжая молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что его старший сын потеряется: «Его ни вода не возьмет, ни пуля, но он потеряется». Ребенок глубоко спрятал предсказание в памяти, но оно, оказывается, не пропадало никогда. Оно пригнетало и тревожило, навевало в душе мрак и морок. А вдруг сейчас старуха подтвердит насущное?

«И откроется тебе в жизни дорога, - привычно запричитывала цыганка. - Но в ней печаль случится через женщину. Две их будет, я вижу, что две. Одна полюбит, а другая погубит. Той, другой, бойся. Позолоти ручку, сынок, все скажу, как есть и что будет».

«Иди прочь, старая», - с облегчением выдохнул учитель. Подумал: «Все врут... Ходят, собирают сплетни, а после врут... Где она, судьба-то, и кто знает свой час?»

(И третий раз ему было от цыганки предсказание уже в тридцать девятом году летом, осенью. Через месяц его забрали в армию... Мама моя те гневные посулы, оказавшиеся вещими, запомнила на всю жизнь и не раз вспоминала мне).

...Но стоит сказать, что в крестьянской семье отношение к девочке было зачастую чисто практическим; зная о недалеком неизбежном будущем, ее сразу воспринимали как будущую хозяйку и мать, ее уже сызмала растили на «выход», на чужую сторону, годами прикапливали приданое - белье, перины, платье, одеяла, она ткала на будущую семью холстину, вязала кружева, рукавицы и носки, шила ширинки, полотенца, кофты и юбки, у нее в сундуке обязательно был схорончик, где по грошику собиралась на свадьбу денежка, в семье дочку хоть и прижаливали и любили особой любовью, окрашенной грустью и скорым расставанием, но и часто поторавливали, чтобы не засиделась в девках, а то и сватали, выдавали «силком» в чужую деревню за старика с имением и землею... Если в шестнадцать лет она невеста-хваленка, водит по престольным в большом хороводе, она наряжена и песельница, выходит на посмотрение народу в столбовом наряде, чтобы показаться деревенскому парню во всей красе, и после удачного замужества этот наряд прячется в сундук и покоится в нем уже как приданое для дочери; но если минуло за двадцать, то девушка отныне - вековуха, она упала в цене, ею как бы брезгуют парни, но и готовы «сладенькое разлизать», это девица второго разряда, как бы гриб-обабок, уже оплывший на одну сторону... О том на Мезени в любом застолье пели: «Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать. Когда цвет розы опадает, то всяк старается стоптать... Когда девице лет семнадцать, то всяк старается любить, когда девице лет за двадцать, то всяк старается забыть...»

С одной стороны, в русской деревне жестко, сурово блюлась девичья невинность, она считалась главным ее богатством, ибо в ком стыд, в том и совесть, а в

ком совесть, в том и сам Бог пребывает. (Простыни показывали на свадьбе, есть-нет красное пятнышко от кровички, иль кулебяку разламывали в застолье на утро: если с рыбой пирог испечен, то невеста честная, соблюла себя до мужа, ну а если пустая...). Иная поскакушка, некрепкая характером, наивно доверялась парню, бывая частенько при этом обманутой, то о соблазненной, конечно же, немедленно знала вся деревня, и той девице не давали проходу, к ней, как собачьи репьи, цеплялись за подол сплетни и всякие небылицы, парни, которым считалось за подвиг «надуть девке пузо», сами же густо и метили избянные ворота дегтем, и от того позору, какой наваливался на скороспелку, было не только тошно и горько ее родителям, но и девке некуда было спрятаться, но легче всего было бежать с родимой завалинки на чужую сторонку, где не достанут слухи старухи-переводницы. Казалось, о девичей чести хлопотала вся деревня, вся деревня блюла девичью невинность, стояла на ее страже... Ну а если девка притащит в подоле до свадьбы, то эта история помнилась уже до скончания века.

Но были в поморье деревни, где «сколотыш», «выблядок», «байстрюк» считались за выгодное приданое, такая невеста ценилась особо, ее брали нарасхват, ибо за парня от общины полагался наделок, душевой пай, свои четыре десятины. Молодая жена приносила с собою не только будущего готового работника, но и землю, что на севере считалось особенным богатством... Случалось, что и малолетнюю юницу отдавали за вдовца, чтобы войти в родство иль получить за нее богатый принос, но приходилось порою и двенадцатилетнего мальчишку женить на рослой в годах девке, чтобы пришла в дом даровая работница... Конечно, всякое бывало на веках в русской земле. Но каждый раз, что бы ни толковали иные родители меж собою, глядя на рушащееся хозяйство, на собственную бедноту и немочь, но любимую доченьку свою, если было у них не каменное сердце, а живое, конечно же, лелеяли в тепле и чести, как голубой небесный крин, стараясь хоть столько-то, пока довелось, натешиться, налюбоваться своим богоданным цветочком. И когда провожали в другую семью, словно бы спихивая с рук, то столько было тогда исторгнуто горестных воплей, столько было плача, что невестины слезы затирали на полу вежем...

И, конечно, когда учитель стал «волочиться» за их дочерью, Житовым было озорно, опасно, как бы наезжий не надругался над их честью, не поглумился, не посмеялся над девочкой. Ее стали стеречь, прятать, и чем больше закрывали, таили, не выпускали на улицу под всяким предлогом, тем вспылчивей становился учитель и порою (как вспоминает тетя Аниса, что, будучи маленькой девочкой, была передатчицей тайных записок и писем) дерзко порывался выломить дверь, и дело доходило почти до драки... Семену Житову нельзя было особенно держаться за свое мужицкое достоинство и выхаживаться, если в тридцатом он был признан лишенцем, а значит, не имел никаких человеческих прав, чтобы отстаивать старинные крестьянские заповеди. В Сибири, быть может, и не заслали бы, но и в северном краю нашлось бы много комариных гибельных мест, куда могли бы загнать на высылки вместе с семьей... Но ведь и учителю, потерявшему голову, тоже было опасно вязаться с семьей лишенцев Житовых, ибо и на него тоже невольно ложилось клеймо безыдейного, несознательного, заплутавшего меж трех сосен слепого человека... И тут же нашлись люди, что стали засылать «подметные письма».

Верил ли мой отец в приметы, запуски, наговоры и наузы, в прикосы и привороты, я не знаю. Он был «матерьялистом», Бога драл за бороду, душе места не находил в человеке и жил, как мне представляется, сердцем и натурой.

Но Тося-то Житова была крестьянского рода и хотя крепко была «опоена» новинами и горячечными проповедями учителя - вот и иконы с тябла из красного угля были изгнаны и упрятаны в сундук - но тень Спасителя, его неизбывный дух неуловимо присутствовали во всяком деревенском зачине, начиная с утренней обрядни, когда мать Мария замешивала крутое тесто для хлебов, крестя квашню и каравай, и кончая поздним вечером, когда закрывались все горшки и ладки, чтобы черт не плюнул, и устье печи закрепщивалось лучинками, и когда тета Улита заползала, кряхтя, на лежанку, сто раз поминая Господа, а хозяйка, управившись с неизбывными делами, уходила в запечье и там молилась горячим шепотом, достав с груди крестик, выпрашивая у Спасителя прощения за свои грехи и милости чадам и домочадцам...

Это же все было на слуху и незримо умещалось в сердце, как бы ни бежала девочка от Бога; да и куда бы ни пошла она по хозяйству, то ли на конюшню, то ли на поветь, чтобы кинуть сенца корове, то ли в баню, то ли в горенку иль в подклеть, в повалушу, в вонный амбар, к ларям, в стайку к овчушкам, то везде

она видела кресты под притолокой, начертанные материной рукою, отпугивающие нечистую силу. Все было зачуровано, все было ограждено святым духом. И вместе с этим в избе жили доможирко с длинной бородой вехтем и его баба-доможириха со скверным характером, которых надо было улестить кушаньями. На повети, где висели невод и сети, стояли сани и расписная повозка-кошевка, обитал дворовый хозяин, а в бане по-черному под полатами кушничал баенный дедко...

А куда деть гадания в Святки и под Рождество, многие кудесы в крещенские ночи, старинные приметы, которыми была тесно обставлена всякая русская деревня? Нет, девочка Тося вышла из совсем другого мира, и она, не показывая вида, конечно же, верила всему старинному, что ссыпалось из окружающего мира, как из рога изобилия, на ее любопытную голову. И когда молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что сына его Володю ни вода не возьмет, ни пуля, а потеряется он, то мама (запоздало узнав о том от свекрови) долго верила, может, и до самой смерти, что муж ее не убит, он жив, но потерялся, как пропали без вести на войне миллионы мужиков, которые иногда появлялись вдруг из небытия через много-много лет... Ведь цыганки-молдаванки обладают особенно крепким словом, и его не обрушить никакой божбою, ведь за ним стоит нечистый, а может, и сам сатана...

Хотя, судя по разговорам, мать себя не считала суеверной и Бога относил к дремучим пережиткам. Крестьянское, русское, заповедальное было, кажется, полностью излито из ее душевного кувшинца и заменено интернациональным, безмолвным, неотзывчивым к Богу опоем. Тося Житова была сполна перекована для советской жизни, горячо отзываясь всем комсомольским сердцем, но действительность с ее сладкими обманчивыми посулами, увы, приняла ее сурово, отпихивалась от нее двумя руками, пропустив через терки и молотилки, ни разу не приветила, не обласкала с дня рождения и до смерти. А если в Бога не верила, то и опереться моей бедной маме было не на что, руки ее повисли над бездной...

Но она, как и миллионы русских баб, не переступила ту окаянную черту, за которой дьявол, когда Бога уже нет навсегда, и значит, человеку все позволено. Я не слыхивал от моей матери за всю жизнь ни одного поносного, укорливого слова к советской власти, ничем-то она не похулила ее, не выхватывала ухват из подпечка и не тыкала сажными рогами ни в портреты Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина и Путина. Она без сомнения верила в библейское, что «всякая власть есть от Бога», не принимая, что бывает власть и от дьявола... Православное, праотеческое сознание русские женочки блюли, несли в себе до конца жизни, не вникая в его глубины... Это внешняя церковь, «церковь в бревнах», была отвергнута после революции за непонятную простецу человеку мистику, за сладкий блудный туман, за отступничество от крестьянина и его невзгод, но «церковь в ребрах» потиху, неустанно погуживала в свои бессонные колокола.

Ведь зачем-то мама вспоминала те проклятия, носила их в памяти, что сыпались на отчаянную мужнюю головушку.

Я помню, что на стене в боковушке висела отцова гитара с большим алым бантом и после была обменена на хлеб... Иль я что-то подзапутал? Может, гитару мы растерзали во младенчестве, порвали струны и лаковое, лосное звонкое кинули в болотную яму, обметанную багульником и кипреем, а на хлеб мама обменяла гармошку? Видно, потому и рассталась мама с гитарой так легко, «не набуздала нас» и даже не выбрала, что на ней лежало проклятие. В мусор и в лом ее! С глаз долой из сердца вон! Там ей, проклятой, и место!

...Отец купил гитару на аукционе в Жерди. Впервые на деревне распродавали с торгов имущество раскулаченных. «Это по тем времена было богатство: самовар, ну зеркало, часы, посуда и белье. И зачем кулачить было? Нынче всякий так живет, да и много лучше. Значит, всех кулачить надо?» - неоднократно перетряхивала мать старинную историю...

Э, не скажи... Это со временем вещи шашаедем изъело в труху, легла плесень и патина на посуду и зеркала, разъехались в шипах шкафы и шкафчики. А по тем-то временам, в тридцатом году, это было целое «богачество», заметная завидная отличка зажиточного мужика от безлошадного нищеврода, что ишачил на богатого соседа за ломаный грош, за пудовик ржички иль жита. И когда вынесли нажитое из кулацкой избы во двор, то у народа поначалу глаза разбежались.

Были тут и сундуки устюжской работы, громоздкие и пузатые, окованные жестью, со многими потайными замками, хранившими вековое бабье обзаведение; и зеркала с Норвегии в тяжелых ороховых рамах, потускневшие от комнатного чада, в которые смотрелось, быть может, не одно поколение, но все облики, старые и вовсе юные, растворились в стеклянной холодной глади; были тут и часы в дубовом футляре из Варде; и пошевни богатые, отделанные росписью и резьбой; и упряжь вся была из доброй сыромятины, прошитая позеленевшими медными бляшками... Бабы мяли в ладонях льняные тонкие полотенца вологодской выделки; молодые девки примеряли парчовую душегрею из голубого басурманского шелка, подбитую кунным мехом. Но девкам уже не по сердцу была старая лапотина, им куда приятнее льнули к телу ситцевая кофтенка с оборками да короткая черная юбчонка. Цыгане пришли с зареки, сразу приценились к лошадям. А народ деревенский все робел, как бы стыдился покуситься на чужое, чуя что-то нехорошее... Илья Ермаков, вскочив на телегу, подбивал мужиков: «За морем коровы дешевы, да провозы дороги. А ну, братья славяне, накидывайся на товар: попустому торчит, на вас же кричит, хватайте, не зевайте! Вот шляпа пуховая, век ношена, на помойку брошена, в ней мыши гнездо свили. А перевернуть, дак еще на два века хватит! Кому стул венский, товар мужской и женский: под любым танцуется, под любым красуется. Как сядешь, так хряснет, по лбу брякнет и ноги в потолок. Раз, пятьдесят копеек, два...»

В избе Чикиных распахнулось оконце, показалась старшая их девка Марфа, закричала в толпу визгливо: «Жрите, сволочи... Подавитесь обносками нашими!» И завыла тонко и жутко, обрывая пуговицы на груди кофтенки. Отец-старик пытался увести вон от окна, но девка тупо цеплялась за подоконье и выла: «Осподи, Боже святой, пошли архангела своего Михаила на помощь рабе своей изъяти мя от врагов моих и мучителей, не дай сотворити непростимое зло...»

И тут учитель приценился к гитаре, казавшейся особенно хрупкой посреди прочей рухляди, с тонкой беззащитной шеей, с обвисшим шелковым бантом; подкинул ее, невесомую, перебрал струны и запел:

*Ходи, Матвей, двигай ребрами,
Сыпь, дрови, Эпифидобр,
Кандибобрами...*

В толпе закричали: «Эх, девки жердские, не бегать вам больше к басурманам к причастию! Учитель вас всех по струнке поставит».

«А что, я такой, я их всех по струнке...»

И запел:

*Как отец-то благочинный прогулял тулуп овчинный.
Попадаья не отставала - теста квашню прогуляла...*

И вдруг Марфа Чикина словно бы очнувшись криком перебила частушку: «Все заберите... все! Только Христом Богом прошу, оставьте гитару. Ну что вам стоит, а? - и умоляюще заглядывая в глаза учителю, смиренно добавила: - Ну сделайте такое одолжение».

«Беру!» - отрезал учитель, чтобы не идти на поводу у подкулачницы, и, закинув на плечо гитару, пошел с торжища.

«Проклинаю!» - понеслось вдогон. - На веки вечные проклинаю тебя и весь ваш род!»

...«Ужас-то какой! Один ужас! - с тоскою вспоминала мама тот случай. - И на кой ляд ему гитара эта понадобилась? Нет бы отступиться... Обойтись, что ли, не мог? Так нет ведь, чтобы только все по-евонному».

«Мама, ведь и время такое было. Учитель... Пример должен явить...»

«Да-да... И время такое», - вяло соглашалась мама, сводя горестные голубоватые губы в нитку. И сразу становилась такой старенькой, такой изжитой, с поредевшими каштановыми волосами, куцыми бровками, обведенными черным карандашом, и шишкой во лбу, которая с каждым годом неумолимо разрасталась. Однажды зимой вдовица колола дрова, и обух отскочил от еловой чурки в лоб... Вот она, мета неизбежного сиротства.

«А что с девушкой той стало?» - спросил я, перебивая грустную тишину.

«Повесилась во время войны... Говорят, пила много, а после и черт забрал. На два года только и пережила Володою».

6.

Эх, голова моя садовая, стала, как решето, будто пим дырявый, все из нее вон вытекает и ничего не прибывает, и никакая наука, братцы мои, не идет в помощь...

Человек с годами коростовеет, как дерево, покрывается шелухой безразличия к себе и близким. Слезы торопливо, легко проливаются из тускнеющих глаз и тут же сохнут. Но детство, даже самое неурядливое, вдруг принакрывается прозрачными жемчужными покровцами, и свет таинственно мерцающий встает над ним переливистыми праздничными сполохами. Но небо, на которое прежде и времени-то не доставало взглянуть, да и не особенно и потягивало к созерцанию, вдруг всё чаще необъяснимо притягивает взгляд своей искристой глубиной. И вот шамкает сама себе бабенья, глядя на покрывающиеся сиреновой паволокой ближние сосняки, на зависшую над ними яркую звезду, похожую на жаркий уголь: «Слава те Господи, вот и до весны доскреблася, а теперь-то и помирать грех...»

Сколько пережито было, сколько всякого заделья прошло сквозь руки, сколько тягостей истолчено в труху, сколько перечувствовано было, перелюблено, перетешкано с ладони на ладонь, будто бы и вспоминается что-то порою такое родное, неразлучное, но уже чужим дальним умом, словно бы с другим всё случилось; вот и пальцы ссохлись, онемели, позабыли рукоделье, которому столько души и времени было отдано. Сколько ночей было недоспано, когда вышивала прорезные шторы на окна, вязала подзоры на кровать, и скатерти на стол, и занавеси на двери, крутила крючочком, наматывая на палец бесконечную бумажную нитку из катушек десятого номера при свете коптилки, когда мгла вселенская опускается на занесенную снегом изобку, и от крещенского мороза гулко побряхтывает житишко всеми суставами, встряхивается в углах, будто из мортиры саданули ядром по заиневавшим бревнам, и в каждую-то проточинку в пазьях струит предательским сквознячком и уносит на улку с таким трудом припасенное тепло от сырого ивняка и ольховника. Дети посапывают на полу, а пальцы шмыг-шмыг, как прирученные мышки, и тянется овечье прядено из клубка, умошечного в подол бумазейной юбки, и спицы будто сами собой наисккивают петельки, а губы невольно насчитывают рядки, чтобы ладненькая вышла пестрая рукавичка древнего поморского узора иль носочки из грубой овечьей веретенки, но взгляд невольно нет-нет да и подымется к стене, откуда, будто икона, смотрит на вдову из черной рамы муж и все растягивает меха тальянки, уж который год не уставая, не прерывая игры...

Помнится, мать моя была доброй стряпухой и рукодельницей. *«Конечно, Тоник, тебя расстраивать неохота, но приходится писать, что я живу не очень. Ты мне теперь становишься во много раз роднее, я вижу, какой я одинокий, какая без тебя плачевная моя жизнь... Ведь я, Тоник, не едал еще настоящего супа, варится суп из баранины, а получается картофельный или капустный. И не едать мне до тебя тепленькой шаньжки и тепленького пирожка. Все хлеб и хлеб. Хорошо еще, что еще и хлеба ты мне посылаешь... Вчера приходили все учителя. Поиграли в карты и разошлись. Самовара не грел. Так неловко, но что поделаешь. Нет моей дорогой хозяйшки».* (Из письма, январь 36 г. А ведь матери было только восемнадцать лет. - **Авт.**)

Но в старости уж и простых калачей не хотела (иль не могла?) завернуть, так все найжтое призабылось, такая непосильная усталость навалилась, и сердце окончательно остыло к меркнушему быту. Поставит на элекрическую плитку кастрюльку, накрошит туда картох, бросит ложку тушенки, горсть макарон - вот и вся трапеза на два дня. Наверное, потому человек и торопится всё сделать заранее, чтобы успеть выполнить заповеданный урок; толчется как заведенный в круговерти дней, чтобы в конце жизни остыть от горячки, позабыть все тленное и окончательно уйти в себя. Одна ныне забота - как бы не замерзнуть, не околеть в остылой кровати, и вот целый день, родимая, толчется возле печуры, которая так бестолково сложена (будь она неладная!), что тепло не столько в дом, сколько на улицу; лицо и руки в саже, платок на голове кулем, на плечах заношенная подергушка... Она ли, она ли сурьмила когда-то перед зеркалом брови, старательно выщипывала, вытягивала их в нитку, губы наводила красным карандашом, пудрила скулья и упругие щеки, волосы на висках завивала на каленый гвоздь, а сзади укладывала на валик, а голову покрывала беретом, похожим на блин. Так хотелось быть красивой (перед кем?), ладной, стройной, завлекательной, чтоб люди дивились вдове и невольно оглядывались вслед. И будто в один день все внутри оборвалось и все ухорошки показались ненужными, были кинуты в бедную облупленную шкатулочку вместе с медалью «За победу над Германией» и незаметно затерялись...

В преклонные годы одевается бабенья в самое затрапезное и серое, чтобы цветом одежды сравниться с осенней русской природой, и пользует еду самую постыдную, чтобы не распалить утробу, и жалеет уже не столько ближних своих иль

соседей-сельчан (ибо Бог дал, Бог взял), но какую-нибудь тощую помойную кошачку, иль бродячего псишку, иль заклеванного до полусмерти петуха, иль бронзового жука, беспомощно лежащего возле ног враскоряку, которого долго ворошит соломинкой, и вот часами наблюдает за ними, удивляясь повадкам и чему-то бесечно смеется, утирая отпотевшие от скорой влаги глаза. И не странно ли но взгляд чаще утыкается в то мелкое, не значащее для сурового прожитья, чего по молодости не замечалось: попал жук под ступню, раскололся, как орех, ну туда ему и дорога: охромел петух - под топорышко его да и в щаный горшок, ибо суровая жизнь на земле не терпит терзаний по мелочам, особенно когда дети по лавкам, как горох, насыпаны и каждый «ись» просит. Надо поднимать семью, заниматься обрядною, скотиной (коровы, овцы, свиньи, куры), той дворовой живностью, что помогала тянуть детей.

В молодости, когда вся прекрасная жизнь еще впереди, человек живет как бы в утаре, горит в работе; он ложится спать и даже в постели горюет, что не все успел, перебирает в уме те дела, которые отложены на завтра, и подушка от забот ворочается под голову; и вот нынче, когда бы, кажется, каждую минуту надсосчитывать, беречь, употреблять в пользу, живое время вдруг теряет всякую ценность, словно бы еще до смерти уже начат новый жизненный круг. Нет, не безразличие находит, не отупление, но тот долгоджанный покой, когда душа воистину брачется с небом, а зеленый полог березовой рощи за деревню чудится заветной таинственной сенью, куда можно безвозвратно утечь. Оказывается, отныне пригождается лишь то, что не имеет практического смысла. Вроде бы зима приступила вслед за осенью, но чувства охладелые и мелкие, скоро преходящие как в детстве. И слеза на глаза наплывает, как роса... Но если бы не случилось переживать, то не стало бы и воспоминаний, которые вроде бы не пригождаются никому, но имеют неоценимый странный смысл, ибо что ни содеется в мире, все когда-то приобретет форму воспоминаний. Многие полагают, что чем больше поскитаются они по свету, чем больше пошляются в утеху сердцу, чем сытнее и вкуснее помирволят своей утробушке, чем больше потаскаются по чужим постелям, заведя особый счет своим победам над женской плотью, тем краше станут на закате жизни картины воспоминаний; и вот пехаются во все уголки мира, тешат похоти, бьются за место под солнцем, вскарабкиваясь вверх по служебной горе, домогаясь власти, и вот вроде бы честолюбие ублажено и плоть утешена до отрыжки, было вкусно едено и сладко пито, но однажды, уставясь взглядом в огонь камина, только и припомнишь, как приятель бабу увел иль Петр Петрович, козел такой, подсел, а Иван Иванович сбежал из ресторана, не заплатив по счету. Какие странные выборки производит память, часто самые несущественные, от коих стыдоба одна, и если ты человек совестный, то даже по прошествии долгого времени отчего-то щеки начинают полыхать от смущения. А все скитания по миру превращаются в лоскутья мелких впечатлений, похожие больше на рассыпчатый прах, которые сводятся к одному: вдруг оказывается, что ничего толкового не увидел, чем бы можно восхититься на веки вечные, везде люди живут одинаково, едят, пьют, страдают, так же влюбляются, плодятся и ненавидят, так же старятся и, протянув из креста подагрические ноги (по достатку), смотрят из креслица отсутствующим взглядом в огонь камина, ворочая языком вставные челюсти, вызволяя из пляшущего пламени дотлевающие воспоминания, вызывающие отчего-то не радость, нет, но грусть. Ездил по миру вроде бы для изумления, а нажил лишь печаль, потому что все похоже, будто содрано под копирку, и ничего героического, необыкновенного, ради чего стоило бы жить и страдать...

Откуда в человеке такая охота к перемене мест? Да плоть тоскует от страха неминуемой смерти, словно бы увиденное в путешествиях можно забрать с собою на тот свет. Но почему прежде в женщинах не было подобного чувства, и, выйдя замуж в какой-нибудь поморской деревеньке Жерди, она ни разу не бывала, быть может, в соседнем печнице, что за рекою, но ведь несколько и не горевала о том, не брала в ум, и, чтобы увидеть мир во всей полноте, ей хватало побасенок калик перехожих и рассказов мужа, что возвращался с морского промысла иль с обоза в Вологду, Москву, дальние Сибири. Вернулись домой вживе, ну и слава Богу. Русская женщина не знала тоски, потому что ждала мужа, она жила всевечным ожиданием, и, будто клушка, вседневно толчася с детишками, она исполняла завет, данный от предков и Бога, и потому не так отчаянно страдала от скудости и заунывного постоянства затрапезной жизни. И свою ровность, покладистость натуры она передавала и детям своим, вкладывала в них душу, как ухорошки в драгоценную скляшечку.

А нынче женщины зачастую не ждут ни детей, ни мужа, и потому, зубастые, громогласные, напористые, пригрубые чувствами, рыскают по Европам, чтобы

заполнить внутреннюю ноющую пустоту. Но увя... Этот соблазн к перемене мест, этот плотский розжиг лишают внутреннего покоя и сладкой тишины, растравливают в душе зависть и черствость. Рожать бы надо бабе, полнить дом, продлевать родовую во времени, а она, грешная, никого не ждущая, таскается по чужим землям, чтобы хоть чем-то на время закопать сердечную разладицу. И утешается мыслию, что жизнь только на разбеге, что всё еще впереди, и не понимает, несчастная, что давно уже потерялась лишь потому, что, возгоржась собою, не научилась ждать. Куда бы ни заносил тебя Господь, но вся полнота воспоминаний вызволяется лишь из этой внешне незавидной жизни, прожитой в своем куту, куда поместила судьба, и ничем ныне уже не раскрасить её. И ей, душевно расхристанной, никогда не воскликнуть изумленно, благодарно глядя на солнышко: «Слава те, Господи, до весны дотянули, а теперь будем и дальше жить...»

...А может, для того и стоит ездить по миру, чтобы понять, что везде удивительно просто и одинаково даже в житейских мелочах?

Поклон мой Радигостю и Пирогоще... Еще послевоенный голод незабытен, еще белого хлеба не наелись, но гости в доме безвыводно, самовар со стола не слезает, что есть в печи, на стол мечи. Скучно угощение, но от всего сердца. Уже появились в продаже баранки, сваренные в местной пекарне, толстые, зажарные, будто покрытые блестящим коричневым лаком, их и выставляли кушаньем на стол, если не было печива или магазинских глазурированных пряников. Баранки нанизывали на дратву и эту снизку колачей, будто ожерелье, надевали на шею. У сушек был не только плотяной смысл, ествяный, но и тайный, эротический, плодильный, о котором я догадался куда позднее. Почему-то мужикам нравилось в баранку просунуть палец, крутнуть колечко и особенным образом так взглянуть на бабу, что она невольно вспыхивала жаром и опускала глаза... И мы подражали взрослым, но ничего внутри не возникало.

Этот калач, разломив, хорошо положить в чашку с чаем, и он, скоро размокнув, разопрев, распухнув, раздобрев и разомлев, выпив в фаянсовой посудинке всю водичку, вдруг азартно, торопливо укатывался в твою заячиную утробушку, чтобы тепло и уютно улечься там; а самовар посипывает, завивая кольцами задышливый парок, как домашний толстый кот, пускает в потолок свою гнусавую песенку, и в медном зеркале его начищенных пузатых боков отражается и твоя мальчишечья замурзанная рожица, и худое мглистое лицо бабушки Нины с завернутым вовнутрь высохшим в строчку глазом, и курносое скуластое обличье моей матери, странно скособоченное, кривое, отчего ты невольно прыскаешь в кулак и торопливо двигаешь чашку под краник, а сам поглядываешь на тарелку, где лежат твердые лакированные сушки, похожие на уснувших рыжих щенят...

«Эх! - невольно думается с завистью, - сколько бы я мог умять этих жилистых заварных калачей, а вместе с ними в мое безразмерное ненажористое мальчишечье пузцо влезло бы с десяток чашек чаю и вся голубоватая на сколе искристая сахарная головенка, от которой мама откусила щипчиками по кусманчику сахарку и надела «рукодано». Бабушка пьет долго, деловито, колупая от своего кусманчика единственным желтым зубом, прижимая сахарок, сострагивая лишь сладимую тончайшую пленку и слатывая ее, и так же деловито смоктает зажарную баранку, а после шестой чашки укладывает обсосочек сахарку на край блюда, переворачивает чашку вверх дном, вытирает сопревший лоб от легкой росы и в который уж раз елозит гребнем в толстых, как проволока, волосах, высоко подрубленных сзади над оголенной морщинистой шеей. Бабушка смотрит на портрет сына Володи, растягивающего мехи гармоники, вздыхает, и на зрячий пока единственный глаз накатывается скоро просыхающая слезка. Среди родных живет мнение, что бабушка Нина иссушила глаз по погибшему сыну. (Ей плакать никак нельзя, ибо может потерять и второй глаз). И мама Тоня тоже вскидывает взгляд на мужа Володю, но уже ничего не говорит, потому что все давно высказано и добавить нечего. Мой оставшийся на войне отец и по смерти близит двух женщин и невольно делает их родными. У каждой горе свое, и утрата бесконечно, неутомимо точит, иссушает сердце и навостряет взгляд ревностью. И невольно щемит обида: а почему так жестоко Господь наказал именно их, не помиловал, не помироволит? (Так я полагаю нынешним умом, а тогда, девятилетний щеня, я лишь хитро стрелял глазами по столу и по распахнутой двери, на которой парусила от летнего сквозняка занавеска, размышляя, как бы мне ловчее стянуть из тарелки баранку и улизнуть на улицу...).

Когда уж вовсе нечего было поставить на стол, мама нарезала черный хлеб ломтями, намазывала толченой картошкой, сдобривала постным маслом и, уложив стряпню на противень, совала в жаркую печь. Конечно, это не «картовные» шаньги, любимая еда поморянина, но, поданные на стол прямо с пылу, они смегались вмиг. Это было нечто промежуточное между настоящим печивом и непривередливой крестьянской стряпнею, соображенной хозяйкою на скорую руку... Ведь госте простой ломтек не подашь к чаю, душевное неудобство не позволит; как бы нарушаешь тем самым неведомо кем и когда установленный порядок и чин... Сами-то мы пробавлялись до пятьдесят седьмого года тем что Бог пошлет, но Всемиловитый посылал к столу так скудно, что мать по незатихающей гордости своей перед обедом запирала двери, чтобы соседи случайно не узнали, чем пробавляется вдовица. А часто бывала лишь запеченная на листе картошка, и смуглую кожуринку с золотистыми пытонышками усмирненного огня мать умудрялась каждый раз присолить слезами... Я отворачивался, только чтобы не видеть воспаленные до красноты веки, лазоревые глаза и распухшую от желез шею.

Ведь попросить - не украсть, но вот у матери как раз язык-то и не поворачивался для просьбы, словно бы в него внедрялось вдруг раскаленное жало и вставало поперек горла. Одалживать в людях мама посылала меня, обычно за неделю до получки, и не по родне я бегал за помощью, задрав голову, но отчего-то стучался к учителям, кто начинал службу вместе с отцом и бережно хранил память о нем. Завидя мою скукоженную от мороза мордашенцию, багровые руки в ципках, как бы вареные в кипятке, заledenевшие варежки, чудом держащиеся на кончиках пальцев, и вставшую колом пальтьюшонку, они уже без слов знали, зачем я появился ввечеру при ранней луне, когда от облитых таинственным светом высоких снегов встают в раскаленное небо голубые сполохи, похожие на призраки, а под угором, где начинается поскотина, уже пугающие дегтярный мрак, по дну которого прибрели к городку медведи и волки, уставя на меня вспыхивающие изумрудами глаза. Вот вспоминаю, и самого холодом обдаёт, так все близко, оказывается, неизгладимо, совсем рядом - и причудливая под луною громоздкая тень от избы, занимающая половину улицы, и этот хрусткий скрип ступенек крыльца, и протяжливый взвизг уличных ворот, потемки коридора, когда вместо ручки торопливо нашариваешь кошму двери, чтобы ловчее потянуть на себя, и ослепляющий свет керосиновой лампешки из кухни... После морозного запаха снега и воли керосиновый дух резко шибает в нос, но это дух тепла, размеренной избяной жизни...

«Мама взаймы просила, - говорю я вздрагивающим от стужи голосишком, едва ворочая языком. - Ну хотя бы три рубля до получки».

Хозяйка без слов уходила в горенку, не долго копалась в шкафчике и выносила денежку. Мать в должниках никогда не оставалась и деньги отдавала сразу, с получки, хотя по трешке, по пятерке набиралось порядочно... Но проходило дней десять - и все повторялось...

Но зачем же только угрюмое, скорбное и печальное наискивать в голове, если лишь подобное носить в памяти, то загнешься от одних воспоминаний, как уловленная в иордани наважка в крещенскую пору... Ведь было же, братцы мои, было и иное, осиянное, когда праздничный дух Пироговщи царевал в нашей боковушке.

...Еще свежо в памяти: на воле темным-темно, выколи глаз, стеклина в толстом снежном куржаке, как во мху, а по убогому нашему житьишку волнами плывет хлебенный сытный хмельной дух - это квашня живет, дышит на самом верху печи-голландки в потемках, умудряется пускать на волю пузыри, хотя и плотно закутана в портище, чтобы не остыла. Как-то мать умудряется поднять кастрюлю на самую верхотуру, под потолок, ибо тут ей и самое место, только здесь и сохраняются жалкие остатки тепла. В этом закуте мать пробовала прятать от меня сахар, выданный по карточкам, но я, пролаза, ростом с валенок, скоро вынюхал скоронку и нанес провианту большой урон, а маме печаль и досаду.

Нет, братцы мои, это не нынешнее скорое городское печиво; наведет хозяйка в кастрюле скороиграющих дрожец, и уже через два часа можно стряпать. Пирог пышные родятся, пока горячие, но так же скоро и упадают в теле, хиреют.

Помню, мать-то за ночь не один раз вскочит, чтобы тесто посмотреть, подмешать мучицы иль придавить его крышкою, чтобы не ушло вон. Проворонишь, да коли выплещется через край квашонки и поплывет по печи, тогда хоть ладонями черпай, хоть ложкой заскребай...

А мороз как из пушки палит, кряхтит изобка, оседая на пяты, но с третьими петухами вскочит мать с кровати (сердце-то сторожит, как бы тесто не упустить) и, осторожно переступая через наши тела, разметававшиеся на полу, начинает те-

стяной ком нянькать, перекидывать с ладони на ладонь да приколачивать - вот так же только что выскочившее на белый свет дитя шлепают по заднюшке, чтобы очнулось оно и заорало «лихоматом». Вот и печка заскворчала, загудела, розовые лисы игриво выскочили из дверки на пол - и давай поплясывать на студеном полу да сметываться алым заревом на оконницы. Батюшки мои, какой тут сон, когда от хлебного духа в носу свербит, вроде бы и дремлешь на одном глазу, но невольно ловишь дуновение запашистых сквознячков и, поставив уши топориком, с закрытыми глазами разбираешь: ага, кочергой мать заворочала, разбивая головешки, выравнивая уголье по поду, потом загремела деревянной лопатой и противнем, заталкивая его в жар, - и в это мгновение, кажется, весь мир замер, насторожился чутьисто. Не хлопают двери туда-сюда, впуская морозные хвосты, не бродит хозяйка по своим делам, но вот присела на табуретку, и, вроде бы безучастно глядя на керосиновую пиликалку, сложив усталые руки в подол юбки, сама замерла и ждет, подгадывает, когда придет пора доставать из печи листы. И вот ни с чем не сравнимый пирожный дух поплыл по комнатенке, съехало с противня на стол румяное печиво, макая в жир (какой привелся) куропачьим крылом, смазывает мать стряпне огненные бока, накрывает полотенцем, чтобы приобмякла она. Вот в эту-то минуту и появляется на пороге Пирогоща - и давай тормошить нас, «засонь», дескать, протирайте, детки, глаза и садитесь за праздничный стол.

Если день субботний, то стряпает мать «каждоденное»: шаньги крупные и заливные, или шаньги «картовные» и ягоднишки, шаньги творожные да колобки житные воложные, да пироги «капустенные», да колачи, да кулебяки с той рыбкою, какую Бог послал, только чтобы в тесте держалась, не уплыла. Это всё стряпня неуросливая, не требует от пекарихи особенного умения, к чему любая поморская женочка пристала с молодых ногтей. Но меня удивляет нынче, как это мама умудрялась стряпать в печи-столбушке (голландке), куда противешок влезают маленький, а пирогов на семью затеяно много.

Мезень - городишко хоть и старинный, исторический, но беззатейный, не фаносистый, но тоже со своей похвальбой: прозвище у мещан - «кофейники», из веку пили кофе из самовара. Каждая хозяйка на Мезени могла печь многое: жилое - к чаю, сдобное - к кофию, одних тортов - двадцать сортов. Где-то на Руси были кожемяки и кузнецы, коневалы и ткачи, косторезы, кружевницы, пимокаты, древоделы, литейщики, сапожники, портные, плотники, а в Мезени до сей поры, когда я пишу эти строки, здравствуют пекарихи. «Стол-то как картинку сделают, умеют наряжать». И хвалилась хозяйка перед гостями не закусками и стоялыми винами, а печеным. «Мода была такая принята». Но и в этом затейном рукоделии особый талант нужен: ведь одна мучка, да разные ручки. Потому на свадьбы и именины стол готовили званые пекарихи. Бабушка Нина все умела стряпать, а мама моя пекла только «каждоденное», но, конечно, пироги да шаньги из ее рук были самыми вкусными на свете. Об этих теплых пирожках часто вспоминал в письмах мой отец...

7.

Помню, ехал я из Архангельска в Мезень на пароходе «Воронеж» по журналистской командировке; на нем когда-то я покидал родину, чтобы увидеть белый свет. Та же надраенная палуба, чуть скошенная назад огромная черная труба с красной «генеральской» лампасой, скамейки, принайтованные намертво, щедрое весеннее солнце плавится в воде, своим отражением залепляя глаза, море лосое, как зеркальце, ничто не колыхнет, не отзовется в нем на жаркие воздуха, лишь сонно покачиваются чайки-моевки, похожие на сетные поплавки; и вроде бабы те же, осадистые, щекастые, грудастые поморянки с ведрами и холщовыми сумками, забитыми городским продуктом, и прежние сухопарые голубоглазые мужики, слегка захмеленные, праздные, с тоскующим от вынужденного безделья взглядом... Может, они и были, лишь на десять лет подзаветряли, присъезжились, потускнели. Ведь «старые старятся, а молодые молодятся».

Подле женщин на соседней скамье сидел одноногий бровастый старик в суконной кепке-восьмиклинке и все время подбивал деревяшкой по сапогу, выставив березовую култышку в мою сторону.

«Молодой человек, можно вас на минутку, если не посчитаете за оскорбление», - вдруг позвал он меня, и сподручницы с интересом уставились в мою сторону. Я подошел, отчего-то краснея.

«Вы садьте, ноги неказенные, - старик пододвинулся, освобождая место. - Если

для вас нетрудно и не почтите за назойливость, то ответьте, пожалуйста, на один интересный вопрос... Ваш отец случаем не деревенским учителем служил?»

Я кивнул.

«Дальше продолжу в том же роде... Может, его звали Владимир Петрович Личутин и служил он в Азаполье?»

Я снова кивнул...

«Ой, как вы схожи обличье-то! Смотрим, он или не он, боле некому. Вы уж не пообидьтесь, что потревожили вас», - добрые женщины, они, перебивали друг друга, и каждой хотелось вставить словечко, глаза наливались быстрой слезой от воспоминаний.

«Ну будя вам, курицы! Налетели на мужика», - пробовал урезонить косоногий старик. Но куда там...

«Мы ведь учились у вашего татушки»...

Я невольно прикинул их возраст и поразился, как быстро течет время; значит, отцу было бы нынче за шестьдесят.

«Он некрасовитый был, но большой умница. Мамушку-то вашу, бывало, завсе на руках носил. Мы после школы провожали Владимира Петровича, он к себе домой и пригласит, а у вас полы в избе накрашены, печеных пирогов полон стол. Мамушка-то ваша рукодельница была. Уж завсе чай пить посадят. Сам-то учитель чай напусто пил, сахар прятал в железную коробку, копил, а после детям и раздаривал... Вот чаю-то с шаньгами напьемся, а после с горы на санках с нами. В сугроб-от закатимся да падем, с головой зароемся в снег, смеху-то ой! После нас отряхает... Добрый был. Аня про него и стих сложила. Ты, Аня, не стесняйся, помнишь, как допирали до нас учителя, кто да кто сложил?»

Аня, худая и смуглая, как черкешенка, женщина, обтерла губы уголком платка и прочитала нараспев:

В Азапольской средней школе учит пять учителей.

Митрофанов, Епифанов, но Личутин всех добрей.

Митрофанов на кровати, Епифашка на печи.

Как грызут-то кирпичи, загибают калачи.

«Ну и ловка ты, Анка! - засмеялся старик. - У нас из века мода на деревне к сочинительству... - и уже обращаясь ко мне: - А папаша твой умник большой был, ой умник! Сейчас бы ему министром культуры быть иль выше куда. Помню, как роман «Война и мир» на публику читал, дак не с месяц ли до ума доносил. Народу набьется, в избу-читальню не влезали. Такого свойства был человек, умел вовлекать, и к нему все тянулись».

...Собственно, с сапог все и началось тогда. Выдали обувку учителю по разнарядке. Зашла однажды Тося к тетке своей по нужде какой-то. Осень была, дождь с ночи не переставал, грязь непролазная. Глядит учитель, а у девочки сапоги развалились, каши просят. Что толкнуло парня в самое сердце, но только поспешил к себе в боковушку, а у сундука еще новехонькие, ни разу не надеванные сапоги хромовые стоят, только что наробраз выдал к учебному году. Глядятся, как любушки, голенище к голенищу, и через ушки серая бечевка пропущена. Схватил, в сенцы кинулся, а Тося уже за щеколду ухватилась, собралась уходить. Пихнул сапоги в руки: «На, бери!» «Не-не, Владимир Петрович», - испуганно отпрянула. «А ну бери, кому говорят!» - прикрикнул сурово, перекинул ей через плечо, словно бы собрал девку в дальнюю дорогу, но, чтобы зря не марать обувку в грязи, приказал покамест босиком идти.

«Бери, бери, не вводи меня в строгость», - и вытолкнул за дверь.

Вроде бы вдвоем перепирались в темных сенях, да и на улице пустынно было в осеннюю непогоду. Однако через неделю в районной газете «Маяк» появилась заметка: «Советский учитель-ударник В.П.Личутин из Жердской школы подарил на прошлой неделе сапоги лишенке Житовой А.С., чем опозорил великое звание народного воспитателя. Явно от тов. Личутина В.П. попахивает душком морального разложения. Надо покопаться поглубже в его происхождении и посмотреть, чей он человек и на чью мельницу льет воду. «Неподкупный».

Учитель прочитал навет, изорвал газетенку в клочья и от напраслины, возведенной на него, стало ему дурно, из носа пошла кровь. (Мама рассказывала, что подобное с ним случалось часто. Видимо, отец был человек неврастенического склада, с туго заведенной сердечной пружиной).

...Быстро засветил коптилку, и крохотный светильничек робко пробил темь.

Вгляделся в зеркало: измученное темное лицо, черное пятно крови на рубаше, похожее на неровную прореху. Рухнул на кровать, стал считать до ста, наковаленки в висках приутихли, утомонились. И тут в дверь внезапно едва слышно постучали, едва коснулись кулачком о войлочную обшивку.

«Да кто там? Входите! Не закрыто!» - крикнул с раздражением, едва приподняв голову с подушки и тут же захлебываясь кровью. Подумал: так можно когда-нибудь истечь, истаять, и никто не услышит, не спохватится. Дверь приоткрылась робко и раздался стеснительный голосишко: «Простите, Владимир Петрович, это я...»

Голос прошелестел столь же бесплотно, как недавний стук в дверь. Но учитель уже узнал и его, и пристертое сумерками лицо с напряженно распахнутыми глазами. Он нервно вскочил с койки, не зная, что предпринять.

«Боже мой, что с вами?! - изумленно спросила Тося и по-матерински, без тени неловкости прохладной ладоншкой прикоснулась к потному лбу. - У вас жар и кровь... Боже мой, вам плохо?»

«Нет-нет, что вы!.. Здоров и счастлив... Гули да гули, лапти обули. Даже шутить в состоянии», - рассмеялся учитель, и тут снова ударили в висках неутомимые кузнецы. Зажимая в себе стон, привалился к бревенчатой стене. «Вы пришли ко мне, как странно... Сновидение то или мираж? Сейчас я очнусь, и сиротливое одиночество больно обидит меня. Нет-нет, только не уходите. Я слышу даже, как сладко пахнет от вас ночными фиалками... Значит, вы услышали мой голос, мой зов донесся к вам?» - горячечно, выпренно вышепывал учитель.

«Это все из-за меня. Мне братан донес... Как-то все нехорошо получилось», - заикаясь от волнения и часто озираясь на дверь, повторяла девушка, боясь, что вдруг их застигнут врасплох.

«Я только что думал о вас, честное слово...» - «Не говорите так. Вы смеетесь надо мной... Сейчас кликну тетюшку. Она мигом поставит вас на ноги...» - «Никого не надо, только не покидайте. Они хотели оклеветать нас, глупцы... А мы пойдем рука об руку. Я так ждал вас, я одинокий человек, меня никто не любит. Мне так тяжело, поверьте...»

Учитель был словно в горечечном бреде и плохо понимал, что говорит; бестолковые слова прорвали плотину, и сейчас он задыхался в них не в силах найти самое нужное. Учитель боялся, что гостя так же неожиданно уйдет, как и появилась, потому торопился внушить девушке, что любит ее.

«Я не думал, честное слово... Я не знал, что так хорошо бывает. Я одинок был, поверьте...»

«Как вы красиво говорите. Вы все придумываете, - Тося подала учителю влажное полотенце, и он вдруг стремительно прижался к ладони сухими шершавыми губами и стал часто целовать, опаяя дыханием руку и больно, цепко сдавливая ее. - Отпустите, прошу вас... Как стыдно-то, - бормотала она, вся дрожа. - Мы ведь не ровня... Вы всё делаете, чтобы подсмеяться над бедной деревенской девушкой...»

Тут в сенцах гулко хлопнула дверь, видно, с хозяйской половины кто-то вышел, Тося очнулась от наваждения и выбежала вон...

В газету «Маяк» жердский учитель Личутин послал объяснение: «Вашу заметку касательно выдачи сапог считаю необоснованной ни на чем. Во-первых, в прошлом году Жердская школа, а также школы всего сельского совета не занимались распределением сапог. Одна партия сапог (4 пары) с разрешения сельпо и сельского совета были выданы учителям и сторожу, в числе которых одна пара попала и мне, как учителю. И ношу я их сам или кто другой, никому до этого дела нет, так как я вторых сапогов не получал. Интересно бы узнать, кто написал эту заметку про меня».

Деревенский учитель подкарауливал Тосю, и, словно заранее сговорившись, они молча уходили за деревню, забирались в древнюю заброшенную мельницу с пониженными крыльями и напряженно, настороженно сидели в углу клетки, пропахшей мучной пылью, дожидались, когда догорит и погаснет день и опустится на ближние запольки, пожни и навины стылый октябрьский вечер. И когда станет зябко и дрябло, можно будет, словно бы прижимая девушку, скинуть с себя пальтоуху и, неловко прижимаясь, накинуть на плечи Тосе и будто бы невзначай забыть ладонь на ее спине, слыша, как напрягается она и начинает смущенно ускользать прочь, а тогда, настигая и уже балуясь, словно бы понарошке прижать девчонку к себе до томительной слабости во всем теле и шептать задышли-

вым от волнения и страсти голосом: «Любовь не похожа ни на что на свете, Тонюся. Она появилась на земле весенней ночью, когда юноша видел одни глаза, одни глаза. Я ведь тоже видел только одни твои глаза и ошалел. Смотрел и не мог оторваться... А он, тот юноша, целовал уста, и ему казалось, что два светила столкнулись в его груди...»

Девочка молчала, словно бы настороженно прослушивала каждое слово или вглядывалась в себя, в свою зреющую для любви душу.

«Нет, нет... я ведь некрасивая... не пара я вам, Владимир Петрович. Ублажите вы меня словами да и бросите, - и вдруг решительно сбрасывала с плеч учительскую тощую пальтишку и убегала в деревню и уже из тьмы, с пашенной межи, из зарослей можжевельника кричала пронзительно: - Не надо больше... не надо... не приходите!»

Несколько дней Тося Житова пряталась от учителя, заведя его на улице, стремглав кидалась в дом и запиралась на вертлюги и засовы. А на сердце учителя теперь жила постоянная тоскливая ревность, доходящая от смертельного отчаяния; теперь ему часто представлялось, что у Тоськи есть кто-то другой, с кем она милуется вечерами, нашептывая сопернику сладкие слова. Уж какие тут уроки, какие тетради - все забылось, летело прочь, попав под горячую руку. Учитель бродил вокруг избы Житовых, как закодленная лошадь, вглядываясь в занавешанные окна, далеко за полночь просиживал на изгороди, пугая в предзимней темени прохожих... Так прошла зима, а ранней весной в Жердь приехал из Мезени духовой оркестр, в избе-читальне сбилась вся молодежь, охочая до танцев, а в углу среди стариков и старух, как нахохленный воробей, сутулился учитель, разглядывая веселых, потеющих от кадрили девок. Он не умел плясать и потому всегда прятался за людские спины, мучительно завидуя обнажившимся деревенским ухажерам, которые небрежно выхватывали девок из толпы, а после тискали и мяли в пляске. Сияла медь начищенных труб, от багровых музыкантов валил пар, и тарелки ударника выбивали оглушающие громы, особенно возбуждая молодежь. Но вот и духовики утомились; курили тайком, спрятав носогрейки в рукав, тут завелась тальянка, и понеслась по затертому полу деревенская вихревая топотуха.

Рыжий плясун вдруг выкрикнул на потеху публике:

У Ермаковых овцы вышли,

Мы не будем заставлять.

Пускай Личутин любит Тоньку,

Мы не будем ревновать...

Тут выскочила в круг Тоська Житова и, сделав руки на груди кренделем, пошла мелкой поступочкой, подманивая рыжего:

Оя-ой, какая грязь,

Калоши наливаются.

Было с осени отказано,

Опять гоняется...

Учителя словно небесным пламенем опалило, так вспыхнул он вдруг до корней волос. Показалось, что весь зал раскололся от оглашенного смеха; ржали красномордые охальные парни, тонко хитхикали потные грудастые девки, а пуще всех с прогибом назад заливалась Тоська.

Учитель выскочил в круг, больно схватил девушку, подернул к себе, словно бы готовый ударить с разворота, легкий хмель от недавно выпитой браги вдруг ударил в голову и оглушил. И, уже теряя разум и смысл происходящего, учитель закричал, перекрывая смех: «Знай, Антонина Семеновна! Они вырыли мне яму, а ты накрыла ее камнем!»

С того вечера не виделись больше месяца. Учитель вскоре опомнился, загрустил, так и эдак подступался к девочке, но та каждый раз наубег и дверь на запор, лишь однажды удалось подстеречь, притиснуть к изгороди.

«Вы зря, Владимир Петрович, мучаете себя и меня. Перед народом стыдно. Зачем преследуете, ведь ничего из этого не выйдет». «Тося, но я же люблю тебя», - осякшимся, пересохшим от тоски голосом почти простонал учитель.

«И не любите вы меня, Владимир Петрович. То выдумка ваша. Вы только себя любите, чтобы вашей душеньке было хорошо». - «Неправда, Тосенька, неправда... Ты свет моей жизни, ты лучезарная звезда. Мне ничего не надо для себя, я только хочу видеть людей счастливыми». - «А меня тогда за што обижаете? Што я вам такого плохого сделала?»

«Ну прости меня, прости», - подавляя в себе гордость, учитель готов был встать на колени в весеннюю жидкую грязь на виду у всей деревни.

«И ни к чему всё это... Прощайте». И ушла. Со спины ничего красивого, ватная коротковатая пальтюшка, из куцых рукавов вытянулись тонкие белые запястья юницы, еще девочки, смазные бахилы выше колен, наверное, братневы. Господи, было бы на что глядеть-то, но ведь так больно зацепила сердце остроуго, что закровило оно, застонало вслед: «То-ся-я, вернись!»

Вечером написал карандашом умоляющее письмо и попросил Аниську Житову передать сестре: «Тося, кто из нас прав и кто виноват? Я большую часть вины кладу на себя, но и ты в избе-читальне сотворила что? - в глазах людей бросила вызов нашей любви. Если я пьяный поступил с тобой грубо, то ты тоже меня можешь как хочешь оскорблять, но только не при народе. Ах, как тяжело переносить всё тебе, но и мне теперь тяжело. Когда остаются последние дни до полумесяцовой разлуки, ты желаешь лучше ходить по улицам одна, чем последние дни провести со мной.

Я первый хотел искупить вину. Я первый подошел к тебе с мольбой выйти и выяснить дело, но ты не пошла и после так грубо поступила со мной, что когда я сижу и пишу эти строки, то мне не верится, что это было вправду. Да, я был побит тобой и так побит, как никогда в жизни. И это тогда, когда я ищу человека, который бы понял мои страдания в жизни, облегчил бы мне искренним словом дружбы мою незавидную жизнь, полную печалей, но я в тебе как в друге встретил отвращение ко мне. Я перенесу... да и как мужчине не перенести. Позор... Виной всему моя ревность, я боюсь оставить тебя одну. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. Вот из-за этого я напился. Из-за этого я грубо поступил с тобой.

Тося, любовь, которую я к тебе имею, у меня не погасла, я теперь, как никогда, чувствую, как что-то оторвалось от сердца, и так тяжело мне стало, так тяжело. Охота плакать, хоть успокоиться, но ведь и слез не стало. Стал я жестокий и стал я грубый. Правильно ты меня тогда обозвала, «что ученый человек, а так со мной поступаешь».

Тося, прости. Вспомни наши страдания, и ты поймешь, что я тебя и не думаю бросать, а наоборот, я у тебя прошу прощения. Приди, Тосечка, и напиши с Аниськой хоть словечушко, придешь или нет. Еще раз прости за все, что совершил».

...Ни ответа от девушки, и сама не идет. Поплелся учитель к желанной, вроде бы нехотя протаскивая ноги, тяня время, почаству оглядываясь назад: думалось, что Тоська вот-вот вытается из темени и вся размолвка счастливо сотрется сама собою. Но как ни тянул время, за считанные минуты оказался возле избы Житовых. Учитель, как петух, уселся на изгороди, не сводя навязчивого угрюмого взгляда с темных окон. За речкой на вересовых холмушках пикинула гармошка, кто-то пропел частушку, ее перебил захлебистый смех. Несколько раз учитель порывался к двери, чтобы выбить ее ногою, выставить из петель, всполошить всю деревню, но боязнь держала на месте: вот откроется дверь, появится Тоська и выплеснет последние приговорные слова. Уже за полночь было, когда раздался на повети шаги, приоткрылась дверь, учитель прынул с изгороди, подался к взвозу.

Вышла Тосина мать, едва различая в темноте учителя, сказала сверху: «Владимир Петрович, вы меня слышите? Оставьте мою дочь во спокойе. Ведь сердцу не прикажешь... Не любит она вас и видеть не хочет. Она ведь еще совсем девчонка, еще в зрелую пору не вошла, а вы ее донимаете... Ступайте, ступайте... Уже деревня над вами надсмехается. Доколь еще людей смешить да скоморошничать?»

В живых с времени тех событий осталась лишь тетя Аниса, та самая Аниська, девочка лет девяти, что таскала записки влюбленным. Всю жизнь была она «песельницей», плясуньей, гостей приветчать любила, а теперь старуха-вопленница с сухим, будто обожженным изнутри смуглым лицом и лихорадочным взглядом - так обстрогали ее годы к старости. Тетя Аниса рассказывала мне, как Владимир Петрович выламывал двери в избе Житовых, добиваясь свидания с Тоней.

Остались лишь воспоминания матери, мной записанные, и отцовы письма...

8.

Во вдовьей жизни нет ничего страшнее, чем оказаться без дров, особенно на крайнем севере; голод не так страшит, можно как-нибудь извернуться из кулка да в рогожку, призанять денежку до аванса, перехватить мучицы, сахарку, кислой рыбки иль задешево купить куропатку у промысловика, что без лесовой дичи не живет. Но без дровишек и на своей печи замерзнешь, превратишься в корчупку, мороженую наважку. А попросить полена на истопку даже у ближних соседей язык не повернется: засмеют. Без дров, милые мои, и на своей печи около трубы околеешь...

У кого в дому мужик, тем куда легче: пусть и косоногий, с березовой култышкой на ремнях, иль косорукий, с подоткнутым за опояску пустым рукавом, кривоглазый, иль пьянь-пьяню, вздорный и матерщинный, что с ремной гоняет жену с печи на полати.

...Ой, миленькие мои, да только бы с полным «кисетом», с боевым михером вернулся, а тогда и радость сердечная продлится, и дети не заставят себя ждать, ибо многой плодильной силы накопили русские солдатики за войну, и ошалелые бабы, казалось, рожали даже от жаркого поцелуя иль помывшись в городской бане после «мужского дня». Сталин верно сделал, запретив аборт под страхом тюрьмы, сознавая спасительное, неукротимое природное влечение к детям... «Родилку» наглухо не зашьешь веретенкой».

Ведь у русского, кроме Бога и земной страсти, есть еще и жалость, и сострадание, и готовая для ласки душа, и совесть, и то самое «авось», которое за вихры вытянет человека из самой-то «безнадеги». Дескать, у Господа не без милости, где шестеро толстокоренышей по лавкам, там и для седьмого хлебный кусок найдется и ситцевая рубаха. А если и портчиков нет, и босым дитешонок бегаёт с редка зимы по студенному полу, так то, братцы, не беда, которой бояться надо. Были бы кости, а мясо нарастет... Беда, когда детей Бог не попускает на свет. И муж погиб, и под боком никого, вот и доживай век сиротою, как бы внапраслину...

После войны, когда до вдовьего сердца дошло окончательно, что ждать уже некого, что надо свой век самой устраивать, а плоть земная укорливая, привередливая, ей тоже сладенького хочется, и по ночам выказывает она себя во всю нутрянную силу. И вот, выплакавшись в подушку в последний раз и оставив за чертой прежнюю жизнь с благоверным, бабенька невольно начинает зыркать взглядом по встречным-поперечным, высматривать мужичонку, пусть и завалившего иль занятого и многодетного, смущать его, подвигать хоть бы на разговоренье, на один утешивший часок, а там, как Бог даст: кому краюха с маслом приведется, а кому житняя черствая кроха на один зубок.

И вот помню, что «сколотные», «байстрюки», «выблядки» стали рождаться в нашем околотке как грибы после дождя, почитай, через дом. Но к ним никакого небрежения не было, как и к матерям их, ребятишки были нашего, русского, племени и росли для будущей русской дружины, для общего, государственного, дела. И грубоватая приговорка «Отцов как псов, а мать родна - одна» вдруг не то, чтобы померкла, но повернулась вдруг неожиданной, благодарной стороной. Когда молодые мужики остались в окопах, то «Счастливецевым», вернувшимся с фронта, и тыловикам невольно пришлось заменять «Несчастливецевых», и неожиданно «плодильная сила» человека оказалось для государства в особой цене. Как бы вдруг по всей России, даже в самых-то ее затерянных окрайках, был открыт второй фронт по восполнению русского племени... Теперь за свободного, что в силе, мужичонку женщины порою и поленьями дирывались, и платье в лоскуты полосовали. Любви вдовице хотелось сильнее, чем хлеба. И невольно позабывалось, что ребенок - не только счастье, но и ярмо добровольное, его с плеч не скинешь, как беремья сена, а надо тащить на себе до скончания жизни... (Вот так и в нашей семье через десять лет после ухода отца в армию появился братик Вася).

...Я и поныне помню, как одноногий мужичонко, запрыгавши сельповскую иль колхозную лошаденку, отправлялся через болота на далекую Пыю в березовые древние ворги, стоящие по берегам тундровой речонки, и там, напластав дровишек, дырявя культей снежную целину, умудрялся за зиму через семь потов потихоньку наставить на своем дворе морошково-желтые поленицы березняка на зависть одиноким бабам... А вдовице никто лошаденки не пожалует, это тебе не прежняя деревня, когда весь мир за сиротею с дитешонками стоял и не давал ей во гноище упасть и потерять добрый разум. Вот и изворачивайся, баба, из кулька да в рогожку. Как мыша домашняя, вытягивайся, родимая, в нитку, суйся в каждое место за прожитком, чтобы сохранить детям здоровье.

Ведь зима на северах бесконечная, обжорная, и если снега завьют в феврале, так до апрельских оттаек, если морозы устоятся на Рождество, так до майских подвижек реки. «Май - коню сена дай, а сам на печку полезай». Но как вдовице быть, если и матерый-то мужичище весь отпуск отводил на заготовку: измочалится, задымее, замглитися лицом, почернеет и сохнет пока-то вытащит на горку дрова. А маме приходилось истопку покупать (ну сажень-другую), на большее, пожалуй, не оторвать с кучей зарплаты. Остальное промышляй, баба, сама, если хочешь выжить; хорошо, коли ребятки уже подгадали летами и могут топор держать в руках.

Помню, топорщишко - тоже вдовья забота, за ним по соседям не пойдешь, надо свой иметь, а плотницкий топор нужен острый, прикладистый к руке, иначе над одной деревянной ладони искровянишь и слезами обольешься. Потому топорщице - первое, что я, еще ребенок, смастерил из березового полена, зачистил осколком стекла; причудливое получилось изделие, изгибистое, фасонистое, заковыристое без нужды, но к ладони прилегало без особой косины и ковыряния. В этом ремесле тоже свой опыт нужен, чтобы топор не клевал на сторону, чтобы его не кривило, когда бревно кантуешь, щепу гонишь; и насадить надо было ладно и плотно, чтобы жало топора стекало в одну линию с осью рукояти. Мне нравилась моя первая работа, но, увы, у топорщища жизнь короткая, его быстро исхлещешь, если рука вдовья или мальчишеская. Ну, а ежели топорщице сам умудрился смастерить, значит, ты мужик уже полноценный, хозяин, есть, на кого матери опереться. Это как бы первый жизненный урок... С этого времени и в работы можно наниматься. Ведь иной человеченко до конца жизни своей топорщица не вырубит, а значит, руки у него «не к тому месту пришиты».

Лезо топора я направил у соседей Шавриных на большом круглом точиле с корытцем для воды. Тот камень ломали на Зимнем берегу, а после развозили по всему Поморью. На круге правили не только топоры и ножи, но и косы. На севере их не отбивали на наковаленке...

И вот топорщишко у нас заимелся, уж не сказать, чтобы очень приемистый, но из бабьих рук не выпадал, тем более, что мама с детских лет осенями работала на сплаве, а зимой - в лесу на валке, где девушек заставляли «карнать» сучья. Надо сказать, работа эта сатанинская, стожильная, и мужик, даже самый дюжий и зараженный на работу, скоро уставал от ее монотонности и надсадности. Но считалось, что русская баба все стерпит, да и кто услышит ее скрытый сердечный вопи? Разве что подушка, ночная подружка... Поползай-ка по пояс в снегу на морозе среди сваленных елин и сосен, как бы нарочито вдруг павших поперек, да к тому же с хищно распростертыми во все стороны лапами, когда каждая норовит тебе подставить подножку, зацепить за подол, да потяпай-ка топором сучья до измору с раннего утра, когда еще солнце не взошло, и до вечерних густых сумерек, когда лопатина твоя - холщовая юбчонка и подергушка на вате - окостенеют на морозе, станут, как железный негнучий панцырь, волосы от пота собьются в колтун, и в каждой-то щелку навьется снега, и каждая телесная жилка стоскнетсся от стужи... Так что маме лесной труд был не в диво; но ведь прежде она была молодая, здоровая, телом налитая, как нетель, кровь с молоком, нервы-веревки, и глубокий сон за ночь даже в шалаше, на комарах, восстанавливал утасшие силы...

Да, на северах народ издревле бился за каждую дровину, но родину не хулил и не ударялся в бега в лихое время, чтобы спасти свою шкуренку. Каждый клоч поморской земли был отмечен мужицкой вешкой - крестом ли оветным, могильным гурием, рыбацким становьем, избушкой зверобоя, волочком, сельцом и погостом, церковкой на гряде у моря и прозвищем-приговорищем, чтобы ведали иноплеменики и не покупались на чужой каравай - что и здесь, в этой глухой стороне, на тыщи верст земля вековечно наша, русская...

Городок Мезень, стиснутый болотами, вытянулся по угору версты на две; внизу под горою по самую реку поскотина, заливные луга, а чуть левее - калтусина, сырь, дудки-падранки и осотник, бочажник и кочкарник, где сам черт ногу сломит, самые неудобия, поросшие чернолесьем: ольхой и ивняком. Здесь-то, в застопорке от города, и была как бы самим Господом отведенная вдовам сиротская деляна, где бабы-колотухи зимами заготавливали дровья. По теплой погоде туда не пройдешь, под рыхлой переновой долго пучится темная глухая вода. Ждали, когда мороз крепкий перепадет и снегу поднавалит, чтобы сухой ногой попасть в калтуса.

Вот и самая пора приспела. На горке у дома пусто, обжорная печка все дрова приела, нечем ей ненасытное пузцо набить да и нас обогреть. Поневоле сряжаемся мы с матушкой за истопкой. Санки-чунки наготове, обледелые скрипучие, с ободранными о дрожные ключи полозьями и поистертыми копыльями. Незавидные, надо сказать, санешки, но без них никуда на северах. Уже по первому снегу, чтобы не переться к роднику с ведрами, ставишь на чунки ушат - и за водицей. А водица, та хоть и из гремучего хрустального родника, бьющего из камешника, но живет далеконоько, в подугорье, надо всю Чупровскую улицу пройти, руки оттянет у мальчика, не раз отдохнешь в дороге. И вот ушат на санках - спасение и ликование детской душе. Притянешь ко крыльцу,ставишь в ушки ушата долгое коромысло и с матерью затащишь в сени: тут тебе, братец, самое место... За ночь-то вода оденется в броню, и поутру, чтобы умыться, бьешь ее наотмашь ковши-

ком, так что разлетается в стороны ледяное крошево. И невольнохватишь глоток «холодянки», и аж дыханье перехватит, и зубы заломит, а по черевам прокатится со щемью живая вода - дар от матери-сырой земли. (Это в нынешних воспоминаниях лирический окрас переживаний, с некоторой сентиментальностью, а тогда чувства охватывали первобытные, звериные, без психологических тонкостей, но ощущение щенячьего восторга, невыразимое словами, было).

Санки, прислоненные к стене, ждут на улице. Топор всегда готов, штанишоныкни внапуск на подшитые катанки, чтобы не набилось снегу, у матери - длинная холщевая юбка, почтовая тужурка, низко напущенный на брови шерстяной плат, туго сведенный в нитку рот, страдальческие морщины в углах рта, в серых глазах - сизая мгла. Когда нет на лице улыбки, мама кажется мне старухой. (А ей всего лишь лет тридцать пять). Она только что с работы, ей бы перевести дыханье да после спроворить ужну для детей, а она вот впрягается в веревочные постромки и, как подневольная лошадь, ступай исполнять очередное послушание. А сумерки зимою напускаются на городишко рано, багровой краскою измазывается запад с противного берега реки, где неровно громоздятся синие ельники, а за ними без конца-края замерли в ожидании ночи волчьи болота... И к нашей избе с тылу тоже приступают тундры, зимой, заметенные снегами, особенно немилостивые, и среди кустарника-еры вместе с куропатками и горносталями поскакивают нетерпеливые бесы, дуют, гнусавые, в кулак и ведут с путником недобрые игры. С северо-востока тянет хивус - суровый ветер-полуночник, к морозной ночи он окрепнет и, когда придет пора возвращаться в дома, станет жарить нам в лицо.

Мне тоже выходить из тепла на холод не в радость, я уже набегался после школы, пытаюсь канючить, тяну время, ищу щелку, чтобы увильнуть от заботы, но мама непреклонна: «Я вас кормлю-пою, убиваюсь, сна не знаю, на горке ни полена, нет бы матери помочь, лентяй!» Я побряхтываю, морщусь, с ленточьюна-тягиваю на плечи затерханную одежку, справленную из старого материного жакета. Ростом с валенок, уши лопухами, мать невесело взглядывает в мою сторону, как я одеваюсь; ей и жалко меня, но еще жалчее себя за свою горькую судьбину. Наконец-то мы срядились, вываливаемся в заулоч, мать впрягается в лямку санок, а я, будто жеребеноч, бегу рядом, ветер подталкивает в спину, по зальделой укатанной дорожке шагаем бойко, пока не спускаемся в низину, в чернолесье, уже изрядно обтюканное, по пояс в снегу, почти по-пластунски бредем в глубь каравого, причудливо изогнутого под северными ветрами лесишки, выбирая деревину помясистее.

Мать по-бабы, без замаха, тюкает топором, замороженная мякоть ольхи - оранжевая, будто напитанная кровью, поддается плохо. Но вот одолела, подпихнула плечом, лесина, прощаясь с товарками, шурша, цепляясь прощально ветвями, плюхается в рыхлый снег, утопает в нем. Мать торопливо «карзает» сучья, велит мне тащить ольшину к саням, а сама приступает к следующей. А дрова неукладистые, корявые, то дугой, то рассохой, зальделые, тяжелые, будто выкованы из железа, санки прогонистые, но узкие - и попробуй кладь увязать толком. Вот и пурхаешься в снегу, ломая поясницу, чтобы собрать дровину в груд, но и оставить жаль: силы трачены. Наконец, впрягаемся в лямки, мать расправляет на плече толстую промороженную веревку, я подтыкаюсь возле, напруживаемся, наискивая пяткой опору; ой, главное, с места стронуть, а там, как Бог даст, может, и пособит выбраться из целины, из этой бродной снежной гущи на дорогу. Раскачиваем санки, только, чтобы не опружить, пятимся спиной шаг за шагом со злой настырностью, дергаем из последних сил, на хлебном паре, хриплый стон вырывается из материной груди, что-то забулькало в горле - то ли смех, то ли плач, а уже стемнилось совсем, и мамино лицо почти не видать. Вершинник, огрузнувши с чунок в снег, цепляется, как якорь, не пускает несчастных из калтусины, будто воришки мы какие и схитили чужое.

Хотя и не впервой страдать, но никак не притерпеться сердцем к этой невзгод, ибо чересчур напастей легко на женские плечи: через неделю весь этот урок повторится, и с прежним остервенением мы будем вырывать возишко из снежного плена на санную дорогу, и так до весенних оттеек, пока серебряным настом не окует поля, луга и болотины, и можно будет твердой ногою шагать во все концы света с любой кладью...

И вот мы на дороге, сквозь мрак едва прокалываются желтоватые огоньки - это в избах затеплили лампы и моргасики. Санные полозья верещат по ледяной колее, поскрипывают веселее копылья, уже не так давит грудь веревочная петля. Ветер-хиус хватает за нос и щеки, я прячу заиневелое лицо в потный от дыхания шарф. Мать молчит до самого дома, думает бесконечную тяжелую думу. Во дворе

скоро нарубает на колоде охапку тонкого вершинника, заносит беремце в дом, с грохотом бросает возле печки.

Я, не раздеваясь, толчусь сзади ее, подглядываю, как мама споро забивает остывшее печное нутро сырыми дровишками, открывает вьюшку, напихивает бумаги, пытается разжечь. А это постоянная мука для матери. Дрова отпотевают, капает вода, заливает тщедушный огонь. Мама злится, на лбу и руках - сажные пятна, но печь не оживает, лишь кислый дух наползает из дверки в комнату, делая ее еще более унылой. Остался один выход: мать идет в сени за бутылью, плескает на дрова керосином. Керосина жаль, он для нас, как хлеб, это наш свет в окне: у пиликалки, крохотного моргасика, я делаю уроки...

В печи заиграло, затрещало, языки пламени готовы выметнуться на пол, дом наш сразу ожил, с окон в порошок потекла водица. Мама быстро разводит тесто на блины, скоро запахло печивом, появился живой дух. Мама сбрасывает на плечи плат, от огня ее курносое лицо становится молодым, расправляются морщинки возле губ. Вспухает, пыщится, надувается пузырем тесто в печи, раскаленная чугунная сковорода дважды брякает о лист фанеры, положенный на табурет, и на нее слетает прозрачный ноздрястый, как солнце, блин.

В такой печуре да на сырых дровах только и можно стряпать «каждоденное»: пироги, шаньги да колачи... Потому не затевала мама тортов двадцать сортов, бизе, и крендель, и песочные колобки, и пряженое, и прочие сдобы, для чего нужны были не только умелые руки, но и мука, и масло, и яйца, и сливки, и творог, и всякие принасти, запах которых особенно будоражил мое детское воображение...

А на другой половине, за стеной, зашитой наглухо и обклеенной на десять слов газетами, жили бабушка Нина (Нина Александровна), дедушко Петя (Петр Назарович) и дядя Валерий, Валерьюшко, как мы его называли заглазно. Дедушко Петя к этому времени уже стесался, был худенький, как подросток, остролицый, с седенькими крохотными усиками, молчаливый, погруженный в себя, а пытался верховодить в семье сын, хоть и «подмороженный» на войне ногами, но гладкий обличьем, сытый, с густым русым чубчиком и близко посаженными глазами. На три хоть и скудные зарплаты они могли осилить не только костры березовых дров, но и всякую снедь, о которой мы и не мечтали тогда. Щекочущий ноздри дразнящий дух корицы, ванили, шафрана, гвоздики, кардемона и перца, сдобных пирогов и плюшек с изюмом доносился из бабушкиного жилья, из-за стены, как бы из совершенно другого мира, находя к нам в постный быт всяческие лазы-перелазы, мышиные норки и незаметные проточки в прохуdivшихся пазах. Невольно тут вспомнишь евангельское, дескать, «дух живет, где хочет», хотя там имелся в виду дух Божественный, а не этот плотяной, мирской, такой земной запах печива.

Все в роду Назаровичей служили чиновниками иль по почтовому ведомству, иль полицейскому и уже крепко призабыли зверобойные промыслы, долгие рискованные ходы предков на Новую землю, Колгуев и Шпицберген. Вот и бабушка моя Нина Александровна (из рода Петуховых), войдя в семью Личутиных, тоже нашла себе место на почте, стала письмоноской; я еще застал бабушку зрячей на один глаз, с тяжелой брезентовой сумкой на ремне, бредущую по скрипучим мосткам в снег ли, в дождь ли от избы к избе, от самовара к самовару, от застолья к застолью, где за чашкой чая, за пирожком, баранкой иль за постяной корочкой хлеба, присыпанного солью, оплакивались не только грустные вести с фронта, но и свивались в косицы длинные бабьи говори и досужие сплетни, которые письменноска невольно разносила среди мецан. Доставляя похоронку - эту тяжкую ношу горя, бабушка Нина самое первое женское отчаяние невольно перенимала на себя, на свое сердце, как бы довеском к своей нетускнеющей печали - потере старшего сына. Ведь из ожидающей мужа соседка вдруг превращалась во вдовицу, которой отныне некого больше ждать.

По старинным заповедям, по заведенному исстари порядку, поклоняясь Радигостю и Пирогоще, бабушка любила не только в гостях потчеваться, но и к себе зазывать. А столы водить, братцы мои, дело трудоемкое, к нему надо сердце иметь особое, услужливое, чтобы не только собрать из последних припасов достойное угощение, но и к каждому гостю приноровиться, да и поновить ему, ущемив себя и понизив, чтобы не с обидою ушел пировник, но с умасленной, обраделой душою; да не забыть, чтобы чадам и домочадцам, кто на праздник не поспел по всякой причине, непременно отправить гостинчик в узелке, и там уже в домашних сумерках в своем углу старая хозяйка и дитешонки неспешно разговелись бы

ломтиком душистого кренделя, песочной шанежкой с вареньем и воложным калачиком, всячески нахваливая пекариху. И хоть не видно им нашей заботницы-именинницы за снежными забоями и за морозной стеною ночного темени, но неисповедимым образом та похвала от чистой души невольно докатится по мезенской запурженной улице сквозь метель в бабушкино запечье, где отныне ее постеля...

А прежде праздничным столом хвалились; уж на что после войны жили на кулак мотали и от голоду пухли, но застолья были не забытны. Хлебенная корочка тогда была куда слаже нынешнего глазурованного пряника. Помню, как с карточками ходил в третий магазин, чтобы отовариться, и вот замороженными глазами смотрю на широкий нож продавщицы, как он пронырливо пластает буханку, качаются скалки весов туда-сюда, на одну чашку падает совершенно крохотная гирилка, и «магазинная королева», эта вершительница наших жизней, попридерживает непосильными от холода пальцами колеблющихся коников, а равновесия все нет, и тогда женщина напоследок все же отчинивает от хлебины довесочек... Продавщица кажется особенно дородной в этой стеганой фуфайке и лоснящемся фартуке поверх, у нее тугие щеки с алым заревом, белый накрахмаленный колпак и русые завитки по-над ушами. Я, шкет совсем, только что выпавший из детсадовского возраста, и не потому придиричиво зорек и цепок глазами, что боюсь обвеса, но всем возбужденным сердцем подгадываю, мысленно подталкиваю руку продавщицы, чтобы она выделила мой уличный мальчишеский пай, мой гостинчик, обязательно поноровила мне, и тогда довесок, что случится поверх буханки, он будет мой, больше ничей, бабушка за него не станет упрекать, и я с трудом выдерживаю, чтобы не вцепиться в него зубами тут же, прямо у прилавка.

...Братцы мои, как он душист, этот кусманчик, как сладок, но так скоро отплетает в моем кулачишке, скукоживается в жарком гнездышке, когда я выковыриваю от него по крохе, и, словно бы не достигая моей утробушки, внезапно отлетает, как призрак, где-то на полпути к ней, оставляя в животишке лишь легкое томление! И никакой сытости, лишь раздражение на языке и блазнь на сердце; и пока я попадаю до своего дома, часто заглядываю в сетку, где покоится смуглый кирпичик с зажарной, словно облитой лаком, верхней коркой, и пальцы мои самовольно нет-нет да и отламывают от краев хлебины шербатые закорелые отростки.

И вот когда мои близкие нынче порою кочевряжатся при еде, то я частенько, не боясь прослыть занудой, вспоминаю эту давнишнюю сценку, но дети мои (слава Богу, не знавшие голода) не верят моим рассказам, дескать, папа сочиняет, он - писатель. Может, что-то невольно и отпечатывается в их сознании, но по легкой ухмылке, по небрежности, с какой слушают, я понимаю с грустью, что они не верят. А может, потому и не доходит до их сердца, что для меня самого эти картинки детства теперь не хранят ни тоски, ни ужаса, ни слез, они принакрыты грустноватым, но прекрасным глянцем времени, за которым куда-то подевалась, поиструхла, погрузилась в тлен и прах грубость моего далеко отплывшего детства. Глаза мои невольно принакрываются влажной пеленою, сквозь которую самовольно пробивается солнечная искра по навсегда утраченному празднику, который, увы, уже никогда не испытать, и голос мой вдруг становится мягким, шелестящим, почти елейным... И я отворачиваюсь, чтобы скрыть предательскую слезу.

В то время, о котором идет рассказ, бабушка уже свела корову со двора, оставались лишь пара овчишек, и семья перешла «на покупное, лавошное»... Надо сказать, что тогда в Мезени многие держали скотинку, и потому мещанский быт во многом напоминал деревенский: та же веснами пахота на суглининой десятине, с июля - потный сенокос, когда за короткое северное лето надо до белых мух выставить зароды, а значит, выкосить травы на веретях и сырях, порою по колону в воде, высушить, сметать в стога, вытащить во двор. Особенно трудно было, когда выпадало лето сеногнойное; весной - зябель, с июня по сентябрь сиротские дожди, вот и вывешивали тощее, еще недоспелое жито на высокие прясла, чтобы продудло его, выветрило, а сена метали в тощие зароды с частыми промежками и двойными подпорами. (Старинные прясла-вешала, покосившиеся, трухлявые, с прозеленью мха, серые от непогоды, еще долго торчали на запольках Мезени за городскими воротами как исторические памятники русского быта).

У бабушки тоже была своя пожня на вересовом веретье, где на суходоле и песках кудрявился колючий можжевельник, - тут-то и добывался прежде прокорм скотине. Этого времени я уже не застал; для малохольных беспородных овчишек, больше похожих на собак «дворянской» породы, заготавливали ивовые веники, а

травы выжинали серпом прямо о край болота за домом, где густой стеною стояли розовый кипрейник, осотник и хвощи...

Коровы однажды не стало, «в лавке не купишь», а поклон Радигостю в душе оказался неизживаем, и бабушке невольно пришлось добывать продукт на стороне. Бабушка Нина месяц-другой копил провизию по чуланчикам и скрыням, по кринкам и ладкам, в шкафах просторных сеней, а нам в семье (и мне, и взрослым) выдавала к чаю «рукодано» по ломтю хлеба и осколку сахара, откусив блестящими щипчиками от голубоватой, искрящейся на изломе глызы. А сама мастерица корпит днями и ночами над шитьем и вязаньем, оставляя над прорезными занавесками и кружевами последнее зрение, чтобы обменять работу в деревнях на сметану и молоко, а то и мясца приволокет, иль мешочек житней мучицы, иль лепешку сводедельного деревенского масла.

Неиссеконовенно стоит перед глазами: вот бабушка собирается в соседние деревни, увязывает подле крыльца рукоделье на чуночки, деловито обходит санки вокруг, и под громоздкими подшитыми валенками домашней катки поскрипывает легкая ночная пороша. Небо все в мохнатой измороси, багровое солнце встает по-над болотом, едва протыкаясь сквозь сизый дым неведомого пожара. Березы возле дома заиневели, ветви поникли, огрузли в ледяной кольчужке. Последний раз бабушка спускается с крыльца, и ступени похрустывают под ногами, будто готовые переломиться. На бабушке зимний жакет с овчинным воротом, баранья муфта, длинная суконная юбка, уши шапки-ушанки распущены и прихвачены под подбородком, отчего бабушка сейчас больше смахивает на смуглого мужика-обозника. Ей попадать далекомко: сначала до Николы двенадцать километров, потом до древней Лампожни лугами километров пять, оттуда надо попасть засветло до Заозерья, а если хватит силенок, то и до Тимощелья, до Дорогой Горы (а до нее еще километров с десять), чтобы, переночевав у дальней родни, другим днем вернуться домой. Но дорога привычна и бабушку не страшит. Я представляю, как потрусит она в такой мороз одиношенькая, пригорблая, для меня уже совсем старенькая, на край света через дикий лес по кривой переметной дороге, куда по добычу выходят голодные волки, и кровь моя от ужаса сворачивается в жилах. Бабушка гонит меня домой, чтобы я «не застыг», и уже в окно, продышав в куржаке скоро мелеющее озерцо, я доглядываю, как расправляет она на плече веревочную петлю, достает из-за пазухи книгу, укладывает на муфту, открывает по закладке нужное ей место, сует руки в теплый мех и медленно трогается с заулка на санный, едва выматый полозьями путь.

Выбиваются струйки пара, как у жаркой лошади, оседают изморосью на ресницах, в отворотах шапки, в углах длинного губастого рта, где с возрастом отросли редкие черные волосины. И вот бабушка скрывается за высоким снежным забоем, лишь на короткое время еще выныривает ее овчинная шапка, чтобы вдруг пропасть за углом крайнего дома как бы навсегда. Бабушка не боится за чтением книги споткнуться, выбиться из бродной колеи, оступиться в сугроб и утонуть в снегах, она не зыркает взглядом по сторонам, ибо ее не страшит встречный-поперечный, словно бы наверняка знает, что никто не покусится на ее старые мяса, не нагонит вскачь и не затрет саньми. И верно, кому захочется в такой день бродить по суземку: хороший хозяин даже собаку не погонит со двора... За чтением бабушка, наверное, не замечает бродной утомительной дороги, ее не берет забота, что она досадит зрение. Левый глаз у нее вытек еще перед войной, высох, превратился в шпаклик, и мне по наивности кажется, что бабушка, прижмурясь, все время выцеливает из снайперской винтовки ненавистного фашиста, который убил ее сына...

Скопив по крохам всякого продукту, наварив лагун браги, бабушка принимается застряпню - варит, печет и жарит всякую праздничную еству; уморится вся, сердешная, мотаясь из избы в сени, весь дом тогда кувырком, все домашние под пятою, и русская печь двое суток пышет жаром. Нынче я понимаю, что это про мою бабушку сложено присловье: «Скачет баба задом и передом, а дела идут своим чередом».

Не знаю почему, но пряжье и торт «Наполеон» пек дядя Валерий. Он не был поваром, не особенно торчал и у поварни, но заворачивать кренделя и сдобу любил, знать, находил в этом особый сердечный интерес. Помню, как скворчат в маргарине узкие желтые полоски слоеного теста, завернутые «галстучком» и «петелькой», скоро приобретая шафранный оттенок. Шипит на кухне примус, но ядовитый дух керосина бессилен перед сладковатым сытным запахом печива. Праздник еще на подступах, но чувство непонятного веселья и возбуждения уже тербит в груди, словно бы подстегивает счастливую перемену жизни. Это чув-

ство необманчиво, оно никогда не подводило меня. Я упорно торчу подле, меня никто не гонит, я смотрю на голубоватое рассеянное пламя, и мне непонятно, зачем нужно жарить слоенки, зря переводить жиры, если запашистое «тестичко» и сырым желанно укатится в мою заячиную утробушку. Мне сон не в сон, я упорно жду, когда сдобрится дядя и мне перепадет из его руки рассыпчатая сдобная слоенка. Дядя еще холост, и потому он терпит племянника, улыбаясь, косенькие глаза сияют, щеки багрово лоснятся от жара, русая челка прилипла к вспотевшему лбу. Дядя переступает обмороженными ногами возле гудящего примуса, как застоявшийся в стойле конь. Потом он мешает тесто для «Наполеона», выпекает тонкие хрустящие коврижки, готовит крем, тщательно заскабливает его с краев чашки, намазывает на корочки торта; остатки вылижу я с таким усердием, что бабушке (которую я звал тогда мамой) мыть уже не понадобится... Меня заваливают в кровать, на спинке стула поджидает белоснежная, наглаженная матроска. Глаза мои слипаются. Главная готовка с утра...

Когда сейчас я вспоминаю эти картины, то к ним невольно примешивается и куда позднее знание, оно не притушает, не притрушивает пылью забвения бабушкин образ, но подробностями лишь добавляет новых ярких красок в мое детство. Ведь каждая мезенская пекариха, каким «таланом» она ни обладала бы встряпне, в основном следовала изведенным знаниям, доставшимся еще от родителей... Да и голос-то я слышу не чей-нибудь сторонний, но бабушкин, гарчавый, с хрипотцой: вижу ее гриву темных с сединой волос, морщиноватую шею, сутулые плечи, обтянутые бумазеей, руки по локоть в муке, та же мучная пыль на лбу, и щеках, и крюковатых пальцах. Движения у бабушки резкие, вдруг, вспомнив что-то, она спохватывается и, брякая наотмашь дверь, бежит в сени к ларям, потом лезет на печь, высоко задирая юбку на толстые бедра, смотрит тесто, потом, не промедля, разбирает на волоти мясо, рыбу, варит рис, яйца, ложкой мешает всякие приправы к пирогам и воложным шанежкам... Я еще дремлю, в горенке студно, в окнах темь; сквозь приспущенные ресницы выглядываю бабушку в едва освещенном проеме двери, по стуку и бряку гадаю, чем занята она в такую рань...

Из кухни волнами наплывает растревоженный хлебный дух, оседает на моем одеяльце, мешается с изморосью, толсто скопившейся на стеклах и в углах горенки над ледяным полом. Вот-вот заиграет пламя в печи, тепло сунется в горницу к моему изголовью, и куржак на стеклах потечет, заплачет в порошок прозрачной водицей.

...Ага, вот заскрипел приступок под ногою бабушки, посыпались на пол валенки, спихнутые торопливой рукою, значит, квашонка поехала с печи. Сто раз за ночь вскакивала бабенья с кровати, тревожа мужа, запаливала лампешку, подбивала мучицы, чтобы не прозевать тестичко: ой, беда, если выплеснется через край! Горя тут сколько. И вот тесто поспело, теплое, припухшее, как детское сонное тельце, и бабушка нежно приохлапывает его ладонью, чтобы сникло вровень с посудой, не побежало вон; я чую, какстряпуха отщипывает от него язычок, пробует на кислинку и соль. Следом в чутунной ступке глухо, но сердито забормотал медный пестик, забодал тяжелой своей головенкой в стенки, и поплыл из кухни пряный аромат гвоздики и корицы. Вот вывалила сдобное тесто на столешню (а сколько туда утолкано яиц, улило молочишка, сметаны и маслица, насыпано «узюму»!), рукава засучила, как будто приготовилась к кулачному бою, и давай бить-колотить, перекидывать с ладони на ладонь, переваливать да тетешкать. Крендель - дело «сурьезное», тут главное - «в грязь лицом не ударить да людей не насмешить». Если в печи не поднимется, не разыграется пухлыми боками, а падет на оселку, значит, жди беды в дом. «А если вдруг пустота внутри, то жди покойника. И готовый крендель в помой не выбросишь, и нового не затеешь».

Бабушка, как и всякая знатная мезенская пекариха, может одних сдоб выпечь до тридцати сортов, а «каждоденного» - пирожков и шанежек - и не перечсть.

Продолжение следует.

ЧУДНЫЙ ДАР

Работы Татьяны Чистяковой всегда отличает удивительная доброта, причем, в любом жанре, будь то малая пластика или акварель, плакетка или маленькая фигурка... Все они - тёплые, удивительно гармоничные. И очень милые, родные, очень красивые. Кажется, что автор - человек очень счастливый, потому что не может не быть счастливым человек, создающий такую тёплую красоту! Впрочем, так оно, конечно, и есть. Ведь художник дарит людям прекрасное, дарит тепло и доброту - а разве это не является счастьем?.. Спасибо вам, Татьяна Александровна, за то счастье, которое вы дарите нам всем!

Редакция «Вологодского ЛАДА»



Татьяна ЧИСТЯКОВА с сыном Антоном в мастерской



ВОЛОГОДСКИЕ ДОМА. Диптих. Шамот, соли, глазурь. 1999



НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Бум., гел. ручка. 1985



ДЕДКО ГРОШЕВ. Бум, кар. 1972

Когда я думаю о том, что делает в керамике Татьяна Чистякова, почему-то всегда приходит на ум сравнение с тем, как во Вселенной образуются новые светила...

Действительно, в керамике, как и в хаосе Мироздания, соединяются в триединстве Земля, Вода и Огонь. И в этом «объятии» рождается еще никем не виданное, но задуманное Автором творение...

Но самый главный компонент этого «объятия» - Воля Художника! Он один видит, что должно получиться. Но окончательный результат будет ясен только после обжига... Часто нужна не одна «проба» для достижения желаемого.

Керамика, пожалуй, самое древнее из искусств. Рожденная из житейской необходимости и ставшая с веками мерой красоты целых цивилизаций, она может жить вечно.

Вот этому чудесному, вечному искусству посвящено всё творчество заслуженного художника России Татьяны Чистяковой.

Природа одарила её многогранным

талантом. Как скульптор, она создает образ через объем. Как живописец, придает работе определенный цветовой колорит, создающий эмоциональный настрой. Как график, свободно распоряжается пятном и линией, добиваясь легкости и неповторимости пластики всей работы.

Её керамика своеобразна и одухотворена мироощущением художника, чуткого к Добру и Красоте.

В основном она работает в камерных размерах. Хотя в её творческом арсенале есть и монументальные работы, и оформление больших общественных интерьеров.

Её влюбленность в северную архитектуру воплотилась в нескончаемую сюиту о деревянной Вологде.

Её дома - всегда с портретным сходством, но никакой натуралистичности. Всегда образ. Все эти дома, особняки, северные храмы воспринимаются как жемчужины духовной жизни поколений, живших до нас.

С неменьшей симпатией относится она и к Человеку. Её ранние циклы «Мать и дитя», «Юность», более позд-



Эскиз «ОДНА-ОДИНЁШЕНЬКА». Бум., ручка. 1984

ние, обращенные к близким, родным, людям искусства, простым сельским жителям, красноречиво говорят об этом. И здесь она находит очень теплую, доверительную информацию, не поступаясь декоративностью.

Каждого из людей окружает МИР, но и каждый отдельный человек - это тоже целый мир.

В искусстве это особенно интересно: мир вокруг и мир художника.

Если художник активно воспринимает окружающую жизнь - он впитывает её всеми фибрами своей души.

Таня принадлежит именно к таким людям. Ранние впечатления детства, ощущение себя в природе, лад жизни и её разлад, само творчество, его взлеты и простои, преемственность мастерства, Гармония Мира, боль за её исчезновение в нашем окружении - все это находит отклик в её творчестве. И появляются работы, по одним названиям которых можно проследить всю жизнь художника и все его пристрастия.

Иногда мне кажется, что Таня родилась с кусочком глины в кулачке

(!) настолько этот материал сроднился с ней самой. Все видимое художником невольно воплощается в художественную форму, которая существует не сама по себе, не ради себя, но всегда несет большой эмоциональный заряд.

Воспоминания детства, когда семья жила на Дальнем Востоке и Таня чувствовала более тесную связь с Природой, постепенно переносятся на восприятие жизни уже повзрослевшим человеком, когда Таня после возвращения на вологодскую родину застаёт деревню в состоянии постепенного опустошения. И появ-

ляется пронзительный по трагичности пласт «На росстани», где на горячей земле у синей воды стоят после-



ПОРТРЕТ СЕСТРЫ НИНЫ. Бум., акв. 1963

дние «аборигены» этого заповедного края.

Наверное, не много найдется в Вологде семей, любящих искусство, где бы не было хоть одной вещи этого Мастера.

Работает она в своей мастерской с утра до позднего вечера. Можно сказать, что мастерская - это её дом!

Кроме того, более 10 лет Татьяна Александровна руководила керамической студией «Синяя птица». И сколько уже птенцов «встало на крыло» с её легкой руки!

Конечно, она там не одна. Круг талантливых художников-энтузиастов занимается этим великолепным делом. Но часть своей души она отдает каждому! В том числе и сыну, Антону Соколову, который уже стал профессиональным художником. И сам идет в искусстве своим собственным путем, участвует в крупных выставках. Наряду с традициями народной керамики и гончарного дела его привлекают и большие объемы крупных сосудов - ваз, помогающих новому вос-

приятию современного интерьера.

Странно было бы, если бы из него не получилось того, что есть и будет!

С детства он «дышал керамикой».

Отец показал ему, как делать свистульки. Работы мамы постоянно были перед глазами.

Новорожденного привезли его родители-художники в деревню Леушкино.

Снега Ферапонтова пеленали его.

Озера Ферапонтова были его крестильными ощущениями.

Ферапонтовские соловьи давали первые уроки музыки!

И очень радостно, что выставку двух художников-керамистов в 2005 году принимала именно эта священная земля Ферапонтова, как бы благословляя их на Счастливую Творческую Судьбу!

Вспоминается: на одной из Таниных выставок наш молодой художник сказал: «...говорят, не боги горшки обжигают. Правильно: их обжигают Богини!»

Джанна ТУТУНДЖАН



ОЗЕРО. Бум., фломастер. 2007



ЭТЮДЫ. Тарелка. Шамот, глазурь. 1991

ТАТЬЯНА ЧИСТЯКОВА КЕРАМИКА. АКВАРЕЛЬ



ОЗЕРО В ФЕРАПОНТОВО. Бум., акв. 2007



ЦВЕТЫ НА ОКНЕ. Шамот, соли, глазурь. 1990



ВРЕМЕНА ГОДА. Чайнички. Фаянс, соли. 1993



САША ЧЕБЛАКОВ. Бум., акв. 1999



АНТОН. Бум., акв. 1991



ГОРОД. ОДИНОЧЕСТВО. Фаянс, глазурь, соли. 1999



СТАРЫЙ ДОМ В ТАЛИЦАХ. Шамот, соли, глазурь



КРАСНЫЙ МОСТ. Тарелка. Шамот,
подглазурная роспись. 1974



РЕКА СУХОНА.
Фаянс, соли, глазурь. 1997



ЛЕУШКИНО. Триптих.
Шамот, соли, глазурь. 1999



ЖИТЕЛИ СЕЛА ЛЕУШКИНО. Шамот, соли. 1999



ЕЛЕНА ИЗ ЛЕУШКИНА. Бум., сепия. 1972



ЦЕРКОВЬ. Фаянс, глазурь, люстр. 1992



ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА-НА-ТОРГУ. Шамот, соли, ангоб, глазурь. 2008

ЮБИЛЯРЫ ИЗ САРАНСКА...

В текущем году исполняется 15 лет молодежному литературно-художественному и публицистическому журналу «Странник», который выходит в Саранске.

Казалось бы, какое отношение к Вологде имеет журнал из далекой Мордовии? Оказывается, самое непосредственное: главный редактор «Странника» Константин Смородин -



Анна и Константин СМОРОДИНЫ

наш автор («Вологодский ЛАД» во втором номере за прошлый год опубликовал повесть супругов Смородинных, Анны и Константина, - «Литературные поминки»). Прозаики Смородины - люди в русской современной литературе известные, печатались и в столичных журналах. Повесть Анны и Константина наши читатели отметили, уже спрашивали, будут ли новые их публикации. В редакционном портфо-

ле - подборка новых рассказов Смородиных.

Есть и еще одна ниточка между нашими изданиями: саранский журнал напечатал прозу вологодского писателя Дмитрия Ермакова, который и в «Вологодском ЛАДЕ» постоянно сотрудничает.

Так что мы не чужие друг другу.

Говорят, Корней Чуковский утверждал: в России писатель должен жить долго... И журналы, которые поддерживают хорошую русскую литературу, тоже должны жить долго. Надеемся, что и «Вологодский ЛАД» отметит 15-летие, а повзрослевший, но такой же задорный и веселый «Странник» поздравит нас с юбилеем!

...И ЗЕЛЕНОГРАДА

В декабре отметили свои юбилеи Марина и Андрей Кошелевы, давние друзья «Вологодского ЛАДА». Они нашим читателям хорошо знакомы: с первого номера журнал публикует их фотографии, статьи.

Марина и Андрей живут в Подмосковье, но вот уже много лет они путешествуют по Вологодчине, побывали во всех, наверное, литературных местах нашего края - и в рубцовской Николе, и в беловской Тимонихе, и в клюевской Вытегре... Были у них и выставки, и публикации. К сожалению, мечта о большой книге остается нереализованной, но, уверен, только пока: с энергией Марины и Андрея, их любовью к тому, что они снимают и описывают, и книга все-таки выйдет такой, какой они хотят ее видеть: большого формата, отличной цветной печати... И это будет отличный подарок всем нашим землякам и тем, кто, как супруги Кошелевы, любят воло-

годскую литературу, нашу северную природу...

Ну, а пока такого подарка мы все еще не

дождались, Кошелевы работают. Только за последние несколько лет фотовыставки Кошелевых с большим успехом прошли в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, в Государственном литературном музее, в Зеленограде, где они живут, в Вологде и Череповце, в районных городах Вологодской области. Совсем недавно у них вышла новая книжка «Рубцов и Бунин» - небольшая, но интересная. Вологжане могут найти ее в музее «Литература. Век XX». Как всегда, у Марины и Андрея много планов. Пусть они все сбудутся!



Марина и Андрей КОШЕЛЕВЫ
в Белозерске

Редакция «Вологодского ЛАДА»

ЧЁРНОЕ - НЕ БЕЛОЕ!

Новые стихи



**ОЛЬГА
ФОКИНА**

Ольга Александровна Фокина родилась 2 сентября 1937 года в деревне Артемьевской Корниловского сельсовета Верхнетоемского района Архангельской области. В Вологде - с 1962 года, после окончания Литературного института.

Член Союза писателей России с 1963 года, автор тридцати книг стихотворений и поэм.

За поэтический сборник «Маков день»

в 1976 году ей присуждена

Государственная премия РСФСР имени Горького. Лауреат многих престижных литературных премий.

В октябре 2008 года награждена медалью Пушкина.

По золотому листопаду
На умирающей траве
Шагаю - с отрешённым взглядом,
С отдохновеньем в голове.
В благословенном парке Мира
Над тихой Вологодой-рекой
Застыли сосны-конвоиры,
Земной хранящие покой.
Уже до снега - недалеко:
Осыпан лиственничный мех
К подножью лиственниц...
В Заречье -
Храм-монастырь - одна из вех
Дорог прижизненных. Там страсти
Усмирены. Замолен грех.
И чьё-то личное несчастье
Мольбой рассеяно на всех,
И, как листва, опало наземь,
И человечешко - спасён!..
Но грех, как грипп, весьма заразен:
Замолен «здесь», «там» - ожил он!
Там, далеко, за парком Мира,
За храмом, за монастырём
Стоят - темны, безлюдны, сиры
Деревни нынешних времён.
Там безработные крестьяне
Влачат безрадостные дни,
Не протестуя, не буяня,
Ждут лучших дней. Но где ж они?
Где те, овеванные верой
В победу праведных, дела?
Без подтверждения, без примера,
Без корма - вера умерла.
...Над головою - пересверки
Последних листьев. Тишь и грусть.
Напротив кладбища и церкви,
Перекрестясь, остановлюсь.
Уподобляясь предкам древним,
Промеж других себя виня,
Шепну: «Храни, Господь, деревню
От глада, мора и огня».
Там, далеко, и мой домишко,
И мой земли родимой клочок,
И на разросшемся кладбище -
Отца и мамы бугорок...

Сегодня в ночь моя река
Ледком сомкнула берега,

Но мало проку в том ледке -
 Дожди идут невдалеке!
 И сообщает Интернет,
 Что на мороз надежды нет.
 И на дворе у нас вот-вот
 Злат-одуванчик зацветёт...
 Год високосный - ох, прохвост! -
 Сколь наших сплавил на погост!
 Сколь войн да распрей наплодил,
 Покуда шёл, покуда был!
 А за последних десять дней
 Он может стать ещё вредней:
 Сулят бесснежный Новый год!
 Грядёт зима-наоборот!
 А к этой зимке моровой
 В придачу - кризис мировой:
 В единый час - в который раз! -
 Отнимет денежки у нас.
 ...Коль весь порядок - кверху дном,
 Забыть придётся о родном:
 Я ёлку в дом не приношу -
 Я пальму в кадке наряжу.
 Под пальму - купленный кокос,
 Плюс ананас, плюс абрикос.
 Бананов гроздь, гранатов груз -
 Не бойсь, душа моя, не трусь!
 Купальник. Ванна. Люстры зной.
 Ну, с Новым годом, шар земной!

Чёрное - не белое!
 Веришь ли, не веришь ли, -
 Раньше всё, что делали,
 Не сравнить - с теперешним.
 Гвоздь - руками выкован!
 Храм - руками складенный!
 Плат - руками вытканый
 Из кудели пряденой.
 Рожь - рукою брошена
 Из лукошка в пахоту, -
 В озими - хорошая!
 В колосу - богатая!
 Стебелем-соломиной
 Высока, устойчива,
 Ветром - не наклонена!
 Ливнем - не подмочена!
 Женскими ладонями
 Сжата, в сноп увязана,
 Рожь заботу помнила,
 Оживляла нас она:
 На печи просушена,
 В жерновах размолота,
 Поспевала к ужину

Кашей - с маслом-золотом!
 Поспевала к завтраку -
 Караваем! Сочнями!
 Превращала в храброго
 Хилого-непрочного.
 Превращала в сильного,
 В ловкого-умелого!

...Ладно, что вкусила я
 Чёрного - не белого.
 И сейчас, коль хлеба нет,
 Хоть полно пирожного, -
 От прилавка честно я
 Ухожу - порожняя.

В Вологде снимается
 Фильм про старину:
 Наш народ старается,
 Пляшет, - ну и ну!
 Полушубки - в талию!
 Складчаты - низы!
 Мужики - видали их? -
 Носят картузы.
 Даром, что колхозники!
 Валенки. Тулуп -
 Волочится по снегу!
 Бороды - от губ,
 Гли-ко, - аж до пояса!
 И - не парики:
 Всё у нас но совести -
 Бабы, мужики.
 ...С обручем берестяным
 Лбщица поперёк,
 Через крик: - Не лезьте к нам!
 Млад-детина прёт, -
 Мол, в массовку прошен он,
 Расхорош-удал!
 Не берут хорошего,
 Ибо - опоздал.
 ...Шали. Щёки. Лошади.
 Знаки старины -
 Расписные пошевни!
 Жаркие блины.
 Продавцы вразвалочку
 Ходят там и тут, -
 Петушков на палочке
 Как бы продают.
 Ожерелья бубликов, -
 (Хоть один бы съест!),
 Самовар на стулике -
 Искипелся весь.
 Вёдра. Ступы. Шкалики.

Бочки. Топоры.
 Барыни. Сударики.
 Саночки с горы...
 Времени не жалко нам!
 Смотрим, «сторона», -
 Лиля Ахеджакова
 Тут же быть должна.
 Может, где покажется
 Нашенских промеж?
 - Стоп!
 - Мотор! -
 Куражится
 Надо всем главреж.
 Сумерки спускаются, -
 По домам, народ!
 ...Фильм-то называется?
 - Кажется, «Банкрот».

Собирала по грошику,
 Помня время лихое,
 Принуждала к хорошему,
 Запрещала плохое.
 Нагружала работою,
 Охраняя от лени,
 Окружала заботою
 Всех - с минуты рожденья.
 Не отнимешь - строга была:
 Лишний раз не похвалит!
 Но умело свой дом вела,
 Мы ей в том помогали.
 Дело братьев - пилить дрова
 И раскалывать чурки;
 Корм для кур, для скота трава -
 Это дело девчурки.
 А ещё - чистота в дому
 И порядок на грядах.
 Всё по силам и по уму!
 Пусть одёжка в заплатках,
 Всё ж опрятна она, тепла...
 Перед каждою баней
 Мама строгий просмотр вела
 наших всех одеяний.
 Баня - в каждый последний день
 Уходящей недели, -
 И попробуй-ка не надень,
 Что надеть повелели!
 И мытьё ритуал был строг:
 Лишний ковшик не выльешь!
 И мытьё начинай - не с ног,
 С головы лишь!
 И хватало котла воды,
 Чтобы вымыть ораву.
 Вышли - нужными - из нужды.
 Мама, браво!

**Буду любить тебя всегда -
 Сердце моё - не камень.**

Из песни

**Не ходи к нему на встречу,
 не ходи! -
 У него гранитный камушек
 в груди.
 Из песни**

Кого нам рождать -
 сыновей или дочек?
 ...На днях сообщает
 статистики спец:
 «На сто пятьдесят
 матерей-одиночек
 В России - ОДИН - одиночка-отец».
 Всё правильно: памперсы,
 сопли, пелёнки,
 Болезни, прививки, нужда,
 недосып, -
 Ведь прелести эти -
 при каждом ребёнке! -
 Попробовал с месяц -
 и сыт-пересыт!
 И повод найдётся,
 и к поводу - довод:
 - Устал! Надоело! Пора отдохнуть!
 Пошёл. Не удержишь. Пока.
 Будь здорова.
 - Пока. Будь здоров.
 Проживём как-нибудь.
 Гуляй, молодец!
 Ты ж у нас «полигамен»!
 К тому ж - «сексапилен»!
 К тому ж - «индивид»...

Что женская песня про «сердце -
 не камень»,
 Коль песня мужская -
 про «сердце-гранит»?!

Минутками день прибывает,
 Нет-нет да повеет весной!
 И тихо, таинственно тает
 На крыше сугроб навесной.
 Растёт-подрастает сосулька,
 Всё корпусней день ото дня,
 Рождая умение булькать,
 По капельке в лужу роня.
 По капельке да по минутке,
 А там - по шажку, по прыжку, -

И день превращается в сутки!
И хочется в песню стиху!
И песня вот-вот запоётся:
Сквозь весь горизонт и зенит
Незримая музыка льётся,
Неслышимый ангел парит!

Пройдусь по набережным Вологды
По той и этой стороне:
Места, где хаживано смолоду,
С годами дороги вдвойне.
Вольна, полна разлива вешнего,
Несётся Вологда-река

От своего родного-здешнего
В иные дали-морока.
В воде, качаясь, отражаются
Соборы, церковки, дома,
Как бы хотят, но не решаются
Сойти по-вешнему с ума:
По-молодому рухнуть с берега
Под колокольный перезвон,
И - мимо Горки, мимо скверика! -
По воле волн... по воле волн...
Но всё ль, что хочется, то можетсЯ?
На суше - солнце, в водах - хлад.
И отраженья зябко ёжатся.
Река - бежит. Они - стоят.



ГРАФИКА ЗИМЫ
Фоторабота
архиепископа МАКСИМИЛИАНА

ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ В НАЧАЛЕ ЛЕТА



**ЛАРИСА
МОКШЕВА**

Лариса Борисовна Мокшева родилась в Вологде, училась в Санкт-Петербурге. Впервые ее стихи напечатали в «Красном Севере» и «Вологодском комсомольце».

Потом - в коллективных сборниках.

Издана одна книга стихов.

«Вологодский ЛАД» опубликовал стихи поэтессы в номере № 3 за 2007 год.

ЛЕНИНГРАДУ

Сойти с ума -
какая красота! -
Вечерний город -
с высоты полета.
Я никогда не думала,
что так
Меня к нему потянет
с самолета...
Остался там, внизу,
вчерашний день,
Вчерашний праздник...
Всё уже в тумане.
Но прошлое захватывает
в плен,
Слепит глаза
и так огнями манит...
Земля все дальше,
небеса - черней,
А облака над городом
все гуще...
И показался отблеск тех огней
На миг не прошлым,
а еще грядущим.

ТАНГО

А море за окном
пропало,
Как будто кто
убрал картинку...
В вагоне музыка
играла,
Крутили старую
пластинку.
Сентиментальнейшее
Танго
Все повторялось,
повторялось...
А пара выходила
в тамбур
И долго, долго
целовалась.
Над ними звуки
плыли, плыли,
Им снова море
возвращали...
А люди в тамбуре
курили,

На них вниманье
обращали.
Одни качали
головами,
Ругали «нынешние нравы».
Другие - понимали
сами,
Что эти двое
правы, правы.
Да и кому какое
дело? -
Пусть лето для двоих
продлится.
А танго пело, пело, пело.
И двое не могли
проститься...

Влюбленность есть
предчувствие любви.
Что может наступить
в твоей судьбе.
А может вовсе никогда
не сбыться...

Влюбленности пушиночку лови,
Когда она, веселая, тебе
Совсем случайно на сердце садится,
Когда она пока еще легка
И никому не причинила боль,
И, словно зайчик солнечный,
бездумна.

Пока в костер тебя не увлекла,
Пока не расплавилась в Любовь,
Что может быть прекрасна
и... безумна...

Влюбленности пушиночка, лети
И нежностью негаданной коснись
Ты чьей-нибудь души ожесточенной,
И душу эту к жизни возврати,
И для нее надеждой обернись
На сладкий ад...
Любовью нареченный.

ЭЛЕГИЯ

Представить, что горит свеча,
Плечо касается плеча,
И музыка морочит...
Представить, что его глаза
Бездонной нежностью грозят
И черт-те что пророчат...
Но лампы свет почти что бел...
А человек уже сгорел
Когда-то, с кем-то, где-то...

Лишь разговор свободен их
От всех условностей пустых...
...Но как всё грустно это.

ПРИТЧА

Был портрет не схож с оригиналом.
А художник увлечен... портретом.
Женщину с натуры рисовал он -
Жаль, что забывал о ней при этом.
За работой женщина следила
И ждала конца со страхом тайным -
Ведь она художника любила,
А не красок ярких сочетанье,
Не мечту, не выдумку, не бога -
Человека грешного, земного...
Женщина застыла у порога.
Мастер ей такое молвил слово:
«Вижу я, что ты совсем иная...
Нет покоя мне на этом свете!
Уходи! Я знать тебя не знаю.
Мне нужна лишь та,
что на портрете»...

- Чем же все это окончится?
- Будет апрель...

Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ

Забудьте проделки
Фортуны,
Обманы ее и подарки.
Прислушайтесь -
в заспанном парке
Апрель уже трогает
струны.
А вам еще зябко
и зыбко,
И зимние думы печалят,
От сердца никак
не отчальят...
...Но - музыка,
слышите,
скрипка!..

Наверно, что-то перепутал Бог
В своих расчетах праведных
и строгих,
Коль наши параллельные дороги
Перекрестились. Кто предвидеть
мог?..
Не проклиная всё, что было до...
Не отрекаясь от черемух
вешних -
Неповторимых, юных и нездешних,

И пахнувших то счастьем,
то бедой..
Не спрашиваю:
«Где ты раньше был?»
Но знаю: мне цветов твоих
не видеть.
Прости, я не хочу тебя обидеть -
Ты врешь, что никому их не дарил..

Мне жаль тебя, мне жаль тебя,
клянусь,
За всё, что будет, и за всё,
что было..
Боюсь сказать, что я тебя любила -
Сказать в прошедшем времени
боюсь.
Мой властелин... идущий стороной,
Ты был подарен високосным годом.
«Я счастлива!» - твержу назло
невзгодам,
Еще пою - натянутой струной.
Но страшно, что однажды
я сорвусь,
А ты мне даже
не протянешь руку..
Невыносимо ожидать разлуку.
И все-таки мне жаль тебя,
клянусь...

Березы золотая седина
Напомнила, что осень на пороге
И что у нас с тобою две дороги.
А я когда-то думала - одна.
А я когда-то строила мосты
Через реку неверья и разлуки.
И мы друг другу целовали руки,
И были - «мы», не просто «я» и «ты».
Казалось мне, что силы нет такой,
Чтобы меня с тобой разъединила..
Казалось... Но унылым словом «было»
Осенний лист кружит над головой..
Приснилось мне, что я тебя
забыла...

ВСТРЕЧА

Вот и встретились они -
Неестественно и странно.
Вроде некого винить..
Вспоминать об этом страшно:
Встретились..
Один не знал,
Что другой проходит мимо,

Маму за руку держал,
Щебетал, картавил мило..
Нет на женщине лица.
И отводит взгляд мужчина
От рябого пальтеца
На смешной фигурке сына.

Ты никогда не разболтаешь
своим домашним,
Как вольно ты со мной летаешь
над днем вчерашним.
Ты ими осужден не будешь
(и даже мамой!),
Когда на миг о них забудешь..
...да, да, «с той самой»..
А мы с тобой, пускай не птички,
но все ж - взлетели!..
И дело вовсе не в привычке
и не в постели,
А дело в том, что приподняться
над бранным миром
Порою слаще, чем нажраться
вином иль сыром!
Там сбудется, что невозможно
в земной толкучке...

Меня целуешь осторожно
на белой тучке...

С Адамовых времен
осталось навсегда:
Нет слаще на Земле
запретного плода.
Хоть в райский сад пусти
и там оставь плоду -
Все по тому плоду
тоскует человек.
Каких чудес-красот
ему ни предложи,
К запретному (хоть плачь!)
душа его лежит..
И, пусть коварен Змей,
а Человек - силен:
Дразнящего плода
(эх, жаль!)
не тронет он..
...Но в тайный лунный час
(никто не знает, нет!)
Завидует тому,
кто плюнул на запрет
И, зная наперед
печальный весь финал,

Запретные плоды
отчаянно срывал.

ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Стоит Июнь
к стеклу лицом
И тихо плачет...
Ну, перестань,
будь молодцом,
Ты ж только начат!
Еще все грозы впереди,
И все награды,
Сирени пьяные,
дожди
И радость радуг...
А ты замерз, иди-ка в дом,
Согрейся чаем...
Быть может, мы с тобой
Вдвоем
Не заскучаем?

Ни единой души навстречу,
Ни единой души...
Потушил сигарету вечер -
Ну и ты потуши.
Бродит ночь по городу тихо,

Наступил ее час...
Будет время, минует лихо, -
Не сейчас, не сейчас.
А пока - потерпи немного,
Не пеняй на судьбу.
Пусть подарит тебе дорога
Золотую трубу.
Будет звук ее чистый-чистый
На заре, на заре...

Но когда всё это случится? -
В сентябре? В январе?

ПАМЯТИ Т. Ш.

Прощай, «гуттаперчевый мальчик»,
Прозрачная радость моя...
Мелькнул, словно солнечный
зайчик,
На серой стене бытия...

Теперь уже не поседеет
Твоя борода,
И душу тебе не согреет
Удачи звезда.

Под куполом жизни кромешной
(За мрачность - прости...) -
Там будет твой номер успешный!..
Лети, Князь, лети...



ВОЛОГОДСКИЙ
ХРУСТАЛЬ

Фоторабота
архиепископа
МАКСИМИЛИАНА

КАК МАЯКИ, ОСТАЮТСЯ ПОЭТЫ ВО МГЛЕ



**ГЕННАДИЙ
ИВАНОВ**

Геннадий Викторович Иванов родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Служил в армии. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Работал журналистом в Мурманской и Московской областях, редактором, заведующим редакцией, заместителем главного редактора в московских издательствах «Современник» и «Художественная литература». Сейчас - первый секретарь Союза писателей России. Автор девяти поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Ф.И. Тютчева и Большой литературной премии России.

ПОЭТУ

Василию МИШЕНЁВУ

*Мишенёв живёт в Берёзове,
Далеко на северах.
А стихи его - всё козыри!
Весь он в музовых дарах!*

*Я, читая, чту Василия.
Он спокоен и высок.
Всем здесь видно без усилия,
Что тут смысл, а не подлог.*

*Сердце чистое нам явлено,
И Россия тут во всём.
Всем и каждому объявлено:
Духом родины живём!*

*Простодушие заветное.
Чудодейственный букварь.
И такое - безответное...
Хоть посмейся, хоть ударь.*

*Этот слог неоскорбляемый -
Словно небо и земля.
В городах душою чаемый,
Словно оклик журавля.*

*Мишенёв живёт в Берёзове -
Под дождями и под грозами.*

Николаю ДМИТРИЕВУ

*Эти стихи зацепились
за русскую почву.
Эти стихи прорастут,
будут жить и цвести...
Дмитриев Коля, скажу тебе нынче
заочно
То, что при жизни тебе не сказал я,
прости.*

*Строчки твои зацепились
за русскую почву.
Книги твои говорят мне
о жизни родной...*

В книгах твоих открываются
добрые почки,
Птицы поют,
деревенскую веет весной.

Мы из деревни с тобой,
и поэтому, Коля,
Зримей, понятней нам русской
разрухи тоска.
Как хорошо ты рифмуешься:
Коля и поля!
Каждая строчка твоя мне понятна,
близка.

Вот у тебя уже вышла
посмертная книга.
Я прочитал её, в ней всё острее
и больней...
В общем, стихи твои, скажем так,
высшая лига,
Хоть и не любят пускать в неё
русских парней.

Ты поработал, талант свой ты
выразил полно.
Как ты свободно и плакал,
и пел на земле!
Катятся, катятся, катятся
вечности волны,
Как маяки, остаются поэты
во мгле.

ВОЗРАЖЕНИЕ

**В моей стране так мало света,
Царят в ней деньги и чины.
В моей стране мечта поэта -
Наесться вдоволь ветчины.**

Николай ЗИНОВЬЕВ

Как много света - выйди в поле!
Какая дивная страна!
Не унижай поэтов, Коля.
Зачем поэту ветчина?

Ему Катулл, ему Конфуций,
Ему божественные сны.
Поэту мало конституций!..
Ну что ему до ветчины!

Поэты ходят по фушетам
И по банкетам, но всегда
На них не по себе поэтам:
Еда - она и есть еда.

ВОСХИЩЕНИЕ

**Я прощаю вас, люди!..
Простите меня.
Если путь у вас труден,
Отдам вам коня.**

Магомед АХМЕДОВ

Прослышал я, что друг мой Магомед
Людей спасает от забот и бед.
И, если у кого-то путь тяжёл,
Отдаст коня, чтобы пешком не шёл.

Какой ты добрый, щедрый, Магомед!
Я б так не смог.

Коня к тому же нет.
А у тебя ведь тоже нет коня...
Но ты щедрее всё-таки меня.

О МИРЕ

**Я устал от тоски. Я не сплю.
Я стою у окна. Замерзаю.
Боже мой! Как я мир не люблю.
Как устройство его презираю!**

Михаил АНИЩЕНКО

Этого мира осталось, быть может,
на годы,
Не на столетья осталось лесов
и полей,
Птиц, распевающих,
в сердце поэта свободы...
Не проклинай этот мир,
а его пожалей.

Что, Михаил, мы о мире
воистину знаем?
Мы в этом мире пичужки,
песок и трава...
Мы о нём знаем немного, хоть
много страдаем.
Выстрадай душу, а всё остальное -
слова.

Больше в армию некого брать
в этом тихом краю.
Молодёжи не видно вокруг.
Все погибли в жестоком,
неравном бою...
Потому зарастают кустами
и пашня, и луг.

Этот бой длился долго - десятки
мучительных лет.

Власть боролась с народом,
она победила народ.
Вот поэтому здесь никого, никого
больше нет.
И не факт, что тут снова родимый
затеплится род.

Наклонились низко ивы.
В небе птичий крик.
«Не умрём, а будем живы!» -
Говорит старик.

Листья падают на воду.
На кресты могил.
Сердце верит небосводу.
Свету вышних сил.

19.10.08

подле Иосифо-Волоцкого монастыря.

ТАКУБОКУ В ДЕРЕВНЕ

Стоит сарай, покрытый дранкой.
Стоит мужик, покрытый мглой.
И я иду - с японской танкой.
С японской танкой под полой.

Ходил к речному я потоку.
Закат в воде был нежно ал...
Я взял с собою Такубоку
И на закате почитал.

Мне говорит Фарух Шуша.
Поэт египетский большой.
Что главное для нас - душа,
То, что в душе и за душой.

А за душой у нас одно -
Любовь к прекрасному родному.
На древний Нил его окно.
Моё - на поле и солому...

Теорий будет миллион
И всяких споров, конференций...
А победит тот, кто влюблён
В дух красоты, не в скуку лекций.

Мне говорит Фарух Шуша,
И я во всём согласен с ним.
И у него поёт душа,
И у меня поёт душа -
И мы с ним хорошо сидим.

Я понимаю так Рубцова.
Когда твердят, что много пил:
Поэт он дара был такого,
Который требует всех сил.

И падал он в изнеможенье,
И требовалось тут вино,
Чтоб отдохнуть воображенью,
Душе и телу заодно.

Вот говорят, пробежкой можно
Вино бы заменить вполне,
Но это мне представить сложно.
Могу представить на коне

Рубцова, как он восхищенно
Летит, уздечкою звеня...
И пил вино он удрученно.
Поскольку не было коня.

МОЛОДОСТЬ...

Молодость... Носить стихи
по редакциям,
Собираться с друзьями часто.
Отважно жениться.
И всё время куда-нибудь уезжать.

Вот уже и не молодость.
Простите, стихи.
Простите, друзья.
Прости, жена.
Простите, дороги.
Не молодость - это когда
Перед всеми ты виноват.

Осень, осень - храм золотой.
Хочется петь и молиться.
Осень, осень, не спеши, постой.
Дай насмотреться,
дай надивиться!

Жизнь - это тоже храм золотой.
Хочется тоже петь и молиться...
Ты не спеши, не спеши, постой.
Дай насмотреться,
дай надивиться!

4.10.08.

Ветер качает рябины.
Ветер осенний летит...

Нету на сердце рутины -
Сердце высоким знобит.

Листья летят в круговерти.
Ветер - и ночью, и днём.
Думы о жизни и смерти,
О Милосердном, о Нём...

Осень проносится с шумом,
Жизнь заглушая мою.
Думы, и думы, и думы..
Как над обрывом стою.

4.10.08.

А осень ничего не обещает,
Она честна - и потому светла.
И в ней весна с мечтами утопает,
И в ней зимы слышны колокола.

Деревья по-осеннему качает
И устилает все пути листвою..
А осень ничего не обещает,
И на душе поэтому покой.

30.09.08.



ЁЖИК

Фоторабота архиепископа МАКСИМИЛИАНА

АЛЕКСАНДРА МАРТЬЯНОВА

МАМИНО СЛОВО

Продолжение. Начало в № 4 за 2008 год.

ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА СЛЫШИТ

Деревенский ребенок внимает звукам природы. Слушает живые слова, суждения, реплики, споры, частушки, пословицы. Все они личные, индивидуальные и в семье, и на улице. Неочищенные потоки всякой всячины принимают уши отрока, юноши. Чуткое ухо запоминает все, но не все служит добру и красоте. Своя мера понимания.

Если человек с детства в семье, где о божественном предназначении человека не слыхивал, то как ему укрепиться в мысли, что надо делать только добро? Кто поможет мятущейся душе? Мама, художественная книга, Евангелие. Но мамы бывают разные, из литературы каждый берет свое, а Евангелие запрещено. Его просто нет.

Что взять себе в багаж на будущее? И берем иногда то, что поразило с первого взгляда... Детская душа что губка.

В наших местах Марсов пришлый мужик. Вот он - вольный, незлобивый бродяга. Невысокий, с тонкими чертами загорелого лица. Весь нервный, юркий, как ртуть, заикающийся из-за торопливой мысли, опережающей речь. Кому сапоги подлатает, кому крыльцо поправит.

Маленько подзаработает, горлышко промочит - и, как говорится, хлебом не корми, а поплясать дай. Поплясать и собственные сочинения довести до слушателей. Никаких календарных праздников или не знает, или, что вернее, не признает. Среди бела дня, посреди любой деревни устраивает себе кураж. Взрослые колхозники в поле, в лесу. Марсову не терпится плясать - и баста!

Загвоздка случается из-за гармониста. Его нет под рукой. Марсов

взмолится, уломает, а то и за рукав приволочет никудышного подростка.

Тот в поте лица пиликает плясовую, пусть с горем пополам пальцы выдают «отвори-да-затвори», пусть отыгрывают басы, пусть фукают прорванные меха. Марсова эти пустяки не задевают. Он уверен: своим мастерством - ни язык, ни ноги не заплетаются - перекроет все помехи.

Вот он уже наяживает под Афанасиным окошком. К зрелищу стекаются мальчишки и девчонки, побросав задания по хозяйству. Резко очерчен кружок, вытопанный на траве плясунами.

Марсову, его неумной натуре этот круг тесен, берет шире, вольнее. Ноги выделывают немыслимые кренделя. Простор в кураже ему дороже всего.

Нам, детям, желанны и притягательны любые пришельцы. Мы их жаждем и любим. Будь то портные, сапожники, цыгане, катали, шорники, кузнецы, лудильщики. Неописуемое наслаждение наблюдать за доселе неведомым движением рук, пальцев, ног, глаз.

Всевозможные инструменты играют в руках мастера, податливые материалы на твоих глазах превращаются в вещь: сапоги, хомут, пальто, валенки, грабли, табурет, шкаф, дом...

Результаты колдовского мастерства изумляют всякого ребенка, если он сколько-нибудь любопытен. А это так естественно для здорового дитяти.

Кто нас совершенно не привлекал, так это командировочные. К ним мы испытывали тупое равнодушие. Естественно, пламенные ораторы или пустые болтуны, честные или притворщики - для нас все одно - дремучий лес, густой туман, недоступны детскому уму-разуму.

Простому деревенскому человеку кажется сомнительным всякий труд,

результаты которого не видны глазом, не ощутимы, не слышны.

Марсов откомандирован самим собой в наши деревни. Его «номера» сдержанны, доступны. Мы бежим к нему.

«Поэму» начинает с песни-зачина о том, что он - человек с чужой стороны, а потому наперед просит снисхождения у слушателей, если что не по нраву.

Вторая частушка - это более тесное знакомство с нами - ротозеями-слушателями; не особо заботясь о своей персоне, высоко себя не вознося, называет Олёхой.

Эх, Марсов Олёха
не мал, не велик.

Привязался к Фалевне:
подай носовик.

Про себя даю замечание Олёхе по поводу неточного слова «подай». Очевидно, уместное тут слово «подари» никак не вписалось, не далось доморощенному поэту, Мысль же понятна: деревенские сударушки по обычаю дарят любимым собственноручно вышитый, обрамленный по краям тонким кружевцем, платочек или кисет.

Сударушка Олёхи - дородная вдовушка, всегда добродушная, с пухлыми влажными губами в полуулыбке.

Далее он поет, как долго томился и обхаживал свою избранницу. Пройдясь меткой частушкой по поводу «великого поста», который некстати подвернулся, а потому и нечего с ним особо церемониться, повествует о решительном наступлении на любовном фронте.

Подвыпившему мужичку в запале хочется юмора для публики. Она, нетерпеливая, жаждет искрометности, остроты. Артист (а он скор, умен, находчив) переполнен счастливым возбуждением, благороднейшим желанием повеселить, растопить застывшие, туповатые выражения на вечно озабоченных лицах. Народ оценит талант, простит грубоватый юморок, но не простит и шарахнется прочь от матюкальщика и сквернословца, который делает ставку на мерзопакость, которая бьет по уху, оскверняет слушателя.



Александра Ивановна МАРТЬЯНОВА с мамой -
Анфисой Ивановной БЕЛОВОЙ

Для деревенской культуры исполнение девушками «Чё те надо...» было бы невозможным.

Сегодняшняя «культура» попустительствует натуральной пошлости ради того, чтобы проскочить в «знаменитости». Теперь этот перл уже поет не одна «матрена», а группа, не разово (как частушка), а массово, со сцены по телеку. Казус? Нет, скажет нетребовательный шалопай, если передают по телевизору из самой Москвы, то, значит, хорошо, культурно, так и надо. О времена, о нравы!..

Вот почему к трем моим братьям, слышавшим много чего в пестром мире, не пристал мат, противна скабрёзность естеству, человеку богоподобному.

Марсов выделял тонкими ножками, плотно обтянутыми брючинами, вензеля. Поет свою «поэму». Я запоминаю ее наизусть и намериваюсь при первом удобном случае пересказать маме, порадовать ее, блеснуть памятью.

К Марсову подходит Фауст, угощает табачком артиста. За поясом у Фауста топор. Покурили. Мужик молча сплюнул в сторону и пошел по делам. Хмурый, недовольный, видно,

тем, что сам, прихрамывающий, не может изобразить ни единого коленца...

Случай подвернулся. Мама месила ранним утром тесто в объемистой квашне. Я встала и под села на лавке. Любовалась, как ловко крепкий мамин кулачок без усталости, долго-долго разминал комки - тяжелая неотложная работа.

Я с радостью рассказала о Марсове, выложила поэму о носовушке. Она терпеливо слушала, орудуя кулачком, молча опустил глаза. Потом подняла глаза на меня и вместо ожидаемой похвалы тихо огорошила: «Никому больше не пересказывай. Эти песни непристойные, похабные. Не запоминать, подальше от таких певцов».

У меня перехватило дыхание. Жар бросился в лицо, поспешила в спасительную просторную светлицу. Лбом прислонилась к холодному стеклу того крайнего окна, которое выходило на реку.

Река с ее текучими водами, перелетыми струями, играющими с водорослями, меня всегда притягивала, успокаивала в тяжкие моменты. Радостное очарование усиливалось синью реки-ленты, ее перекатами, многоцветьем камушков, светящихся через толщу воды, золотом переливающихся песчинок. В трудные минуты бежишь к реке. В панике, по-сумасшедшему - с крутой горы, прорываясь через заросли трав, садишься на камень, точь-в-точь как «Аленушка» Васнецова, и сидишь часами, пока неизбывные тугие токи воды, постепенно охлаждая твой пыл, унесут с собой смятенные трепещущие мысли.

Текущая синь скользит по водорослям, названия коих мы не знаем, не знаем, куда истекает и тоска-печаль. Речные излуки, заводи, круговороты, вьюны, мерное вкрадчивое побулькивание успокаивают, врачуют душу вернее любого, даже близкого человека.

Из окна смотрю на речку, перебираю в памяти случившееся. Радуюсь: не усугубила оплошность. Ведь еще полчаса назад после пересказа песенной «поэмы» я намерена была пове-

дать маме о случае, крутившемся в моей голове, как пластинка патефона. После маминого замечания я вовремя опомнилась, прикусила язычок и, убежав в передок, унесла курьезную тайну и в очередной раз не повергла милую, терпеливую маму в шок своим откровением.

Теперь, глядя на речку через стекло, перебираю в памяти тот день, когда Вася Агафонов возил навоз, а меня подкатывал уже на порожней телеге с поля до двора.

Он работал в колхозе, я резвилась. Прополка еще не подросла, лен не созрел. Мы окончили четвертый класс. Правда, он переросток, вытянулся не по годам, самостоятелен в поведении.

Голова на тощей шее вертится как у сыча, что сидит на коле и осматривается окрест, озирается, зорко примечая пичугу или возможного врага. В свои тринадцать работает в колхозе на лошадях. У него личная трудовая книжка. Подражает мужикам: важно похаживает, курит, плюется. На нас, неработающих, поглядывает свысока, почти презрительно. У него неясного происхождения прозвище Фофан, в моем переводе - Важный.

Сперва за глаза звали Фофан. Иначе невозможно было вычленивать имя сорванца, так как Васек - пруд пруди.

В выборе имен при рождении ребенка родители в смутные тридцатые годы не шли дальше Васьки, Саши, Кольки, Сережки, ничего не придумывали. У Федотовых даже сын Александр и дочь Александра.

Давно ли, кажется, сверкали непотворимые, ласкающие ухо Еролай, Агафон, Аверьян, Лаврентий, Ефим, Мирон, Наум, Ларион, Акиндин, Африкан... Правда, соседского мальчика звали Нафанаил, что-то ангельское звучало в этом имени.

Я - Шурка, а прозвище - Белка. Существо суетливое, любопытное. Веснушчатое - в маму. Ничего пояснять не надо. Как и отцовское в свое время - Беляк - из-за яркой белокуро-сти, откуда и пошла фамилия Белов.

Прозвище мне доставляло неимо-

верные душевные страдания. Я всегда держалась настороже, тщательно избегая любой зацепки, любой ситуации или непредвиденной провокации, повлекшей озвучение ненавистного слова. Мне приходилось вести себя тише воды, ниже травы. И уж ни в коем случае не обзывать других, чтобы той же монетой не получить сдачу. Фофан, думаю, и сам забыл свое истинное имя. Или прикрывался бесшабашностью.

Так прикипело прозвище, что никто уж именем и не пользовался.

Только не я. Для меня он был Васька. Всезнающий, удивляющий меня, кнопку, обширными познаниями о лесе, поле, реке. О птицах, рыбах, зверях.

Поведет, бывало, деревенскую ватагу в лес по ягоды. С ним нет заботушки, что заблудимся, не выйдем на просеку. Опека проявлялась как-то сама собой. Никто из родителей не просил его присмотреть за нами, ведь по возрасту - разница год-два - все в общем равны. С ним не страшно в дремучем лесу.

Случается, корзинки уж полные, тяжело по кочкам и мхам брести. Выбиваемся из сил, страх мечется в груди. Замерли и уповаем на Ваську и Бога. Никто не знает, где деревня.

Еще никто не плачет, но напряжение сковало лица. Васька то и дело останавливается, прислушивается, приглядывается, при том не теряет интереса к шуткам-прибауткам, куда проскальзывают легкие матюжки, что настораживает, так как дело действительно плохо.

Нам не смешно, замерли в ожидании. И вот - просвет! Васька хохочет над нами дико, с упоением: обкакались! Счастливые, спешим, смотрим под ноги. Васька незаметно обежит стороной, завяжет травы на тропе узлами да как рывкнет по-медвежьи, да сам выскочит из чащи. Мы с визгом кинемся вперед. За первым - второй, третий падаем, как доминушки. Ягоды - в траву. То-то ему потеха. Кружит рядом по кустам, пока девочки помогают друг дружке выбрать из травы ягоды.

Вот уж опять несет причудливый гриб, или яйцо, или птенца. Случайно наткнулся. Показывает. Мы сгруппировались вокруг него, ахаем.

Агафонов обладает какой-то дьявольской властью над ватагой. Он издевается, насмешничает, обижает. Мы прощаем, никогда не жалуемся на него. Одновременно и сердимся, и любим. Его безудержность и в слове, и в поступке привели к непоправимому в жизни - к бесславной ранней кончине. Горько знать это.

Сегодня весенняя благодать опрокинулась на деревню. Небо отступило ввысь, раздвинуло горизонт. Дало полную волюшку солнцу. Оно просвечивает всякий листик, любую былинку, проникает в самые потаенные затененные уголки.

За полдня мое лицо преобразилось. Бледные, рыжеватые, почти незаметные пятнышки-веснушки проявились, усыпали щеки, нос яркими коричневыми нашлепками. И никуда от них не денешься, никакими средствами не изведешь. За что мне такое наказание?

Васька Агафонов сегодня, как и другие подростки, вывозит в поле навоз с соседского двора. Навоз добрый, подстилкой служила хвоя, он пластами слежался, в меру влажный, не в меру запашистый, но никому не придет в голову зажимать нос: пахнет естественно и совсем не противно.

Я бегу за груженой телегой. Васька сноровисто скидывает вилашками по кучкам на полосу добрый назем из телеги. Садится на лошадь боком, я заскакиваю в тележку. Стою, руками держусь за чистый передок. Возчик весь сияет и на радостях, пока едем с поля, всю дорогу поет частушки. Они до того смешные, что я хохочу безудержно.

Он оглядывается на меня, скалит зубы, рад-радешенек, что доставляет удовольствие. На минуту замолкает, глядя вдаль на нежную мягкую зелень лесной опушки, вспоминает очередную частушку, чтобы не дай бог, не выскочила случайно с «картинками». Знает, если сорвется, я сразу дам дёру.

А пока замызганная навозная телега превращается в сцену с одним артистом и одной слушательницей. Оба - народные.

Телегу кидает то в борозду, то на кочку, то на камень.

Но вот выезжаем на луговину, на более ровную наезженную дорогу. Возчик решает поддать жару, удивить, прокатить пигалицу с ветерком. Сграбастав в кулак вожжи, со свистом крутанул петлей над головой лошади, огрел ее по боку и одновременно, предвкушая верх удовольствия, выдал такую сногшибательную словесную загогулину, что я от изумления и, будучи, как видно, тоже в ударе, невольно точь-в-точь повторила ругательство. Жуткую нецензурицу! Трехэтажную! Если присчитать предлог, то и вовсе - четырехэтажную!

Васька от моей выходки с диким хохотом повалился с лошади (сидел он боком, а лошадь неслась). Однако покошачьи сумел ухватиться за седелку и довольно ловко вскарабкался на круп лошади.

Я не могла поднять глаз. И как только лошадь, поуспокоившись, умерила шаг, я выбралась из телеги и бросилась в сторону, по густым травам куда глаза глядят, подальше от своего товарища.

Мне хотелось выскочить из самое себя и скрыться. Увы, это невозможно!

Спустя дня три мы встретились прилюдно. Я замерла, ожидая самого худшего. Васька смотрел на меня, улыбался не зло, не издевательски. Спасибо ему: не ославил на публике, никому не рассказал. А ведь это было в его манере.

А с мамой я давно хотела завести речь о том, почему она не поет, как Марсов, как Агафонов. Этот вопрос наготове - в голове. Когда-нибудь подвернется подходящий момент, и я повыспрошу... Ведь голос у мамы чистый, звонкий, и на клиросе пела в детстве.

Скоро дошли до нас слухи, что весельчак Марсов ушел из наших мест. На время? Навсегда? Никто не ведал точно. Не привился, видно.

Какой-то недоумок ни с того ни с сего в темноте шарахнул его колом по голове.

Много тут всколыхнулось суждений и домыслов. Бабы без умолку судачили, терялись в догадках: кому и помешал, ведь зла не делал никому.

Мужики гнули свое: нечего тут всякому околачиваться, пушай, мол, свои коленца вывертывает перед своими бабами.

Сказывают, плясал в последний раз и, не теряя чувства юмора, опять о себе беспечно напевал:

Не плясаннык я:

опоясали меня,

Да не широким ремешком,

а трехаршинным колышком.

Сгинул. Больше в наших благодатных местах его не видывали.

Лукавят мужики по поводу тутошних баб и его привлекательных коленцев.

Причины, знать, иные, глубинные, мне недоступные. Делаю собственные выводы о том, откуда вырываются подспудные, надменно-злобные поступки мужика по отношению к пришельцу.

Житель деревни по сути крепостной. Он заложник переменной погоды, весеннего сева, сенокоса, жатвы, зимовки скота. Недород, болезни, пожары витают над мужиком всегда и всюду. Круглосуточно, круглогодично!

Никаких передышек! Успеть! Во время! Во что бы то ни стало!

Заложник - человек не вольный. Он заперт, привязан к земле. Да, она дает почти всё, а забирает не почти, а - всё! Пришлый Марсов мозолит глаза, ломает устой, смущает nepозволительной вольностью. Ему никто не указ.

Не придет колхознику в голову, как Марсову, плясать посреди бела дня. Нельзя ему побродить по-тургеневски с ружьишком по топким болотистым гатям за дичью, сбегать в охотку по ягоды в сенокос, просидеть по-толстовски ночь за картишками, потратить денек - махнуть в город на базар в посевную, выучиться играть на пианино, виолончели - не можно! Точнее, невозможно!

Закон Божий, строгий тятенька да семеро по лавкам держали каждого крестьянина в жесткой узде. Времена выковывали мирных, трудолюбивых, милосердных, терпеливых людей.

Земля - содержала, Бог - благословлял. Семья - понуждала, не позволяла прохладяться.

Да, пили горькую. По праздникам. Пьяниц не могло быть. (У соседки Августы сохранилась рюмочка граненая - десятиграммовая). А наш гость Никанор из Гридинской на второй день после праздничного веселья, встав спозаранку, пил только квас.

Сидя на лавке, ковыряя вилкой рыбки, то и дело кричал: «Шура, квасу!»

Я бежала в куты (кухню), выдергивала гвоздь из квасника, нацеживала полковничка квасу (он очищался пучком соломы внутри кадушки, и поэтому «дробь» не попадала в ковшик), и подносила дяде Никанору. Он с жаром благодарил. Не проходило и пятнадцати минут, снова слышится: «Шура, квасу!» Я все детские дела бросаю, бегу, снова подношу дяде ковшик с квасом.

Так повторяется все утро. Настолько оно врезалось, да, надо признать, и смешило всех, но виду тогда никто не показывал, что осталось на всю оставшуюся жизнь как смешная приписка к любой срочной просьбе: «Шура, квасу!»

Особенно она пришлась по душе старшему брату Юрию: забавляла, бодрила, веселила, как сам квас. Именно Юрий закрепил прибаутку как семейную. А еще его пословица: сделаем по всем правилам!

Прекрасно, великолепно! Никогда не водилось у нас в семье водки, самогонки. Нет ни стаканов (мне и сейчас не выпить чай из стакана, у нас водились чашки, бокалы фарфоровые), ни рюмок, ни стопок.

Не случалось в семье больших шумных застолий, пьяных драк, ругани. Стены отцовской зимовочки не слышали мата.

Нередко деревенские бабы, выведенные, примерно, скотиной из рав-

новесия, крыли матом или иными крепкими оборотами и скотину, и ребяташек-неслухов.

Наша мама, сдержанная, ровная по натуре, никогда бы не унизилась до грубого слова.

Мы, пятеро ее детей, держались за нее, она - за нас. Мы гордились ею и подражали. Она гордилась нами, а между тем мы - не паиньки.

А ведь семью кидало из огня да в полымя, ибо страну сотрясали бесчисленные ураганы.

На моих глазах уклад крестьянский пошатнулся и разрушился.

Людское переселение в чужеродные края из-за войн и голода, это столпотворение, породило отрыв от корней, безотцовщину, безответственность. Доброе оказалось сиротливым и придавленным. Низменное и нахальное выскочило в общежития, на жизненную сцену, подняло голову и пошло куролесить, перепутав свободу духа со вседозволенностью. В чужих краях люди, оторванные от своего рода-племени, могут легко свернуть на кривую дорожку. Тем более, если оказалось выхолощенным все божественное из сущего.

Мы устояли, прислоняясь к твердой маминой правде о божественном начале каждого человека.

ОПОРА

Василий Иванович был еще крещён (1932), а я уже (1936) - увы.

Высокая миссия поддерживать духовность, веру, выдержать все выпала на маму.

Как умела, исполняла извечный материнский долг, показывая пример ежедневным неустанным трудом и скупым задушевным словом.

Непоколебимая крепость ее держалась на пяти бесценных живых опорах: Юрий, Василий, Александра, Иван, Лидия.

Мы незримо вливали в нее несокрушимую силу: не видели мы свою маму болеющей. Ни разу! Не слышали стенаний и слез!

Никогда она не проклинала судьбу, не жаловалась! Даже случайно, в

критические ли минуты, в озлоблении ли, не вырвалось из ее милых чистых уст ни одно грязное слово.

Все больше утверждаюсь в мысли: от мамы нашей Анфисы Ивановны исходила божья благодать. И нам внушала: всякий человек рожден для добрых дел.

Всегда задумчивая, малоразговорчивая, головушка склонена набочок, как у Богородицы, в редкие минуты доверительного общения так внимала нам, так вся светилась, удивляла цепкой памятью, незлобивостью, жалостливостью.

Она никогда не повышала голос, никогда бестолково не размахивала руками, подтверждая мысль, чего о нас, детях, сказать трудно.

Мама кончила три класса церковноприходской школы. Закон Божий - главный предмет. Мы - советские дети. Учились по другим учебникам. Воинствующие атеисты, мы петушились, силясь спорить с мамой.

Особенно долго доходило до нашего ущербного сознания, как можно смириться с обидой, с обманом и «оплачивать» обидчику добром.

Мы не имели в виду «зависть» и «мечь». Эти понятия были полностью исключены из жизни и лексикона. И до сего дня не унизимся до зависти и мести.

Удивляло мамино всепрощение.

Вот мамины слова: «Что Бог дал, за то благодари. Смирись, если пока нет возможности что-то изменить, исправить. Обидели тебя - прости, перетерпи. Не плати тем же, а то обиды будут нарастать, как снежный ком с горы, а там и до беды рукой подать».

Так нам, малым, приговаривала, без надрыва, не собирая всех в кучу, не демонстрируя свои познания.

Как бы между прочим, поведает какой-нибудь жизненный случай, и мы внимаем. «В соседней деревне брат убил сестру. А ведь с чего все началось? Сестра убогая, глухонемая. Вынянчила всех его детей. Добросердечная труженица, двужильная. Жила в доме по соседству. Всю себя посвятила родным: ломит за двоих на сенокосе, ягод, грибов заго-

товит на два дома... Себе на старость кое-что припасает, ибо ей не на кого надеяться: у брата - бедность. Жена, детки... И задумал брат черное дело. И пошел за ней на болото... С топором. Ягоды она собирала. Вот день ее нет, другой. Всполошился, запричитал, заплакал. Зверь какой, видно, загрыз сестру... Пошел искать. Не нашел. Возвращается, а ее домик уж открыт. Народ уж сгрудился... Кровь на крыльце. Очухалась, вишь, приползла страдалица домой умирать. Так он в тюрьме и сгинул... Напасть не задлилась, пошла по деткам: кого убили, кого молния разразила. Последыши подались куда-то. Ни разу, сердешные, носа не показали в родных местах - тягостно им, стыдно за отца! Так и развеялась по ветру фамилия. Самое это пропащее - плюнуть на свою фамилию...»

Поистине, благодать исходила от крепкой маминой округлой фигурки, от ее быстрых, ловких, точных - как бы играючи - движений рук, от ее простого - редко да метко - доходчивого до детского сердца слова.

Эта легкая божественная необходимость добра, справедливости, милосердия при любых самых, казалось бы, безвыходных обстоятельствах прижилась и ко мне и к другим детям.

АЛЫЙ МАЯЧОК

Мама выбивалась из сил, чтобы мы не захворали и не умерли с голодухи. Юная безотцовщина после войны обносилась до последней степени, донельзя, как говорят в деревне.

Бельишко из-за вьевшейся черной мази, которой лечили чесотку, ветхое, стиранное-перестиранное, прокипяченное в щелоке, превратилось в клочья.

Сапожонки - одни «просили каши», другие дразнились пучком соломы, торчащим из драного задника.

К Троице и Заговенью обновку удалось оджужить только для Василия. Зато не перешитый, а фабричный табачного цвета костюм, без подклада.

Василий с друзьями ушли в Вахрунху на праздник.

Деревня за рекой. Гармошки зали-

ваются, девочки поют отчетливо, слышна каждая частушка.

Нам, девчонкам, охота туда сбегать, да нечего надеть, обуть. Все-таки худо-бедно принарядились. А у меня - одни сапоги, да и те с надорванными подошвами спереди. Добро бы каблуки, отдери да иди без них. И заботы нет. Мелькает догадка: привязать веревкой, чтобы при ходьбе подошвы не задирались. Тут же явилась другая мыслишка, более дельная, приемлемая, смелая: отодрать подошвы начисто! С усилием, кое-как управилась. Затрещали деревянные зубочки-гвоздики. Оголилась... белорозовая береста, непромокаемая и скрипучая, гибкая, на диво аккуратно прищипанная мастером. Получилась приличная, под стать татарской, обувка, легкая, удобная - под сегодняшнее ведро. Даже любопытствующий не заметит подвоха. То-то радость - проблема решена.

И вот мы с подружками уже в Вахрунихе. Наши одноклассники-пацаны накинудились на нас с пучками крапивы, мы - дёру от них. Не отстают, измаяли вниманием. Мы залезли на стену полуразрушенного дома, свесив ножки, с высоты взираем на гульбище. Малолетки-мучители затеяли свои мальчишечьи игры на задворках. Нам со стены далеко видно. В поле, что ведет к Пичихе, тихонько идут, удаляясь, двое. Гордость распирает меня за брата Василия: его спутница - изящная тонкая рябинка. Это медичка из Сергеихи, Руфа. Я то и дело поглядываю на них, не выпуская из вида. Вдруг почтальонка Параня велит мне слезать с высоты. Письмо нам. Беру письмо, опять вскарабкиваюсь на стену. Читаю письмо от старшего брата Юрия. Ищу глазами парочку. А их и след простыл. Видны одни кусты у песчаной - курице напишется - речки Нодобицы.

По родной деревне с подружками степенно ходит плотная, розовощекая девушка-подросток, дочь уважаемого колхозника Григория Ивановича. Их семья многодетная, дружная, трудолюбивая, верующая и непьющая. Каждому, губа не дура, охота пород-

ниться с такой достойной семьей.

Наша божатка Анна спит и видит Василия только рядом со своей избранницей из Вахрунихи.

И мне в свое время божатка приглядела Вовку Румянцева: хваткий-де, труженик, с ним голодом не насыдишься... Но об этом мне будет сказано гораздо позднее. А пока не время: будущие женихи от души угощают нас - шпарят крапивой...

Через какое-то время разнесся слух по деревням. Слух радостный: поступили на станцию Харовская вещи из-за границы. Будут вручать семьям погибших фронтовиков.

Списки с указанием фамилий и количеством детей составлены.

Откомандировали маму: уточнить, сколько девочек, мальчиков в семьях, получить за всех, раздать-развезти по назначению. Выделили лошадь, подводу.

Мама исполнила задание, домой явилась поздно с двумя тючками. Для нашей семьи - побольше, для Щеглевых (у них три мальчика) - поменьше. Так как сил не осталось еще идти в другую деревню Лобаниху, она решила отнести вещи утром.

Тючки перевязаны крест-накрест бечевкой. Вещи оказались добротные, но не новые.

Среди наших - большое, для перелицовки, мужское пальто.

Мой вострый глазок узрел в чужой клади неотразимый по красоте алый атласный косичок. Я решила, не развязывая, обследовать узел и поняла: это тоже пальто, а подкладка алая. Вот мне бы на платье! Как раз! А мальчишкам такая яркость - ни к чему! И я пристала к маме, умоляя поменять пальто на наше большое, черное, с серой подкладкой.

Описи нет. Наше пальто не хуже. Всё равно для перелицовки. Удобнее и лучше и для них, и для нас.

Мама была непреклонна, и как я ни доказывала, что никто и не догадается, что разумнее Щеглевым подарить более им необходимое, не с алой подкладкой пальто, она не позволила развязать тюк.

Решительно отказала поменять.

- Мама, - клянчила я, не отрывая глаз от алого лоскута, глядя пальцами атлас, - ничего ведь не случится! Польша все равно ведь перешивать. Парни красного не любят. Поменяй, ничего не случится!

- Случится, - тихо, без лишних слов отрезала она.

- Что? - не понимала и горячилась я уже со слезами, - что? Скажи, пожалуйста!

- Обман.

Я выскочила за дверь, в темноту, остро досадуя на ненужное упрямство мамы. Никто не явился за мной утереть слезы обиды...

Прошло полвека. Алое атласное пятно и сегодня стоит перед глазами. Оно затмило детскую досаду скоро. Но греет и светит на моем жизненном пути, как маяк.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ МАМЫ

В четыре года от роду, круглая сирота, была вывезена из города Вологды. Бездетные дядя Иван Михайлович и его жена Анна Ермолаевна удочерили Анфису. Жила она в сытости, тепле, в чести. Ее холили, лелеяли, наряжали и приучали к труду.

В те времена, дореволюционные, учить грамоте девочек было не принято, но маму, единственную в деревне, отправили в школу. На заказ были сшиты мягкие сапожки и шубейка.

С восторгом вспоминала она учебу в церковноприходской школе. Главным предметом был Закон Божий. Податливое детское сердечко впитало все самое доброе. Без натуги, без нажима со всей искренностью и верой восприняла она Божественное учение. Оно, правда, ей не было внове. Дед Михаил не расставался с Библией, рано заронил здоровые зерна в детское сознание.

Мама в детстве пела в церковном хоре, любила читать (множество стихов читала наизусть нам, детям; показывала на пальцах приемы сложения, умножения)...

Училась легко. Три года пролетели незаметно.

Жизнь текла вполне счастливо.

Только один горький эпизод из

раннего детства поведала нам. Рассказывала просто, без обиды, с юмором. Было ей лет семь. По весне Иван и Анна посеяли добрую полосу гороха. Внезапно случился град. Все горошины выскочили на поверхность. Что делать? Крестный (так называла Анфиса дядю, удочерившего ее) без ноги. На деревяшке по весенней размытой грядке не долго находишь. Сама Анна (божатка) с утра до вечера крутится - весна, дел невпроворот.

- Анфиска, выручай. Вся надежда на тебя, - сказал Иван Михайлович, - а то без гороха останемся на зиму.

Специально для этого дела выстрегал удобную палочку по росточку. Наконечник палочки расширен, чтобы легче было воткнуть горошину в землю. Научили, объяснили, и маленькая помощница осталась одна в поле. Очень скоро сапожки от липкой грязи стали пудовыми. Еле-еле вытаскивает ноги. Терпит, крепится, трудится. Потом наступил момент, что не вмоготу. Не уходит домой, боится - заругают. Начало смеркаться, а полосе конца-края не видно. Слезы потекли. Постоит, поплачет, опять за дело. Захлестнула обида. Тут и божатка вывернулась из-за бани. Повела домой за ручку.

Детство пролетело безмятежно, как у всех, у кого заботливые родители или воспитатели.

Дружно работалось, посиделки собирали молодежь, веселье и озорство в святки, песни и пляски в пивные праздники - все это наблюдала Анфиса до революции.

Когда мой будущий отец Иван Федорович и Анфиса полюбили друг друга, воспитатели (особенно божатка) воспротивились. Сочли: понизко выдавать из хором в старую зимовку, за бедного Ваньку-Беляка.

И вот уже божатка Анна Ермолаевна с гулянки встречает, поджидает, замахивается то веревкой, то козыслом. Ругает за избранника.

В далеком Тигине живет знакомая Ивану Михайловичу справная семья. Договариваются. Отец с сыном приехали свататься. Лошадь лоснится, сбруя богатая. Сами в дорогах одеждах.

Накрыли стол, поставили самовар. Все лучшее - для дорогих гостей.

Божатка заплела Анфисе косу, надела на нее новое платье. Пригласили в застолье. Только начали сговор, Анфиса поняла и бросилась из-за стола с криком «не пойду, не пойду!» в другую комнату. Потом и вовсе где-то спряталась.

Настаивать, принуждать - не в характере крестного.

Спустя много лет всё это рассказывала мама. Я спрашиваю: «Какой был жених?» - «Очень высокий. Сразу не понравился», - был ответ.

Главная причина, конечно, другая: она уже любила своего Ваню. Не высокого.

- Мама, тогда бы все мы были высокими, стройными, любо-дорого посмотреть! А то мы коротышки.

- От кого, дак и в того! Яблочко от яблони недалеко падает. А еще в народе говорится: мал золотник, да дорог.

Ум-то сразу не различим глазом. И глупость непросветная, характер вздорный, неуступчивый - тоже. Наскоро окрутят, бывало, молодых. Наскоком, а то и хитростью. Или - она беременная, или - он дураком. Всю жизнь маются и людей смешат: с бухты-барахты путного мало получится. Завсегда к уму и характеру присмотреться надо. Лицо приглядится, а ум пригодится.

Сыграли свадьбу. И мама ушла жить в большую семью, в бедную хижину, что через дорогу в той же деревне.

В 1928 году родился первенец Юрий. Через два года родился Василий, который умер. В 1932 году родился Василий Иванович Белов, я, Александра, - в 1935 году перед Новым годом, записана в 1936. Иван - в 1938 году, Лидия - 1940 года.

ОТЦОВСКАЯ КНИГА

Если мама нам в детстве читала стихи наизусть, то отец читал вслух книги. Не часто это случалось, но памятно.

Действительно, что пройдет, то будет мило...

1942 год. Осенняя темень накрыла с головой Тимониху. Только кое-где мерцают в окнах огоньки. Никто не жжет попусту керосин. Деревенский житель не был бы скуп, прижимист, да жизнь заставит, живо научит аккуратности да бережливости. Тем более в войну.

В напуганную избу потянулись соседки. Еще сумерки, а мы уж предвкушаем близость радостных часов - отец опять будет читать вслух «Ташкент - город хлебный».

Бабы - по лавкам, мы - кто с печи свесились, чуть не падаем, кто - за столом, ноги под себя. Висячая лампа тускло светит: лента не достает до керосина, еще вчера выгорел.

Мама снует по хозяйству из коридора на кухню и обратно. Обряжает скотину. Но ей же приходится сбегать в амбар, где в десятилитровой бутылке керосин еще остался.

Лампу заправляет отец. Выверты-вает ленту, подравливает ноженками, чистит стекло, опускает пониже.

И вот она на всю зимовку сияет. И все радостно воссияли лицами, улыбаются. После обсуждения с бабами начала войны наступила чуткая тишина. Отец читает негромким четким голосом, не торопясь: слушатель больно разношерстный, надо всем подноровить. То и дело голос отца перекрывает взрыв смеха. Он еще раз перечитывает это предложение. И так не один вечер...

Отпущен был отец на несколько суток домой после ранения и госпиталя.

Минуло несколько десятков лет.

Довелось мне жить недалеко от детской библиотеки, что по улице Текстильщиков. Поразила тишина, безлюдность даже в читальном зале.

В районе несколько многолюдных школ, а в храме ума и чувств - пусто! Я, возмущенная, не удержалась: «Если бы я здесь работала, этот храм гудел бы, как пчелиный улей».

Я выбрала себе книгу...

- Эти полки платные...

- Неужели! - опешила я.

- Вы отстали от жизни. Проходите

к тем полкам... Мы получаем, между прочим, гроши...

- Да. Дела!

Мое изрядно пошатнувшееся настроение минут через двадцать с лихвой окупилось. Затертый старенькими, замызганными томами стеснительно и сиротливо выглядывал чистенький корешок нетолстой книжницы. Сразу видно: корешок без единого маслянистого или чернильного пятна, жесткий, непотрепанный; никто не позарился прочесть: мол, нестойщее, незавлекательное, так как бесplatное.

Однако мой настырный, недоверчивый характер заставляет меня с силой выковыривать зажатый томик, удостовериться, за что отвергнут.

«Ташкент - город хлебный!» Отец! Милый наш тятя! Иван Федорович! «Боже мой! Боже мой!» - только и могу шептать, и рот растягивается в счастливой улыбке! Я прижала «отцовскую» книгу к губам, трепетно поцеловала, и животворящая слеза без спроса пощекотила мою щеку.

Долго скрываясь из-за смятения за стеллажами, не выходила. Да! А кто же автор? Я забыла! - Неверов! Какая глупая была, авторов не запоминала... «С чувством, с толком, с расстановкой» читала я дома, уютно устроившись за столом. «Ташкент - город хлебный» Неверова. А в минуты отдыха спрашивала себя: как случилось, что такую талантливую книгу никто не читает, никто не удивляется и не радуется россыпи жемчужин русского языка?! А главное, никто не вникает в упорство, крепость, лишения мальчишки, который привез-таки хлеба.

Велика подвижническая деятельность любого учителя, воспитателя, библиотекаря, отца и матери, наконец! Вспомнились явственно родители. Отец, по словам мамы, был отчаянный, взрывной, но стеснительный и добрый. Мы, дети, частенько тоже неисправимо горячие, вспыльчивые, неводержанные спорщики.

Соберемся все вместе на каникулы в родной Тимонихе да пустимся в дебаты об искусстве, литературе, крестьянстве, религии, политике, войне,

дворянстве, интеллигенции... Ох, и неинтеллигентно получается!

Тотчас загораемся, кидаемся в атаку (без рукоприкладства, конечно), переходим на спор, крик. Перебивая друг друга, каждый доказывает свое.

Мама на кухне слушает-слушает, терпит-терпит, потом выйдет да укоряюще и скажет:

- Ой, ребята, вы зачем горячитесь-то?! Угмонитесь. Нехорошо! Что вы какие нетерпеливые-то! Чуть не до ругани! Что вы! - Мы остепенимся на минуту. - Ни одного-то в меня нет! Характером все в отца. Тому тоже все надо было до самой истины докопаться, развязать до последнего узла.

О БРАТЕ

Василий и так говорил меньше всех, а вскоре вообще замолчал. Послушает нас, помолчит и, бросив «ничего вы не знаете», уходит. Потом мы стали больше общаться с его книгами, а не лично с ним. Появились причины, неудовольствия, претензии друг к другу, поучения, нетерпимость. Чаше по поводу винопития. Крут родственников и друзей расширился.

Василий кипятился, не мог видеть пьяниц, а они липли, надоедали, пролили денег - всюду: в деревне, в Вологде, в Москве. На вокзалах, на улице, у ворот дома.

Были времена - его не печатали. Или вымарывали самые ценные куски прозы. Каково было ему переживать несправедливость? И именно в самые тяжкие времена он не опустил-ся, а бросил клич полностью отказаться от винопития, спасая родственников и друзей. Сам себе объявил сухой закон на долгие годы, показывая пример зятям.

Нам он никогда не жаловался, зато мы позволяли себе его критиковать! Профаны, мы указывали: зачем так написал? Тут ты не прав! Нельзя так! Можно бы и поаккуратнее! Твое слово нам иногда боком выходит!

Поздновато мы стали его беречь, щадить. Слово - серебро, а молчанье - золото. Особенно если не смыслить в предмете. С годами мы признавали: В. Белов прав и тверд.

Человек ценится делами, а не трезвоном, как будильник.

Кому много дано, с того много спросится.

Бог одарил Василия Ивановича могучим талантом, нестигаемой волей, острым чувством причастности и ответственности за судьбы крестьянства, что и подвигло его на титанический труд. Он многого достиг. Вместе с другими единомышленниками сдвинул с места неподъемный лежащий пласт, чтобы правительство поняло наконец, что нельзя рубить сук, на котором сидишь - деревню.

Представьте, как больно ему видеть сегодняшние деревни, где бес толково бродят безработные и пьяные. Сердце у него обливается кровью при мысли об опустошенных поселках на фоне богатой природы, об упущенных неисчерпаемых возможностях.

В гостях у Василия Ивановича бывали в Тимонихе японцы, немцы, голландцы... Недоумевали: «Какие просторы, красоты! Вокруг такие богатства! Нам бы иметь... Хотя бы часть иметь такого простора и богатства, чистоты!»

Как объяснялся перед зарубежными гостями Василий Иванович, я не знаю. Он не рассказывал. Нелегко держать ответ на жгучие неразрешенные вопросы, а перед самим собой - еще тяжелее: ведь самой маме и себе поклялся изменить в деревне всё в лучшую сторону.

Все удрученнее и раздраженнее вижу его при встрече. Кажется, разочаровался в жизни. Невыносимо тяжело ему. Вместо душевных бесед по семейному внушает азы христианского вероисповедания. При случае дарит братьям и сестрам книги о житиях святых, настоятельно рекомендует читать. Кажется, обижается, если принимаем равнодушно, читаем без упоения, только по его настоянию.

Правда, под его непосредственным влиянием ознакомились мы с Библией, прониклись уважением к Флоренскому, Брянчанинову и другим. «Псалтырь» на старославянском языке притягивала мое любопытство новизной неизвестного. Какая-то мощная не-

домая сила - зов предков, верно - буквально заворожала меня, но трудности с титлами, знаками, цифрами, с переводом осложняли чтение. То и дело приходилось бежать к Василию в горницу, где он работал, спрашивать. Сию минуту получала пояснение. А вот «Жития» не даются...

Бога он никогда не сторонился. Теперь же повернулся к нему всей истрадавшей душой.

Никакое самое благое дело не совершается враз, наскоком. Как из песни слово, так и из жизни не выкинешь ущербного детства.

Что есть во мне доброго, то постепенно впитывалось мною с молоком матери моей, Анфисы. Укоренилось навеки, на всю жизнь.

Воспитание это духовное, возможно, несколько однобоко: запреты сделали свое чёрное дело, отдалили от храма и молитвы.

Мы, дети, гнулись и качались в грозные годы, как тонкая рябина на ветру.

Но мама была тверда! Её напутственное слово неоспоримо, ее вера непоколебима. А мы ей бесконечно верили.

Вот читает мама наизусть стихи «Шел по улице малютка». Мы в темноте (керосин кончился), тесно прижавшись друг к другу на печи, внимаем неторопливому искреннему голосу мамы. Один Василий на кровати за шкафом. Прислушивается. Представляем крещенские морозы. По метельной улице бредет нищий-сиротка.

«Боже, - говорит посиневший малютка, - я озяб и есть хочу». И некому обогреть, накормить сиротку! Но случается чудо. Боженька услышал мольбу. Случайная старушка взяла его к себе.

«Приютила, обогрела и поесть дала ему. Спать в постельку уложила»... Счастливый малыш «закрыв глаза, улыбнулся. «Сколь тепло», - промолвил он».

Мы шумно и с радостью вздыхаем. - А где Бог? - спросила я.

- Он везде: в доме, на улице, в лесу, в человеке, на небе. Нас он видит и

слышит. Он тут, рядом, и доброму человеку всегда поможет в трудную минуту. Мы его не видим, а он даже знает наши хорошие помышления и дурные задумки. Он вездесущий. Страдалец, заступник за нас, грешных.

Вася лежал в темноте за шкафом, молча прислушиваясь и не встречая в наши разговоры, вдруг подал голос - выразил сомнение:

- Я шел мимо церкви, думаю, зайду и проверю, есть ли Он. Зашел. Галок там под куполом тьма. Будто почеловечески перекликаются. Боязно, но переборол себя и крикнул, чтобы дал знак, уронил сверху из пробоины кусок кирпича или еще что-то такое вниз... А Он - ничего!

Мама помешкала, ничего не стала доказывать, а посоветовала учиться старательнее. Слушать Николая Ефимовича и Софью Михайловну:

- Худому не научат. Ученье - свет, а неученье - тьма! Попозднее поймете, что не все прежнее надо забывать. Нынче все похерено. А прежде строго было насчет церковных устоев. Я вам рассказывала, как праздновали Пасху, Рождество, почитали родителей, блюли посты. Я поперек не встану, а к хорошим людям приглядывайтесь. Примерно, была многодетная семья священника. Апполинарьевичи. После революции церковь нарушили, дома, оседлости лишили, везде их позорили. Кто бы после этого устоял! Неверующие ринулись бы в грабежи, разбои. А попovichи какие совестливые и благородные были, такие и остались. Рассеялись, все больше учительствуют по школам. Устояли, нет в них ни злости, ни обиды. Не сгнули, а окрепли. Какая-то сила в них. Благодать. При них никакой пустомеля не ляпнет пакостного слова. Пьянь сторонится, уползает от греха подальше. А кто вздумает обидеть, тот, - мама призадумалась, подбирая нужное слово, а Иван тотчас подсказал:

- Сам дурак! - Мы хохотнули.

- Может, и не дурак, а но слабоват. Духом слаб против них. Всем-то помогают - и одежкой, и книжками, и лечением, и советом.

- Или, опять, Ириша, что ночевала на днях. Убогая, нищая, сирота, но вся чистенькая, опрятная. Зайдет, перекрестится на икону, поклонится, здоровья семье пожелает. Ну, ангел! Святая. Личико, взгляд кроткие, сколько сказок, песен знает. Старенькая, а всегда - в няньки нарасхват. Уж руками не размахнет, не крикнет, не пожалуется. Как вот не любить-то таких! Ой, ребята, как вас поставить на ноги? Юрий - тот на верном пути. Вася изобретет чего-нибудь, это уж точно! Шура, та наставница. Лидушка - чистюля, врач. А ты, Иван, кем будешь?

- А может, летчиком! Вот так!

Меня черт дернул за язык:

- С печи ты летать мастер! - Опять хохотнули незло.

- Да. Все переживаю за твою головушку. Не болит, торопунька, не поседа? - спрашивает мама Ивана.

Я опять встречаю:

- Он не признается, если и болит. Они с Васей решили закаляться, чтобы боли не чувствовать. Мы делали фокусы из ниток. Речка, мостик, пила. Вот перепилили нитку, а Вася взял иголку и начали вышивать на ладони.

- Еще не легче, - испугалась мама, - до крови?

- Лупой жгут кожу, кулаком лупят по стене. Даже от пятки отстригнули кусок. Нет, крови нет! - успокоила я маму.

Мои откровения, толковые и доверительные, получили неожиданную пощечину от Васи:

- Ну, ты и ябеда!

Я вспыхнула, как пук соломы от искры. Слава Богу, никто не видел - темнотища, и про себя возмутилась до глубины души: ведь я сказала правду и прилюдно, а ябеды те, кто врут исподтишка. Но сомнение закралось: никто не оспорил брата. Решаю: надо это прекращать раз и навсегда. Тем более, Вася уже мне это слово постыдное один на один высказал. Даю слово чаще помалкивать.

А было это так. В семилетке началась эпидемия кори. До Тимоники же зараза пока не дошла. Школу распустили. Вася пришел в нашу началь-

ную. Тихонько вошел и на печь залез. Николай Ефимович у стола, я решаю задачи. Мы этот Васин трюк не могли видеть из-за печи. А те, кто видел, помалкивают. Я поднимаю руку.

- Николай Ефимович, а Володя Румянцев у меня списывает.

Учитель хмыкнул:

- Нехорошо. Садись, Белова, - исчерпал проблему. И кому это нехорошо адресовано, Володе или мне?

Зазвенел звонок. Все бросились к Васе, обступили его. Он подошел к учителю, поздоровался, и они о чем-то разговорились. Потом, когда мы вместе шли домой, произнес: «Зачем ябедничаешь-то?»

Я устыдилась, молчала. Но вот снова сорвалась. Василий лучше знает. С его мнением считается даже мама.

Так в темноте беседуем.

Неожиданно за стеной зимовки бабахнул жуткий выстрел. Все, наверняка, вздрогнули и съежились от страха.

- Что это? - всполошились. - Это Он?

- Мороз на улице крепчает, вот бревно в стене и дало трещину, - как можно спокойнее, уверенно и просто успокоила нас мама.

Василий не произнес ни слова, будто его и нет. Иван развивает свою тайную мысль:

- А мороз что... тоже не виден? Как Бог?

- Богу не до шуток. А морозко, тот мастер поозоровать, наварзать. И красоту, чистоту наведет - побелит все, и по избам разгонит. Даже того ямщика в степи глухой до смерти заморозил. По весне может цвет загубить. Он такой. Недаром зовется Мороз - Красный нос, - пояснила мама и начала чудный стих. До того длиннющий, что мы поразились, как ребенком смогла выучить наизусть и сейчас, спустя столько лет, не спутать-ся.

Не ветер бушует над бором,

Не с гор побежали ручьи.

Мороз-воевода дозором

Обходит владенья свои.

Глядит, хорошо ли метели

Лесные тропы занесли,

И нет ли где трещины, щели...

И нет ли где голой земли...

Повосхищались маминым умением и памятью и тут же просим прочесть полностью «Вот моя деревня», ведь у нас в учебнике только начало.

Мама повиновалась. Последние слова Лидушка не слышит, сладко посапывает.

И во сне мне снятся дальние края!

А Иван-царевич - это будто я!

Ох, как сладостны часы с мамой! Мы не замечаем тесноты, темноты, не думаем о лютом морозе за стеной. Покойно нам. Представишь горемычного сиротку-нищего:

- Мама, а где сейчас малютка тот?

- Если был добрым мальчиком, не врал, не ругался, не дрался, слушал старших, любил трудиться, то сейчас уж вырос. Работает и живет в тепле и сытости. Бог не оставил его, наградил своей благодатью. А он знай спасибо-ет.

- А если кто один раз соврал, то что будет? - спрашивает Иван.

- Если случится один раз, то Бог простит, а кто часто врет, не слушает отца, мать, того может наказать. Но когда, человеку неизвестно. Наказание божье всегда неожиданно, но неотвратимо. Поэтому надо всегда делать добро и своим и чужим, каждому человеку. Больных и убогих пожалей, никогда не смейся, не обижай... Поняли? Грех это.

- Поняли, - дружно выдыхаем.

- А над нищим Мановым все парни смеялись и кричали: «Манов, Манов - семь карманов, а восьмой-то потайной!» - выдала «спящая» Лидушка.

- А пусть не притворяется, что слепой! - оправдывается Иван.

Я добавила:

- Подала я ему милостыню, лепешку из клевера. Он: спасибо, спасибо, спасибо, и мне обратно сует... Значит, берет хлебное только, самое съедобное.

- Чтобы не выбрасывать, возвращает назад... Ох, ребята, надо бы вас наказывать, да жалко, малы еще больно. Коз угробили... Иван, ты глину опять ковырял, ел. Кирпич от печи на углу совсем отвалился. Ну а тебе,

Шура, нет прощения: изрезала все отцовские фронтовые письма. И было-то всего восемь. В шкафу резиночкой перетянуты. Последние живые весточки - эти солдатские треугольнички.

- Я не изрезала! Я не специально! Я картинки выстригала! - начала я бурно оправдываться. - Там были нарисованы солдаты с винтовкой, гранатой и подписи «Только вперед!», «Ни шагу назад!», «Смерть немецким оккупантам!» А на маленьком треугольничке синим напечатано «Солдатское письмо. Бесплатно». Картинки красивые, вот и выстригала.

Опять все затихли. Это было и признанием вины, и одновременно и укоризна, и прощение. В стиле мамино-го поведения. Только она умела так наказывать провинившегося.

Выскажет замечание, замолчит, помедлит, отойдет. А виновник не торопясь обдумывает свой проступок, и так-то ему стыдно сделается: ведь мама, не в пример соседкам, не заорала, не избивала ремнем, не пообещала лишить гулянки, купанья, не пригрозила «вот завтра будешь у меня весь день полоть...», не поставила в угол, не обозвала худым словом, не приказала извиняться.

- Скоро к Юрию поеду. Подкопил, пишет, денег. Купим чего... Совсем обносились... Привезу тебе открыток. Не забыть бы только.

И сердце бьется, объятое песней: да, я виновата, загубила отцовские весточки, не подумала, дурочка, - сделала худо, огорчила маму, но она простила меня, уже больше не сердится: обещает открытки привезти из города, у меня будут настоящие картинки, ох, быстрее бы поехала к Юрию. Только бы не забыла, только бы не забыла...

Юрий после окончания кооперативного техникума уже работал. Мама съездила к нему. Всем что-нибудь привезла. То-то радости было: обновки, не обноски. Детские книжки. Маршак, Маяковский. Мне лично - вязаная кофточка для зимы и, главное, открытки не забыли купить. Целый набор.

Перов, Крамской, Суриков, Ге... Открытки-репродукции с картин. «Охотники на привале», «Неизвестная», «Всюду жизнь», «Неутешное горе»... Попробуйте-ка оторвать от них жадный любопытствующий глаз. Он у меня и сегодня - любопытствующий и жадный. Часами не могу оторваться от репродукции с рисунка Д. Тутунджан: это и мое детство. Деревенское застолье в войну.

Вот она, наша тимонянка - бригадир Афанасья Степановна. Властной рукой сжимает граненый стакан со своей порцией водки на дне: «Бабы! Вы - соль земли! На вас тут вся надежда! Неправда... - следует крепкое словцо в адрес врагов - точь-в-точь как турецкому султану от оскорбленного запорожца, - выдюжим! Дак выпьем же, бабы, за победу!»

У кого не дрогнет ресница, не побегут по спине мурашки...

О Джанна-душенька, сколько волнительных моментов с легкой руки подарила твоя простая - гениальная линия!

Чем, в сущности, зачаровывают воспоминания? Старую ломкую, пожухлую газетную выкройку подкладываете на сегодняшнюю живую, искрящуюся, пусть и синтетическую ткань.

Одежка не получается. Зато из глубин нахлынут раздумья, открытия, озарения. Посетят тебя ликующие минуты, сладкоголосые звуки и... животворящие слезы!

Волны памяти захлестывают, перехватывают дыхание, но все же выбрасывают на остров, где тебя еще принимают.

Где в цене - не валюта, а милосердие. Бесценное человеческое достоинство.

Романтическая натура наша мама. То мне - открытки, то братьям - гармонь. И это в то время, когда не хватает хлеба, одежды, обуви. Ни одна соседка «не учудила бы» подобное!

Умела работать не просто рьяно, а жаростно.

Начнет дело, остановиться не в силах. Ты - за дело, а дело - за тебя. Смотришь, вошла в раж, забыла все на свете. Про себя, страданицу, про нужду.

Косит, проложит широкой босой ступней две ровные сплошные канавки через лужу, осоку, колючие травы, крапиву... Мы еле успевали раскидывать тугие завалы. Пот льет с лица мамы. Смахнет его тыльной стороной ладони.

Внезапно пискнет кто-то. Незаметно отбросит подальше случайно разрезанную лягушку. Не заостряет внимание, что больно лягушке, больно маме, больно нам. Только уронит скороговоркой: не успела, бедная, отскочить.

Слышала я, как одна деревенская баба кричит, бывало:

- Робяты, где вас лешой носит?

- А че?

- Котят закопали?

Подобную дикость мама никогда бы не сотворила. Жалела всякую божью тварь, а неизбежное исполнялось как можно деликатнее, щадя нежное сердце.

Вот полет она. Засмотришься. Быстро, ловко вгрызаются пальцы (кулачки будто железные) в землю. Не боится ни стекол, ни крапивы, ни кореньев.

Идут с поля бабы. Мы узнаем ее по склоненной слегка набок головушке. Точь-в-точь Богородица на нашей иконе.

Мама, как все, после работы в поле заскочит на опушку леса, наломает веток березы, тут же их ловко сложит, завяжет - соединит хитро тонкими гибкими прутьями. Замки у всех на плечах. Или - охапки травы. Никто не идет с пустыми руками. Но и никто, кроме мамы, не несет бережно перевязанный былинкой крошечный букетик первой земляники. И зрелых ягод-то, может, не больше двадцати, остальные еще зеленцы.

Вручает нам; сама вся сияет.

- А посмотрите-ка, детки, что вам сегодня зайныка послал! - Восторгу нет предела, ягодки начинают созревать. Гостинец от зайныки.

Высыпает, бывало, на стол грибы из корзины:

- Там где-то «бабье ухо». Гриб чудной. На просеке наткнулась...

Мы дружно чистим, сортируем, обрезаем грибы. Ни один из нас не суется

руками в кучу грибов, чтобы опередить всех и нагло выхватить чудной гриб: он попадется сам собой, невзначай.

И вот уж кто-то кричит: «Вот он!» Действительно смешной гриб. Жесткий, розовато-желтый, весь искореженный, будто помятое человеческое ухо, с извилистыми краями.

- Здорово! Похоже! А почему «бабье ухо»?

- Точно не знаю. Нашел когда-то, наверно, мужчина... - смеется мама.

Всем весело. «Бабье ухо» переходит из рук в руки.

В другой раз из-под ягод достанет кусок - остаток пирога: помятый, весь в сосновых иголках, прилипших листочках.

Говорит таинственным голосом:

- Представляете, лисичка-сестричка сегодня выбежала. Вот велела вам передать...

Ну кто же откажется разломать - разделить на кусочки и отведать гостинчик от самой лесной рыжей красавицы.

Любила мама лес. Колхозникам разрешалось идти только в дождливый день. Мама уходила от толпы. Не хотелось ей толкаться со всеми. Обезжит «свой» места, где, знает, обязательно что-то сыщется. Даже в неурожайные годы никогда с пустой корзиной не возвращалась домой. Одна, но не боялась заблудиться. Знала лес как свои пять.

Правда, как-то случилась однажды непогода, солнце не выглядывало. Все бабы уже дома. Темнотища, а мамы нет. Как Лида плакала, убивалась по матери, что не выйдет из леса... Собрались уж бабы на поиски, прочесывать лес ночью... Вдруг слышалось в поле глухое «У-ух! У-ух!..» Шатается, уставшая, вся мокрая! Рассказывали потом об этом соседи по Тимохине и Лида.

И после такой передрыги наверняка мама не выбросила какую-нибудь прихваченную в лесу диковинку из корзины, несла нам, чтобы порадовать. Никому подобное в голову не приходило, для всех считалось это баловством, ерундой.

Окончание следует.

КРАСНЫЙ ГУСАР

Повесть об Александре Кишенине, солдате и земледельце



**АЛЬБЕРТ
ВАРЮХИЧЕВ**

Альберт Григорьевич Варюхичев родился 13 декабря 1937 года. Окончил Кирилловскую среднюю школу. Работал молотобойцем в Кузьминских судоремонтных мастерских, затем корректором в районной газете «Новая жизнь», служил матросом на Северном флоте, где и начал писать стихи. Заочно окончил факультет журналистики Московского государственного университета, а затем отделение печати Ленинградской высшей партийной школы. Работал редактором газеты «Вологодский комсомолец». Печатался в областной газете «Красный Север».

В 1978 году в Северо-Западном книжном издательстве вышла первая книга А. Варюхичева «Сказы о русских самородках», в которой помещены рассказы о народных умельцах. В 1985 году издана вторая книга - «Слово о граде Кириллове» (переиздавалась в 1988 и 1990 годах). Последняя книга «Неувядаемая нива» вышла из печати уже после смерти автора. Он умер в расцвете сил и таланта 26 декабря 1989 года.

Документальная повесть «Красный гусар» - отражение исследований Альберта Варюхичева советской истории родного Кирилловского края.

1.

- Иваныч! А, Иваныч? Что же ты подкачал-то? Расклеился, как старый баян. Вместо музыки - только всхлипы да скрипы. Не-ет, брат, не гоже ты сегодня для душевного разговору...

Александр Иванович, всегда такой подвижный, лежал сейчас на железной кровати в углу комнаты, укрытый поверх красного стеганого одеяла черным полушубком. Сноп солнечных лучей наклонно от окна высвечивал его бледное до белизны лицо. В этом розово-золотом ореоле в горячечной сини глаз так и сквозила виноватость. В ушах старика блестели рубинами две большие клюквины: по-народному лечился от головной боли.

- Угорел, сердешный, - пояснила жена, Евдокия Ивановна. - Утром малую печку-то сам истопил. Да скрыл ее, должно быть, рано, головню недоглядел. Вернулась я из магазина: батюшки-светы! Угаром-то в нос так и шибает, а хозяин мой чуть жив. Отворила дверь, заслонки у печки выдвинула - и давай бедолагу отпаивать каплями...

Александр Иванович попытался улыбнуться, да улыбка жалкая какая-то получилась. Но сквозь бледность щек слегка просочился румянец.

- Ничего-о, - тихо возразил он. - Я уже почти оклемался. Я ведь старый солдат! А какая у солдата заповедь? Стой - не шатайся, ходи - не спотыкайся, говори - не заикайся, а ври - не завирайся.

И он подмигнул мне:

- Не стесняйся! Садись-ка поближе. Душевный разговор - от всех напастей лекарство...

«Крепок старик, - подумалось мне. - Другой, случись такое, целый день пластом бы пролежал. А он? Часок другой минул - и, на тебе, оклемался».

Не-ет, никак не дашь Александру

Ивановичу Кишенину девять десятков лет «с хвостиком». Он бодр, сухощав и не ссутулен возрастом. С высокой поднятой головой ходит, а в васьмиковых, так и не выцветших глазах искрится доверчивое любопытство.

В Кириллове и всех окрестных деревнях знают этого невысокого художавого человека и дом его, полускрытый зарослями цветов, кустов и деревьев, с огородом, полого спускающимся к Долгому озеру, к прибрежным густым куртинам камыша. Знают Александра Ивановича как опытного огородника, овощевода, у которого по весне всегда можно разжиться семенами или доброй рассадой капусты, помидоров. Заодно и консультацию получить по выращиванию овощей. Опыт в этом у Кишенина профессорский: всю жизнь овощеводством занимался, заведывая подсобными хозяйствами Кирилловского леспромхоза, райпотребсоюза, детского дома.

Да и в пенсионной своей поре с весны до осени пропадает Александр Иванович на своем личном огороде, как и в молодости, увлеченный любимым делом.

Но не все из его гостей знают, что от этого самого мирного на Земле дела был Кишенин оторван тремя войнами на девять неимоверно долгих, со смертью повенчанных лет.

Покряхтев, Александр Иванович достал из-под кровати заветный деревянный ящичек с документами, письмами, фотографиями, вынул из него картонную коробку с боевыми наградами. Потрогал их, погладил и сказал с усмешкой:

- Экспонаты домашнего музея...

Шутка шуткой, а ведь у старика давно побывали, и не раз, сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Многие дорогие сердцу документы «переселились» на стенды музейной краеведческой экспозиции. Да и не только сюда. Тому доказательство - письмо: «Дирекция Государственного музея истории Ленинграда приносит Вам искреннюю благодарность за присланные Вами документы. Они поступят в фонды музея, а

затем в экспозицию. С уважением - директор Гос.музея истории Ленинграда Белова Л.Н.»

И отосланные документы, и те, что достал из ящика теперь, словно вещи на длинной жизни, которая тянулась, не петляя.

...Февральская революция застала его под Ригой, в первом Прибалтийском кавалерийском полку. Крестьянский парень из кирилловской деревни Шидьеро был призван в мае 1916 года вместе с земляками из Дитятева, Трофимова, Вогнемы защищать «веру, царя и Отечество». И защищал, с основательностью пахаря делая опасное боевое дело. За храбрость его наградили солдатской медалью Святой Елены.

Вручая ее, командир полка полковник Щербаков сказал:

- Теперь, Кишенин, добывай Георгиевский крест!

- Так точно! Добуду! - не по-уставному ответил солдат.

Всегда строгий, полковник улыбнулся.

Земляк Александра, Евгений Белов из Вогнемы, долго разглядывал «Елену» и, плохо скрывая зависть, подначивал:

- Не-ет, паря, энто не фигура. «Георгия» бы получить - вот сила! А особливо - полным кавалером Георгиевским стать! Не житуха бы, Санька, - малина у тебя началась. В ресторанте ли, в пивной ли - все бесплатно, на транспорт любой - без билета, а уж в полицию - ни в каком виде не заберут: отступишь и замри, ешь глазами героя Ат-течества!

- Мели, Емеля, - засмеялся Александр. - А «Георгий» куды от нас денется?

Но заслужить эту награду не удалось, хотя были горячие схватки, как та с немцами перед самой революцией.

- У нас четыре эскадрона, а у них в несколько раз больше, - вспоминается неоднократно слышанный рассказ Кишенина. - Не сеча была - кровавое крошево. Нам приказали насмерть стоять, и полк окруженный рубился из последних сил. У нас молодяжки

полно, только-только ребята прибыли, за плечами всего лишь два-три месяца кавалерийской подготовки. Мно-ого наших в том бою под Ригой порубили, а сам командир полка Щербаков к немцам в плен угодил.

И вот - революция. Смешались, вылиняли многие прежние понятия. О царе не жалел никто: даже самым духовно слепым за годы войны он стал ненавистен. Жадно читали вслух в газете: «Окопный набат», «Кончай войну!» Желанным был этот призыв солдатскому сердцу, по дому изнывшему.

Уцелевший остаток полка собрался на митинг. Командиром эскадрона, где Кишенин служил, был Лагранж - потомок плененного в России наполеоновского солдата. Он обратился к рядовым кавалеристам:

- Братья! Отныне мы, офицеры, не господа, а товарищи вам. Да мы и есть товарищи по оружию! Царь отрекся, и наша ему присяга теперь недействительна. Мы снимаем погоны. Если в чем перед вами виновны - судите. Но я считаю: долг наш общий - встать на сторону народа и драться против его врагов.

Офицеры в полку в основном были не из богачей. Фронтовики, рубаки, повязанные кровью с солдатами в трудных боях. Большинство их перешло на сторону революции.

А через несколько дней полк вместе с другими частями слушал выступление главы Временного правительства Керенского. С ним же прибыли другие «отцы Отечества» - Милюков, Гучков и Родзянко.

На просторной площади Керенский призывал продолжать войну, начатую царем и кайзером германским. Говорил о долге перед союзниками. Грозился, что к тем, кто воткнет штык в землю, будут применяться беспощадные меры.

Тихо стало на площади, когда он кончил речь. Зловеще тихо. И вдруг низкорослый солдатик-пехотинец закричал неожиданно громовым басом:

-Эт-та что жа получается, братцы? Третий год вша нас ест, и еще будет эстолько ести?

- По до-ма-а-ам!- взметнулся взрывной, оглушающий вскрик, похожий на грозный рев урагана.

После отъезда «временных» полк опять собрался на митинг.

- Воевать не будем, - сообщили свое решение члены солдатского комитета, среди которых были и большевики. - Полк обескровел в последних боях, нуждается в пополнении, отдыхе. Отходим в Петроград. Скоро там наша помощь народу ой как будет нужна.

Но напрямик на Петроград пройти не удалось. В одной из псковских деревень, где полк остановился на ночлег, многодетный однорукий мужик предупредил:

- Через Псков не ходите. К генералу Корнилову в войско заберут. Собирает он силы, и немалые, что-то замышляет.

Было это в марте. Немало времени оставалось до открытого контрреволюционного выступления главнокомандующего генерала Корнилова: в августе начал он свой поход на Петроград, собирая задолго до этого войска, заручившись поддержкой крупной буржуазии. Осторожно вел переговоры с генералами о снятии с фронта воинских частей. Он готов был открыть дорогу немцам в глубь России, лишь бы задушить революцию.

Солдатский комитет посоветовался, и Лагранж, командовавший полком, предложил крестьянину, известившему их об опасности:

- Возьми мешок риса для детей, только выведи нас на Рыбинск.

Проводник оказался бывалый. Лесными, в наледи, дорогами, по безлюдью вел он остаток полка, словно бесконечными белыми коридорами среди замшелых темных елей. Стояли морозные утреники, у конников ноги в яловых сапогах немели от холода. Не хватало фуража, и в редких встречах деревнях меняли на овес и сено все, что могли отдать. Не зря говорят в кавалерии: «Не конь везет, а корм». Так и добрались через Рыбинск до Ярославля, оттуда до Питера.

Александр и его боевые товарищи

влились в состав второго кавалерийского Петроградского полка, где были сильны большевистские настроения. Здесь впервые стал он серьезно задумываться над учением и смыслом борьбы коммунистов-ленинцев. Сердцу его особенно были близки лозунги «Мир народам!» и «Земля крестьянам!», поэтому-то Великую Октябрьскую социалистическую революцию принял сразу. Вместе с другими «красными гусарами» (так называли революционных конников) Кишенин участвовал в разгроме войск генерала Корнилова, рвавшихся к Петрограду, защищал столицу от натиска Юденича и других контрреволюционных сил.

И я понимаю, почему он с нескрываемой гордостью извлекает из заветного ящика старый большой фотоснимок. Весна 1918 года. Парадным маршем по Невскому проспекту едут красные кавалеристы. В первом ряду третий слева - он, Александр Кишенин. Снимок этот был опубликован в девятом номере журнала «Огонек» за 1964 год.

2.

А еще через год встретил он Первой в родном Кириллове. Семья у Кишениных большая была - восемь душ. Но малолетки-братья и сестры - какие работники? Бедствовала семья, едва концы с концами сводила. Отец писал Александру, что мерин Серко «пал по старости», крыша избы совсем прохудилась, а одному ее не перекрыть. И дров ему не нарубить, не погрузить на сани: «Совсем здоровьишко скопытилось». Командование с сочувствием отнеслось к положению семьи кавалериста и отпустило его в двухнедельную побывку. Даже выделили коня. Снабдили соответствующим документом, что конь, мол, его собственный, купленный из выбракованных в полку.

- В хозяйстве сгодится, - сказал комиссар полка на прощание.

Конь, действительно, был из раненых. Но еще крепкий, рослый. Словом, строевой, пахоте не обученный.

С какой гордостью гарцевал Александр на этом вороном красавце во время Первомайской демонстрации в Кириллове на виду у множества земляков! За спиной у парня карабин, сбоку - шашка и наган в рыжей кобуре на ремне офицерском. Девки ахали, шептались, восхищенно поглядывали на лихого воина. А он уж старался: то почти вертикально вздымет коня, то боком-боком загарцует, то словно бы в танец пустит: перебирает конь ногами, звонко цокает подковами по булыжнику площади, а шея - дугою, будто в поклоне, и ветер играет шелковой аспидной гривой.

После демонстрации к Александру подъехал начальник уездной милиции:

- Кто такой? Откуда строевая лошадь? Почему при оружии?

Долго читал, беззвучно шевеля губами, протянутый Александром документ:

- Удостоверение № 1125. Предъявитель сего гусар Красной Армии 2-го Петроградского конного полка... уволен в Череповецкую губернию, г. Кириллов..., что подписями с приложением печати удостоверяем...»

А потом вдруг:

- Айда в пивную, разговор есть.

Беседовали в пивной о том о сем, а в общем - ни о чем серьезном. Александра грызло любопытство: зачем позвал? Не пиво же пить? Но виду не подавал, ждал. Собеседник, наконец, открылся:

- Эх, парень! Ну и конь у тебя! Увидел - и словно заноза в сердце. Давай меняться! В крестьянстве он не годится, не пахарь. Все равно менять станешь, еще цыганам отдашь. А то и украдут. Так лучше уж мне! А я тебе дам крестьянскую лошадь: ростиком пониже, зато кряжистую. Будет на пашне ломить за двоих. Шестилетка, сильна, как черт. А?

И видя, что Александр колеблется, решительно махнул рукой:

- И телегу новую дам, и упряжь. И дюжину пива ставлю еще. Ну, решайся, черт синеглазый, не томи ты душу мою!

Выехал под вечер Александр из

Кириллова на телеге, которую бойкой рысцою влекла приземистая гнедая кобылка. От пива в голове словно птицы щебетали, в душе царил блаженный покой. Только жалко было Воронка: все же фронтовой товарищ. Но что делать? Без лошади крестьянину хана. А тут отцу такой подарок.

А наутро к нему в деревню пожаловал уездный военком. И прямо с порога бухнул:

- Коня не продашь?

- Обменял я коня-то на рабочую лошадь, - развел руками Александр, - с начальником милиции махнулись...

Военком поморщился и крикнул от досады.

- Э-эх, опоздал. Видел на празднике, как ты гарцевал.

И стальным официальным тоном приказал:

- Карабин с наганом - сдать! Шашку оставь при себе - полагается.

Дни, прожитые дома, Александр трудился от зари до зари. Семья жила скудно, и улучшения не предвиделось, хотя землю дали и лошадь теперь была. Да работников настоящих не хватало: малые не доросли, а старые шибко сдали. Старший брат Сергей, воевавший в Чапаевской дивизии, погиб под городом Троицком. Средний брат Арсений всего на три года старше Александра, младший, Костя, был еще мал, сестры тоже в силу не вошли.

С тяжелым сердцем вернулся Александр в Питер. А тут - новость: его перевели в первый запасной кавалерийский дивизион, сформированный в основном из северян.

Сначала занимались военной подготовкой. А что их ждет впереди - никто не знал. Комиссар Иванюк, долговязый рыжий кудряш, знакомился с каждым бойцом обстоятельно. Разговаривая, глядел прямо в глаза, но не испытующе, не настороженно, а доброжелательно и понимающе.

Беседуя с Александром, Иванюк расспросил о недавней побывке, о том, как живет его семья. Александр обрисовал все, как есть, не скрывая, но на вопрос комиссара о просьбах и жалобах ответил коротко: «Нет». Иванюк что-то пометил в блокнотике.

А вскоре отец Александра получил по почте казенный пакет из Питера. Чего-то испугавшись, дрожащими руками вынул плотную бумагу с печатью. Осипшим, осевшим голосом попросил почтальонку:

- Глянь-ка, Марьюшка, што там изложено...

Сам-то грамоты не знал. Марья вслух и прочитала:

«Удостоверение № 4302.

Дано семье кавалериста 1-го запасного кавалерийского дивизиона А. Кишенина, состоящей из 8 человек, на право получения денежного пособия согласно Декрета Совета народных комиссаров от 26 декабря 1918 г., за № 250...

Настоящее удостоверение выдано для ходатайства перед отделом социального обеспечения на получение денежного пайка. Кречевицкие казармы. Командир дивизиона С.М. Мухин-Пушкин. Комиссар И. Иванюк».

Александр узнал об этом из отцовского письма. Читал, и радость горячей волной сердце окатывала, мысли мелькали. Ой, как вовремя это подспорье для их семейства. А ведь сам не просил, постеснялся. Вот что значит народная власть.

3.

В июне 1919 года их дивизион перебросили в Вологду, а в июле направили на Северный фронт. Архангельск все еще был под интервентами: англичанами, американцами, итальянцами, французами. Не уступали заморским пришельцам в терроре и грабежах белогвардейские части во главе с «генерал-губернатором Северной области» Миллером. Летом 1919 года соединенные силы Антанты и белых вновь перешли в наступление на Двинском фронте. Северо-Двинский губком послал на фронт почти весь свой состав. Уездные партийные организации проводили вооружение всех коммунистов, создавали добровольческие отряды бедноты. Там, где усиливалась опасность, все коммунисты переводились на казарменное положение.

Яростный натиск вражеских сил был жесток: командование «заморских гостей» понимало, что близится крах кровавой их авантюры на Русском Севере. Его предопределили успехи Красной Армии на Восточном фронте и вся героическая борьба молодой Советской республики против интервентов и белогвардейцев. Предвестниками близкого конца были восстания солдат в белогвардейских частях и растущее сопротивление населения грабежам и насилию. Еще в июле девятнадцатого командование интервентов приняло решение о выводе своих войск из Архангельска. Но это вовсе не означало прекращения оккупации - она приняла несколько другую форму: усилилась помощь Миллеру, а в августе-сентябре интервенты перешли в наступление на участке фронта вдоль Северной железной дороги, чтобы как можно дольше обеспечивать возможность грабежа на чужой территории.

...Позади у «красных гусар» были непрерывные бои за Котлас. Недалеко от Красноборска сшиблись они с белыми конниками, смяли тех и гнали вдоль Северной Двины, пока совсем не притомились взмыленные кони. Нужно было дать им передышку, подкормить. Да и бойцы держались на пределе сил.

Остановились в лесной деревушке, конники разошлись по крестьянским избам. Место казалось удобным: с трех сторон лес, с четвертой - река. В сторону Архангельска - сплошные болота. Лицом к лесу поставили дозор.

В сумерках командир эскадрона Смирнов вызвал Кишенина:

- Завтра отправишься в Вологду за политической литературой. Пароход пойдет из Котласа за боезапасом, так что суток за трое и обернешься.

- Есть! - ответил Александр, вытянувшись по стойке «смирно».

Воспаленные от бессонницы глаза командира потеплели, стальной их оттенок словно истаял, и Александру показалось, что в них проблеснули влажные искорки. Крепко сбитый тридцатилетний комэск любил дисциплину и верных ей людей. В Кише-

нине нравилось и другое: каждую редкую свободную минутку проводит он с книжкой. Этот парень, ходивший в церковно-приходскую школу, считался в эскадроне грамотеем. Охотно писал за товарищей письма, а потом по просьбе командира все чаще стал читать им вслух газеты, книги, политические брошюры. И однажды Смирнов сказал Александру:

- Это дело у тебя хорошо идет, и значит, быть тебе политбойцом, агитатором.

Теперь Александр обрадовался поездке в Вологду: в вихревой походной сумятице давно никто не видал ни свежих газет, ни брошюр политических.

- А перед отъездом, Сапож, сваргань-ка гречневой каши, - вдруг попросил командир совсем не военным тоном. - По-о-мню, как в Вологде ты кашеварил, хлопцы даже котелки ложками выскребывали. Крупа у нас есть, взяли в лавчонке у хозяина этого дома два мешка под расписку. Деньги потом подвезут - отдадим. Позавтракаем - и езжай.

С питанием у них было плохо: вот уж несколько дней задерживалась доставка продовольствия. Растягивали, как могли, остатки, пустили в расход неприкосновенный запас. Теперь у них оставалось по одной селедке в день на человека. И вдруг эта гречка!

- А теперь - отдохнуть, - продолжал командир. - Ночуй со мною в горнице. Хозяин-то, лавчоник, с сыном на лесной покос подались. Там и заночуют, путь неблизкий. А хозяйка к замужней дочери ушла. Э-эх-х, чтой-то у меня, парень, ломит и ломит виски. Контузия, старая стерва, должно быть, опять отрыгнулась.

Александр постелил себе сена на полу возле печи. Поднялся затемно, растопил плиту, вделанную перед устьем русской печи, промыл гречку и в большом чугуне стал варить кашу. Покопавшись в «сидоре», старом своем вещмешке, вынул заветный желтый шмат свиного сала, завернутый в холщовую тряпицу, - свой «энзэ», давно и тщательно сберегаемый неприкосновенный запас. Кинжалом

мелко порубил сало и заправил им гречку. Искрошил еще большую луковичу. «Пускай командир подправится. Ишь, хворь его точит», - подумал, прислушиваясь, как постанывает в забытые комэск. Подошел к нему, лежавшему на спине на широкой лавке у передней стены, поправил в изголовье свернутую шинель и отворил окно. Решил пока не будить командира, хотя каша была готова. Поставил чугунок на стол, накрыл его сковородкой и плотно укутал стеганным ватником. «Каша попреет - душа подобрет», - улыбнулся бог весть откуда взявшейся присловице.

Потом вышел на двор. Светлело, но из-за лиловых рваных облаков было сумеречно. Лишь на востоке, у самого окоема растекалась кровавой узенькой лужей нездоровая заря. Листья на старой корявой осине молитвенно лопотали под студеным северком. Ступая по кудрявой мураве, с хрустом в плечах потянулся всем телом и, с наслаждением жмурясь, поставил грудь холодному речному ветру. Постоял, жадно вдыхая воздух, пахнувший смолой и водорослями.

Дом был крайний, и когда Александр оглянулся, увидел просторную, версты на полторы, зеленую луговину, а за ней - темно-синюю зубчатую стену елового бора. Ни роса, ни туман не белели, и мурава под ногами, к удивлению, была сухая.

«Будто перед грозой», - подумал он. - Хотя какая в августе гроза?» Опять взглянул на луговину, за лето выкошенную, но вновь одевшуюся густой молодой отавой. Пригляделся - и обомлел: из леса на луговину выбегали люди. И тут же из окопчика дозора сухо защелкали винтовочные выстрелы.

Кишенин кинулся в дом - разбудить командира, но столкнулся с ним в темных сенях. Комэск выскочил на двор, вскинул бинокль. В окулярах отчетливо виднелись бегущие к селу люди как на ладони. Короткие штаны, галстуки, шляпы защитного цвета. Карабины наперевес, и солнечные искры вспыхивают на широких, не русского типа, штыках. «Англичане...

Неужто одни? И откуда? За лесом - болота», - удивился Смирнов. Но поведя биноклем вправо, увидел еще одну большую группу бегущих солдат и офицеров в форме царской армии, с трехлинейками в руках.

- Сашка, ребят подымай! - крикнул Смирнов. - Первым делом коней спасайте! В соседней деревне наши артиллеристы - туда гонца немедленно! А я - к дозору! Мы вас прикроем!

В это время впереди, где был окопчик дозора, длинно, яростно затарахтел пулемет: выходит, встретили незваных гостей. Оглянувшись на бегу, Александр заметил, что командир зигзагами, пригнувшись, бежит по луговине встречу вражьей цепи.

Поднимать конников не пришлось: они выскакивали с оружием из дверей и окон домов. Часть бойцов уже ложилась цепью за камнями - валунами у околицы. Туда же бегом катили три пулемета «Максим».

Кони паслись на широкой поляне с другой стороны от деревни. Десятка два бойцов, и среди них Кишенин, выбежали на поляну из густого ивняка, и тут их встретил беспорядочный огонь. Кавалеристы залегли, отползли, отстреливаясь, в кусты. Четверых недосчитались.

Было ясно: коней захватили. Прицельным огнем попытались конники перебить чужаков. Но тут со стороны деревни, где ночевали красные артиллеристы, к противнику подошло подкрепление. По ивняку наугад ударил пулемет, пули со свистом сбивали ветки. А бой уже накатывался сзади.

Пришлось отходить.

- Два часа мы бились, прижатые к реке, - вспоминает, хмурясь, Александр Иванович. - Лежали цепью на урезе берегового обрыва. Все четыре пулемета раскалились. Мы отбивались гранатами, пока они были. Потом противник обложил нас плотным полукольцом, наступая с двух сторон, с флангов. Сколько товарищей потеряли...

Голос Кишенина как-то странно стал прерываться и звучал приглушенно, натужно; каждое слово он выдавливал.

- Позднее мы узнали: еще затемно белые пластуны вырезали охрану орудий нашей артиллерии. Без шума взяли орудия, обошлись кинжалами да штыками. И когда мы завязали бой на луговине, белые давно уже хозяйничали в той деревне, где ночевали наши артиллеристы. Не многие красноармейцы оттуда до нас добрались.

Снарядов к пушкам не было, ждали подвоза, поэтому использовать их белые не смогли. Но и нам совсем уж нечем стало отбиваться. И тогда командир эскадрона скомандовал: «Плыть за реку!»

И первый кинулся в воду. Мы - за ним. На другом берегу были наши. Но попробуй доберись до них! Северная Двина широченная, быстрая, вся во выюнах да воронках, а вода уже остудная, не летняя вода. Плыву я из последних сил, задыхаюсь, захлебываюсь, красные круги дрожат перед глазами. А тут еще левую ногу стало сводить: корежит ступню, болью пронзает. Не помню, как на берег выполз. Очнулся - лежу на песке у воды. Кругом - полуживые мокрые товарищи.

А сверху, с обрыва, бьет короткими очередями пулемет. И когда его грохот смолкает, начинает сыпаться мат. «Бог ты мой! - обмер я. - Ведь к белым выполз...»

Глянул я на реку: уплывает прочь кто-то. Пули пытались достать его, чуть правее, но даже не задевали.

На обрыве появился белогвардейский генерал. Плотный, черноусый, без фуражки. Властным движением руки отстранил пулеметчика:

- Я сам! Не можешь дичь подбить, растяпа?

Пулемет застучал неумолчно, и вся середина реки покрылась фонтанчиками. Но плывущий уже ушел из зоны обстрела, приближался к другому берегу. Наконец, пошатываясь, выбрел на песок и рухнул вниз лицом. «Убили?» - охнул я, даже кольнуло под левой лопаткой. Но он через силу, вяло поднялся и, пошатываясь, оглянулся. Увидел нас, горстку его бойцов, уцелевших на вражеском теперь берегу, и, понутив голову, побрел от берега. Мы с завистью и виновато глядели

ему вслед. Но потом, увидев багрового от злости генерала, каждый из нас, наверно, в душе усмехнулся: «Что, ваше-бродие, выкуси!»

А он приказал всех нас построить. И обратился к нам с краткой речью. До смерти ее не забуду:

- Ну что, господа краснозадые? Отвоевались? Финита ля комедия! Так вот: если в течение пяти минут не укажете командиров, комиссаров, коммунистов, то будете расстреляны все!

Жуткая настала тишина. Черная, тягучая, как смола. Но вот выходит из наших рядов рослый румяный красноармеец, красавец-мужик с чубом и бородой смоляного цвета. И заявляет:

- Я - большевик!

Это был секретарь партячейки артиллеристов. И чего он объявился эдак, дураломом, до сих пор понять не могу. Видом орел, а умом, видно, тетерев. Что врагу вот так открываться? Затаиться бы, обмануть, перехитрить и выжить, а не демонстрацию устраивать. Или он о товарищах плохо думал? Считал, что выдадут его? Не знаю. Генерал внимательно оглядел его и сказал с усмешкой:

- Вишь, личико-то круглое, кровь с молоком! Отъелся в красной артиллерии. А говорят, у вас голод? В Москве да Питере на человека осьмушка хлеба в день. А тут большевичок что боровичок!

И он засмеялся собственной шутке. Но больше никто из строя не вышел и никто никого не назвал. А генерал побагровел, брови его сошлись, усы оцетинились, как два вороненых кинжала. И с тоскою подумалось мне: «Все! Сейчас и прикончат».

Тут с генералом заговорил на своем языке английский офицер. Тоже, видать, в чинах немалых, потому что белогвардеец слушал его и кивал. А потом подозвал еще одного офицера, что-то ему приказал, и тот заорал:

- А ну, па-ад-нимайсь наверх! Да веселей! Что вялые, как воблы? Бе-е-гом!

Мы начали карабкаться по обрыву, по осыпям песчаным, хватаясь за каждый кустик травы.

На середине подъема пленные вдруг увидели, что сверху на них навис ствол пулемета, оцепенели, судорожно вцепившись в космы осоки. Смертным холодом обдало сердце каждого. И тут сверху, словно бич, хлестнул все тот же голос:

- Па баль-шевичкам а-а-го-онь!

Пулемет загремел оглушающе, яро, в бешеном, жестоком ритме, и огненные точки летели из крохотной дырки толстого, как полена, ствола. Глаза Александра расширились, застыли в жутком заворожении. Пулемет оглушал, стук его острой болью бился в висках, но не было силы взгляд отвести, руки разжать и хотя бы скатиться вниз по откосу, вырваться из гипноза смерти. Вдруг, словно шилом, кольнуло в сердце, по спине побежал ледяной озноб, а по глазам хлестнула густая чернота, и свет в ней сузился до белой горошины, потом до рисовой крупинки, дрогнул. И все погасло. Кишенин ткнулся лицом в тощий кустик осоки, в пальцы свои, мертвой хваткой сведенные на жухлом, колючем этом пучке.

И замер.

Очнулся он от тишины. Было так тихо, что даже звон в ушах от прилива крови показался оглушающим. «Я жив? - мелькнуло в сознании - А боль? Где же боль? Ведь в меня стреляли. Из пулемета. Почти в упор!»

Он разлепил глаза и, боясь приподнять голову, покосился влево и вправо. Друзья его были живы, но мертвенно-белые лица их окаменели в ту-пом равнодушии.

- Что, краснопузые, в шоке? - вдруг закричали сверху. - А были бы и в ж..., да вашбродие приказал стрелять поверх ваших бараньих голов! Не дрейфьте, мокроштаные, покуда еще живы! Выбирайся наверх! Иль полные штаны подняться не дают?

И оглушающий сытый хохот грохнул вверх, над обрывом. Когда пленные поднялись, их построили в две шеренги. Было их человек двадцать, не более.

- Всех пленных запереть в сарае, а этого - на допрос! - приказал генерал, поведя глазами в сторону большевика-артиллериста.

Того сразу увели.

И вдруг из нашего строя вышагнул маленький, кривоногий помощник повара, - продолжал Александр Иванович свой рассказ. - И говорит: «Ваше превосходительство, дозвоьте обратиться! Я - сочувствующий Антанте и белому движению!»

- Ты - сочувствующий? - фыркнул генерал. - У тебя же костюм хромо-вый, как у комиссара, ишь, лоснится!

- Не-ет, что вы! - с перепугу вскрикнул кривоногий. - Какой я комиссар, спаси Христос! Я - помощник повара был в эскадроне, а одежда моя - «хэбэ». Куртка-то от копоти черна, а лоснится от сала...

Белогвардейцы заржали, фыркнул в усы и генерал. Спрашивает:

- Чего сразу не сказал, что хочешь к нам?

- Испужался, вашбродь. И рад бы соколом, да ноги колом.

- То-то храбрости мы тебе подпустили! - съязвил генерал.

Белые хохочут, а кривоногий угодливо улыбается, ест глазами новое начальство. Лезет в волки, а хвост собачий.

Нас повели в деревню и заперли в пустом сарае. «Сочувствующего» белые увели с собой.

Пленные красноармейцы долго сидели молча. Мокрые, иззябшие до лихорадочной дрожи, подавленно и тревожно осмысливали они свое положение. В щели врывался ветер, люди ежились и сдвигались плотнее, спина к спине, бок в бок, согревая друг друга. Курящие страдали без махорки. Даже пытались жевать ее, размокшую в карманах, но тут же выплевывали. При каждом порыве ветра о дощатую стену глухо била снаружи оторванная тесина. Деревянный, мертвый этот стук новым ознобом отдавался в спинах бойцов; похоже было, будто пьяная рука размашисто, но неспешно и неуверенно прибавляет гвоздями крышку на гроб.

Александр сидел, прикрыв глаза, спиной прижавшись к спине соседа. Мокрая холодная одежда, хотя и отжатая, прилипла к телу. Александр стиснул руки на груди, стараясь унять

ознобную дрожь, но она не проходила. Особенно стыли босые ноги (сапоги соскользнули с них, когда выплывал). Сидел Александр и пытался понять: «Почему не расстреляли? Ведь что-то за этим скрыто? Грозилась ведь в расход пустить, а ограничились утрачением. И о чем до этого толковал англичанин с белым генералом? Не-ет, как ни крути, а в этой жуткой истории есть какая-то тайна».

Вдруг Александр услышал шепот:
- Кишенин. Слышь-ко? Неужто утонул? Ну и нервы, парень, у тебя.

Александр открыл глаза: к нему придвинулся боец их эскадрона. Вспомнилось, как десять дней назад этого рыжего крепыша принимали в партию большевиков. Зеленоватые глаза под бровями, словно колосья, ершистыми и выцветшими, были сейчас тревожны.

- Кишенин, глянь-ка, партийный билет размок. Живого места на нем не осталось. Хотел я его закопать, чтобы при обыске не нашли, да ведь иструхнет, не долежит до нашего возврата.

Партбилет Александра тоже размок и слипся. Выжимая гимнастерку, вынул синие корочки, разлепил их и долго смотрел с горьким комом в горле. Его принимали в ряды коммунистов весной, еще в Питере, теплые слова говорили. Э-эх, не оправдал он доверия: в плен угодил.

Очнувшись от мыслей и сказал парню:

- Не-ет, браток, партбилеты в землю хоронить негоже. Оставим их при себе, но запрячем надежней. Уцелем - скажем нашим, как все было. Поверят! И билеты обменяют на новые. А не судьба в живых остаться - дак хоть душой не покривим.

Александр оторвал рукава своей нижней рубашки, связал их, сделав нечто вроде длинного бинта, и накрепко замотал билет на запястье левой руки. На бинт вряд ли кто обратит внимание: пулей царапнуло, дело обычное.

Тут включился в разговор дюжий артиллерист, гревший своей спиной Александра:

- А зря наш партийный вожак, Фомичев-то, белым о себе объявил. На кой ляд? Нам, что ли, не верил? Думал, продадим? Зря-а. Теперь истерзают они его, ой, натешатся вдоволь. А под пыткой не помрет - стрелънут, не то повесят. Беспременно. Э-эх-х. А смолчал бы - глядишь, и остался бы жив, а из плена пути не заказаны.

Поднялся и медленно пошел вдоль стены, цепко вглядываясь в нее, пробуя каждую доску на крепость. Кишенин молча следил за ним, а потом и сам двинулся, ища хоть малую зацепку для лазейки. Поднялись, шагнули к стенам рыжий и еще двое бойцов. Толстые доски были прибиты намертво. Начни их отдирать даже гвоздодером - скрип поднимется.

- Да-а, - вздохнул артиллерист. - Сидим как в решете: дыр много, а вылезти некуда.

Красноармейцы опять приуныли. Стояли, растерянно шаря глазами по стенам, по крыше, в которой, как казалось, даже малой прорехи не было. И тут Кишенин вынул спрятанный под шароварами трофейный кинжал в ножнах, отделанных серебром. Протянул артиллеристу.

- Что же ты молчал, хренок малиновый? - обрадованно зашептал тот. - Будем рыть подкоп. Заслоните меня.

В это время кто-то на улице гаркнул:

- Не шевелись! Вы что, каналы, в Совдепии не научились в театрах сидеть? Тихо чтобы было, как в зале во время спектакля!

- А ты, прохвост, почему стоишь истуканом, пленных не прищучишь? - обрушился вдруг тот же голос.

- Дак ведь, ваше благородь, не положено на посту разговаривать, - попытался оправдаться часовой.

- Мол-ча-ать! - взревел офицер. - Распустился, мерзавец!

Серdito простучали, удаляясь, каблуки. Артиллерист принялся за работу. Земляной пол сарая был сухой, покрытый у стены пожухлым дерном. Артиллерист вырезал его квадратами, откладывая их в стороны. А когда обнажился суглинок, почти бесшумно стал его рыхлить нос-

ком кинжала и выгребать ладонями. Был он в те минуты похож на сапера. Работая, согрелся: на загорелом, морщинкой прорезанном лбу выступили бисеринки пота. Плотные сжатые крупные скулы порозовели.

Потом работал Кишенин. В это время гремела гроза, дождь по крыше хлестал не хуже картечи. От порывов ветра стало еще холоднее, но Александр этого не замечал. Под шум и грохот с размаху вгонял кинжал в землю, не боясь, что он лязгнет о камень. По спине разливалось блаженное тепло, и уже довольно большое углубление уходило наклонно под стену сарая.

Дождь утих, и работать пришлось осторожнее. Но вскоре послышались новые налеты грома. Александр обрадел: «Гроза возвращается! Кружит, родимая, нам идет помогать».

Артиллерист, услышав дальний грохот, замер, прислушиваясь, а потом прошептал торопливо, как выдохнул:

- Братцы, это не гроза! Пушки бьют за лесом, и не так уж далеко.

Замерли все. Вслушались и поняли: где-то слева от реки, несомненно, на их берегу, идет бой. А вскоре стала различима и сумятица иных звуков: как будто множество людей раздирали на клочья гигантский кусок холста. Это палили из винтовок. То и дело взрывался тоже сухой, но более четкий треск пулеметных очередей. И весь этот хаос медленно приближался к деревне.

- Братцы! А ведь это наши прорываются! - воскликнул кто-то, забыв осторожность. В дверь грохнули винтовочным прикладом. Пленные зашептались:

- Может, вызволят нас?

- Э-эх, рвануть бы навстречу!

- Как рванешь-то? Среде бела дня, взаперти, да с голыми-то руками?

- Пуля днем - что пчела: побежишь - ужалит.

- На бога надейся, а сам не плошай, - пробурчал артиллерист и опять принялся рыть. Он торопился. Когда устал, вновь отдал клинок Александру.

- Жми, Сашок, жми, - повторял с

одышкой. - Скорей бы выбраться отсюда, до ночи ждать нельзя: вдруг белые драпать наладятся, да со злости-то сарай и подожгут. А то и через щели всех перестреляют, как ягнят в закутке.

Александр копал изо всех сил. За стеной - огород, за оградой из жердей - ольшаник да ивняк.

Вдруг снаружи слышались голоса, лязгнул замок, и дверь их темницы распахнулась. Красноармейцы вскочили, струдились, загоразивая подкоп. Вошел пехотный поручик, следом за ним солдат с винтовкой и толстый унтер-офицер. С ними - помощник повара, пожилой мордастый мужик и парень лет семнадцати, похожий на него. «Сочувствующий Антанте» был пьян и одет по-иноземному: при шляпе с задранными полями, в короткой шотландской юбке в клеточку и в коричневых кожаных крагах, нелепо изогнутых на его кривых ногах.

Нелепо улыбаясь, воскликнул, словно парад принимал:

- Здравствуйте, товарищи!

- Псы тебе товарищи, иуда! - зло ответил кто-то.

- Кто сказал? - рявкнул поручик, вглядываясь в лица пленных. Все смотрели, будто в пустоту. Тогда поручик выгнул голову, как бык, собравшийся бодаться, и брезгливо глянул на низкорослого помощника повара:

- Ну-у?

Тот медленно двинулся вдоль плотной шеренги бывших своих товарищей, вглядываясь в лица. «Ну, все, - с тоской подумал Александр, - сейчас коммунистов и укажет», - от боли в пальцах стиснул рукоять кинжала за спиной. Решил в случае чего заколоть предателя.

Круглые щеки помощника повара, его низкий лоб лоснились от пота; глаза из щелей пухлых век холодно и загадочно нацеливались в человека. Каждый пленник ощущал ледяное колотье под лопатками. Ощутил его и Александр Кишенин, когда помощник повара поравнялся с ним.

Снова больно заныло в висках, зазвенело в затылке, а в сознании билось

одно: «Вот и все! Вот и все! Вот и все!» Он напрягся, готовый рвануться вперед и вонзить клинок предателю в живот.

Вдруг тот вздрогнул, откинул голову назад и замер, глаза стали большими, серыми. Александр понял, почему: грохот боя стал громче и отчетливей. Лицо кривоногого бледнело, подглазья заподергивались. Но он все равно прошагал вдоль всех стоявших, молча, ни перед кем уже не замедляя шаг. Повернувшись к офицеру, хрипловато заявил:

- Нету здесь Смирнова. И коммунистов тоже. Христом богом клянусь, нету! Кто не убит, в лес убегли. Им дак, видно, сдаваться не резон. С теми, поди-ка, соединились, которые наступают. Как вы называли тех-то красных: Важско-Мезенско-Зырянский полк?

- Заткнись, коровье ботало! - рявкнул офицер. Он кивнул мужику, и тот с сыном приблизились к пленным. Также цепкими глазами ощупывали лица, и так же при этом подступал холодок под сердце у каждого.

Но и они молча прошли от стены до стены, после чего мужик заявил офицеру:

- Нету здесь ни командира ихнего, ни комиссара. Я, ваше благородие, их в своем доме видел, как вас сейчас, не могу ошибиться. Комиссар-то, правда, сразу и ушел, а командир, отпуская меня, заночевал в нашем доме. А я сразу к вам!

«Дак белые Смирнова с комиссаром ищут, - дошло до Александра. - Это же не иначе как лавочник с сыном. Ну, комэск для них что ветер в поле. А комиссара-то, беднягу, видно, не заметили».

Вспомнил бой в ивняке, когда они пытались отбить своих коней. Комиссар упал в чаще кустов, схватившись за грудь. Сквозь пальцы текла кровь. Он мертвым остался лежать в ивняке.

Помощник повара, должно быть, с перепугу решил исправить свою оплошность. Вдруг заговорил торопливо, даже выкрикивая, словно боясь, что вот-вот на него снова цыкнут:

- Братцы! Антанта-то добрая! Приодели меня, винцом угостили, куревом - цыгарами и этим - как его - щикаладом. Вот!

Он вытащил из нагрудных карманов куртки две цветастые плитки и толстенную сигару.

- А обещали денег, ежели укажу командира с комиссаром. И других коммунистов. Лавочнику-то, - кивнул на мужика, - на две коровы денег отвалили! Только подумать, господи? У них и так деньга на деньгу набегают. А че они Антанте и послужили-то: вывели ее болотиной на нас - всего и делов. Да я за экие деньги хоть черта на край бела света выведу! Я им грю: «Утек он, командир-то наш, на тот берег утек». А они не верят.

Офицер, задумчиво глядевший на оратора, усмехнулся недобро:

- Ваньку валяешь? Вот тебе для начала целковый.

И отвесил звонкую пощечину.

- А потом и крупными купюрами выдадим.

И стремительно вышел. Толстый унтер ткнул кулачищем в спину помощника повара, да так, что тот одним скачком оказался на улице. Ушла вся свита, и дверь опять закрыли.

- Гнида, - бешено выдохнул Александр и плюнул. - Такие кривоногие хуже белых. И вашим, и нашим - всем пляшем. Меж двух стульев задницу хочет угнездить.

Канонада близкого боя казалась ему упоительной музыкой: вернулась надежда на добрый исход, и очень хотелось сейчас передать свое состояние товарищам.

- Братцы! А наши-то близко! - воскликнул Александр. - Стрельба-то, чуete, как накатилась? Прорвутся! Ей-богу, прорвутся!

- Кривоногий-то поэтому и струхнул убоился предать, - пробасил рыжий сосед, но тут застучали прикладами в дверь, и сильный простуженный голос рявкнул:

- Молча-ать, ядри твою в четырнадцать! Не то на голос пазгану из винтаря, и «окрасится месяц багрянцем»!

Артиллерист, опять углублявший

подкоп, сильно дернул Кишенина за гимнастерку. Тот упал на колени, прямо в рыхлую кучку земли.

- И в сам-деле стрельнет, - сказал тихо, но внушительно. - Помогай-ко лучше, парень, чем гусей-то дразнить.

Но подкоп дорыть не успели. Вскоре дверь распахнулась и раздалась команда:

- Выходи!

Опасаясь, что красный полк прорвется из леса, белые погнали пленников к реке. У берега стояла баржа и черно дымил закоптелый, похожий на утюг, буксирный катер. Пошел дождь, по-осеннему ледяной, мелкий, нудный. Добавил тоски приунывшим пленникам.

У обрыва ни приказали остановиться. Английские солдаты с винтовками наготове плотным полуколыцом встали сзади. Раздвинулись вдруг ряды белогвардейцев, и, подгоняемый тычками прикладов, вышел босой Фомичев - секретарь партячейки артиллеристов. Было видно, били и издевались: на щеках чернели, кровотока, круглые ожоги. Должно быть, от сигарет.

Десять белогвардейских солдат во главе с офицером вышли из строя и встали шеренгой шагах в десяти от обреченного. Принесли ему лопату. Рыть могилу он отказался.

- Ну и хрен с тобой, - брезгливо поморщился офицер. - Будешь падалью валяться, воронье глаза и рожу исключает.

- Наши поверх земли не оставят, - внятно сказал Фомичев, хотя, видать, и нелегко ему это далось. - Слышите, идут? И похоронят по чести по совести.

Повернулся к пленным:

- Братья! Останетесь живы - бейте врагов революции! Я этим гадам ничего не сказал. Прощайте, това...

Залп оборвал слова. Вздригнуло крупное тело, откатнулось назад и исчезло.

Пленных красноармейцев окружили еще плотнее. Матерясь, угрожая расправой, торопя пинками, ударами прикладов, белые и интервенты погнали их, потрясенных казнью, к бар-

же. Дождь усилился. Быстро смеркалось. Должно быть, от густой рванины темно-серых облаков, низко нависших над землею при полном безветрии.

Поднимаясь по шаткому трапу на борт, Александр с тоскою подумал, что их ждет впереди, после этого долгого, страшного дня - 10 августа 1919 года?

...Пленные не ведали и ведать не могли, что интервенты уже готовились убраться восвояси из Архангельска. Белым одним предстояло удерживать фронт, и они с одной стороны усиливали агитацию среди пленных красноармейцев, а с другой старались взять страхом. Казнь большевика-артиллериста была нужна как раз для этого.

4.

Больше суток везли их в Архангельск. Жажда мучала пленников больше, чем голод, а за тонким бортом журчала вода. И это было сущей пыткой.

Не меньшей пыткой была... вонь, выворачивавшая душу. Как в насмешку над красными конниками, везли их в барже, в которой до этого перевозили коней.

- В трюме навоза по щиколотку, - вспоминал Александр Иванович. - Он ведь перегорает, аммиак и душил нас. Окошек всего два. И уборная тут же. Многие заболели животами. Ох, и намаялись...

Едва сошли на архангельский причал, их построили в шеренгу и стали настойчиво предлагать вступить в ряды белогвардейцев. «Беседу» вел черноусый ротмистр в новенькой приталенной шинели. Неспешно идя вдоль шеренги, остановился напротив Кишенина. Спросил:

- Какой губернии?

- Череповецкой.

- Нету такой! Вы - новгородские, так было испокон. Череповецкая губерния - выдумка большевиков.

Потом прошелся взад-вперед вдоль шеренги.

- В строй хотите? В белую гвардию?

В ряды истинных российских патриотов?

Оборванные, измотанные, голодом, холодом, ранами, болезнями, красные конники стояли под липкой студеной изморосью. Были они полураздеты, многие босиком. Молчали.

- Напрасно! - сказал ротмистр, вроде бы даже с сожалением. - А вот взяли мы в плен псковскую роту, так те в строй захотели. Сейчас проходят переподготовку, изучают оружие союзников. Тушенку трескают: банка в десять килограммов на двадцать дармеедов, ешь - не хочу! И чай пьют индийский. Вот так-то! Одеты-обуты, как женихи, а скоро грянут холода - получают и шубы аглицкие.

Не помогали эти посулы. Офицер терял терпение.

- Ну, что же, - сказал он, - есть и еще вариант: пойдете в рабочий батальон. Та же каторга! Там нижние чины мрут, как мухи. А непокорным оттуда дорога одна - на Мудьюг! Не слышали о таком курорте? Ну так услышите, а то и побываете на нем.

Об этом страшном концлагере на острове близ Архангельска Кишенин и его товарищи услышали еще на политбеседе в Вологде, перед отправкой на Север. Знали, что там, за двумя рядами высоких провололочных заграждений, томятся сотни политических заключенных, по документам числящихся военнопленными. Знали, что охрана и администрация лагеря французская: интервенты не доверяли своим русским союзникам.

Знали, что там применяют пытки, заключенных гоняют на каторжные работы и при этом морят голодом: человеку в день выходило четыре галеты, 175 граммов студня и 42 грамма риса. Жизнь шла по жестоким правилам для военнопленных, и, если нарушался любой их пункт, наказывали одним - смертью.

Из этого лагеря бежали три матроса, но когда он еще только строился заключенными. Была, хоть и мизерная, возможность побега. Теперь же обреченные охранялись пулеметами с шести сторожевых вышек. Умирали на Мудьюге с голода-холода, от

пыток, побоев, от непосильной работы на лесоповале при сильнейшем истощении организма, а еще от сыпного тифа.

Слыхали об этом, но молчали. Никто не выступил, чтобы «зачислили в белую гвардию».

- Наши-то встояли, - вспоминал Александр Иванович, - но врат не стану: были среди пленных и такие, которые шли к врагам. Но в большинстве своем они хитрили: надеялись при первой возможности убежать к нашим в Красную Армию. Многим это удалось.

Попал Кишенин со своими друзьями в рабочий батальон. Стали их гонять на каторжные работы: разгружать каменный уголь, копать в вязком пльвуне да глине траншеи под фундаменты казарм и складов, каменем бутить эти траншеи. Заставляли грузить на корабли интервентов увесистые кипы льна, пеньки, кудели, пакли, бочки со смолой и пеком, бесконечные штабеля теса, фанеры, леса-пиловочника. Приходилось разгружать и тяжеленные ящики с оружием, с боеприпасом.

И так ежедневно по пятнадцать часов, до дрожи в коленях и колик в спине. Едва доплетутся до холодной казармы, упадут на гнилую солому. Забудутся в тяжелом сне, как вдруг в болезненное забытие врывается резкий вой сирены. А вслед - топот и грубые окрики:

- Па-а-дъем, каторжные рожи! Транспорт с углем разгружать!

Больше всего угнетала мысль, что своими руками приходится грузить народное достояние России, которым так называемое временное правительство Северной области расплачивалось с Антантой за помощь в борьбе с Красной Армией.

Много десятилетий спустя стало известно, что в Англию, только по так называемым компенсационным обязательствам, вывезено товаров более чем на два миллиона, во Францию - на сумму свыше 800 тысяч, а в Америку - более чем на 600 тысяч фунтов стерлингов. Одних только лесоматериалов «заморские гости» уплавили

через Архангельский порт более чем на 1 миллион фунтов стерлингов. Обчистили все архангельские богатейшие лесобиржи. Ни одной доски не оставили.

Из Архангельска уплыло за границу и 125 тысяч тонн льноволокна, много пушнины, оленьих шкур, мяса, рыбы. Общий ущерб Русскому Северу за время иностранной оккупации составил более ста миллионов золотых рублей...

Грабили нагло. Остановить разбой было невозможно: саботаж карался смертью, а в лучшем случае высылкой в концлагеря два года, с марта 1918 по март 1920 года, через тюрьмы и лагеря интервентов прошло около 52 тысяч человек, то есть 17 процентов населения края.

А бастующих гражданских рабочих призывали «под ружье» в белую армию и отправляли в окопы. Но люди пытались сделать невозможное. Александр Иванович помнит: уже при нем в конце августа вспыхнули волнения сразу на нескольких архангельских заводах. Встрепенулась надежда в сердцах у пленников: может, что-то начнется серьезное? Они пошли бы заодно.

Но уже 1 сентября был повсюду расклеен приказ генерал-лейтенанта Квевцинского: «...немедленно в течение 1 сего сентября призвать на действительную военную службу всех бастующих граждан, кои имеют отсрочки по призыву». Забастовку подавили.

Совсем приуныли пленники. Бегать, не имея укрытия в городе, бессмысленно: вокруг Архангельска спешно строились укрепления, всюду были заставы, пикеты, посты часовых, а в самом городе действовал комендантский час. Патрули военных и добровольцев из буржуазных «квартильных комитетов» хватили всякого, кто появлялся на улице без пропуска. На тумбах для афиш, на стенах домов висели списки расстрелянных большевиков, подпольщиков, профсоюзных работников и взбунтовавшихся солдат. Не только ночью, но и днем гремели выстрелы на Мхах - там, где теперь стоит архангельский железнодорожный вокзал.

Хорошо запомнил Александр Иванович, что интервенты ушли из Архангельска, ограбив богатые склады, видя несостоятельность белых в борьбе с наступающей Красной Армией.

- Накануне их ухода, - вспоминал Александр Иванович, - нас направили на Багарицу ломать моторы гидросамолетов. Злы были белые на союзников, бросающих их, вот и решили, видно, им насолить. Топорами рубили мы тонкие трубочки, хитросплетения разноцветных проводов, разбивали обухами приборы управления. Не знаю, кто отдал такой приказ, но мы были рады ему: ведь эти самолеты теперь никто ни в каком другом месте не смог бы использовать против Красной Армии. Я-то знал уже тогда, на что способны эти «птички».

В одном селе близ Котельнича, где красные стояли, видел Александр, как с пяти самолетов лили на крыши жидкость. Избы вспыхивали, будто спичечные коробки. Домов тридцать в одночасье выгорели дотла. Спокойно действовали налетчики, знали: безнаказанно.

На улицах был расклеен приказ генерала Миллера - главнокомандующего всеми белогвардейскими вооруженными силами на Севере:

«Для пресечения в самом зародыше возможности всяких большевистских выступлений в связи с уходом союзников объявляю г. Архангельск на осадном положении с 6 часов вечера 26 сентября...»

Когда на горизонте растаяли шлейфы дыма от английского, американского, французского, итальянского крейсеров, город притих. Затаился.

Ушли интервенты, но пленники остались пленниками. Кормили их перловкой на воде да варевом из гнилой капусты. Вскоре начали они болеть цингой, простудой, тифом, желудочно-кишечными болезнями. Да и как не болеть, если в грязной, сырой казарме сифонило, иней под утро выбеливал углы, а в истружшей соломе на нарах вгустую шевелились вши.

От холода Александр страдал неминуемо. Портянки из рукавов брошенной, отслужившей шинели не

спасали ног, обутых в рваные, сопревшие от сырости сапоги, найденные на свалке. Не теплее была и дырявая, как решето, стеганка, которую он стащил на складе из тюка ветоши.

В адских условиях старался не унывать и даже пытался взбодрить товарищей. Первым вскакивал по утрам и начинал балагурить, приплясывая для сутрева:

- И-эх, наша горница с улицей не спорница! На улице - мороз, у нас - морозница!

Поднимались хмурые, мятые солдаты, покашливая и матерясь. Но кто-то уже поддерживал балагура:

- Горницу-то, ладно бы, можно и терпеть, а вот жаль, что из щепы хлебки не сварить!

- А я поел бы и репки, да беда - зубы редки! - подхватывал другой. И светлели глаза. Печаль, правда, оставалась в них. Да какая-то больная печаль.

Кишенин признался как-то: больше погибло от истощения да от холода, чем от пуль и снарядов. Зима нагрнула студеная на редкость, и беяки над нами потешались:

- Ай да мороз-генерал! Голодранцы-то красные вымерзнут!

Ослабших или замеченных в недовольстве отправляли в концлагеря на верную гибель.

- Помню, объявили, что в казарму заглянет высокий чин, - продолжал рассказывать Александр Иванович. - Нужно было составить список личного состава рабочего батальона по ротам, взводам и отделениям. Это задание дали сыну генерала Васильковского, бывшему студенту Археологического института, добровольно вступившему в Красную Армию. В плену то он стал совсем доходягой, доконала его наша каторга, часто возмущался бесчеловечным обращением, получая за это затрещины.

Список составил. А потом построили нас не в казарме, а на плацу. Подкатила машина, и вышел из нее тот самый генерал, по приказу которого стреляли по нам из пулемета. Генерал заглянул в бумаги и заорал: «Писаря сюда!»

Васильковский подошел. Генерал как рывкнет: «Осовдепился! Каллиграфия - без «ятей», сукин сын».

И в лицо кулачищем. Прямо списком и заехал. Васильковский упал, а генерал кивнул на него и приказал начальству: «Послать сортиры чистить. Да не в городе, а где-нибудь на острове», - неопределенно махнул рукой.

Больше мы не видели бедолагу Васильковского. Потом узнали: генерал к нему придрался не случайно. Все у них было разыграно, как по нотам. Васильковского-то в это время, оказывается, разыскивала по ходатайству его отца миссия международного Красного Креста. Невыгодно было возвращать его родителям получело-веком.

Однажды команду, где был Кишенин, вели на работу. Равнодушно смотрел он кругом. И вдруг увидел Щербакова, бывшего командира своего полка. Он попал под Ригой к немцам в плен. Тот шел в парадной форме, под ручку с элегантной дамой. Александр заволновался. Громко, чтобы услышал Щербаков, обратился к начальнику охраны:

- Господин унтер-офицер! Разрешите выйти из строя, поприветствовать своего старого командира!

Полковник Щербаков оглянулся, и старший конвойный, унтер-офицер, не посмел отказать:

- Подойди к господину полковнику. На пару минут. Строй догонишь.

Щербаков, конечно, его не узнал в рванье, исхудавшего. Да вряд ли он вообще помнил всех своих солдат:

- Что тебе надо?

Кишенин напомнил о памятном им обоим бое под Ригой, о том, как еще до этого полковник вручал ему «Елену».

- Твоя фамилия Кишенин? - вдруг признал его Щербаков. - А как здесь оказался? Говори, не бойся. Я тебе записку дам, что задержал.

Александр очень кратко сообщил о себе. Соврал одно: что только-только в плен попал.

- И я отведал плена. Но бежать удалось.

Полковник посмотрел пристально, а потом достал записную книжку, что-то написал, вырвал листок и протянул Кишенину. Коротко кивнув, подхватил под локоток свою скучающую спутницу, и они пошли. Александр со всех ног кинулся догонять строй. Только в чужом корабле - рефрижераторе, куда пленные носили бараны туши, Александр достал эту таинственную записку и прочел адресованное начальнику первого рабочего батальона: «Направь солдат дежурить в офицерский клуб. Знаешь каких. И с ними - Кишенина из первой роты».

- Так и попал я нежданно-негаданно в «кухонные мужики». Каждый раз мне выписывали и такую вот бумажку.

И он достал казенный бланк: «Предъявитель сего действительно есть рядовой 1 роты 1-го рабочего батальона Кишенин Александр, уволенный мной в город до 7 часов вечера».

Увольняли в офицерский клуб, а начальником там как раз и был полковник Щербаков.

- Когда я впервые явился к нему, он порасспрашивал о судьбе бывших однополчан, кое-что сообщил и о себе. Он сумел из Пруссии, где был в плену, перебраться в Англию, а уж оттуда вместе с женой-англичанкой приехал в Архангельск.

- Тянуло в Россию-матушку, грызла тоска. Приехал, а «дым Отечества» не столь уж сладок и приятен.

Александр не очень-то понял, что имел полковник в виду, но ответил дипломатично:

- Да-а, война не жена, со двора ее не вдруг прогонишь.

Щербаков усмехнулся:

- Ладно, солдат. Спасу тебя от рабочего батальона. Вот тебе записка к генеральше Крицкой. Она председатель женского патриотического Союза. Ведает всем хозяйством офицерского клуба.

Крицкая - дама деbeatая. Видно, что когда-то красавица была, но пооплыла, щеки с затылка видать, и глаза что два рыжих таракана между век, словно между подушек. Так и бегают, так

и шмыгают, все видят, все замечают. Строгая дама. Официантки, солдатики, что при клубе - все перед ней по струнке ходят, и офицеры ей козыряют, будто начальнику.

- Но как распорядился Щербаков, так она меня и определила: при столовой, в пищевую кладовую, помощником к дежурному. Среди дежурных и дамы были. Обмундировали меня, даже выдали новехонькие сапоги. Делаю все, что прикажут. В основном то сгружаю с телег, на склад заношу, раскрываю ящики с галетами, сигаретами да какао, мешки с мукой, крупой да сахаром. Прикажут - говядину стылую разрубаю. В общем - кухонный мужик. Полегче здесь и посытнее. Каждый день что-нибудь утаивал из продуктов.

А через несколько дней замечаю: что-то больно веселые клубные дамы. Прислушался - и обмер: вроде Питер взят. У большевиков, мол, остался один поселок Лесной с политехническим институтом. Поздравляют дамочки друг дружку, от радости даже всхлипывают.

Целый день я был в тревоге. Неужто правда? Не может быть! Но даже если и полуправда есть в бабьих разговорах, значит, очень тяжко под Питером.

В казарме рассказал о слухах товарищам. «Брешут! Питер не взят, - ответили мне. - Хотя есть сведения, что Юденич, как и в мае, снова прорвался к окрестностям города». «Откуда сведения?» - спрашиваю. «От верных людей, - отвечают. - И ты им, Саша, должен помочь».

Ребята познакомили меня с бывшим матросом Тимофеем Добровольским: «Он почти твой земляк - родом из Устюжны...» Предупредили: никто в батальоне не знает, что он красный комиссар. Числится рядовым. И по «легенде» в плен попал в лесу под Шенкурском, лошадь под ним взрывом убило, а сам при падении сильно ударился, был без сознания. Надо устроить его в офицерский клуб», - попросили меня.

Позднее-то я узнал, что был Добровольский связан с большевистским

подпольем. А сейчас кое-что по намекам скумекал и расспрашивать не стал.

На следующее утро прихожу к Щербакову: так, мол, и так, нельзя ли еще одного дружка верного при клубе пристроить? Тоже конник, свой брат, был контужен в бою. На тяжелых работах в порту, без харчей, запросто может сгинуть.

Полковник обрадовался: «Ты, Кишенин, будто в воду глядел. Я сам хотел тебя спросить: нет ли еще такого надежного малого, как ты?» Он с интересом окинул взглядом невысокую, но крепкую фигуру Добровольского. Потом расспрашивал его, черкнул записочку Крицкой. И говорит: «Может, и вы, солдаты, когда-нибудь мне поможете». Сказал не шутейно. Очень даже серьезно.

Не то что на работу взяли парня, а и жить разрешили нам обоим при клубе офицеров. Выделили комнатку-каморку.

Мы с Тимофеем кололи дрова, топили печи, расчищали от снега двор и улицу у парадного подъезда, до блеска драили полы, натирали паркет в залах и кабинетах и, конечно, разгружали по-прежнему продукты. Всегда прислушивались к разговорам белых офицеров, особенно подвыпивших.

Пошли у них новые разговоры: Деникин взял Курск и Орел, теперь наступает на Тулу, а там и до столицы рукою подать. Колчак опять собрал войска, натиском идет с востока. Миллер с войсками Северной области продвигается на Вологду и Петрозаводск. Срок взятия Вологды-то сначала назначен был на 10 августа, да человек предполагает, а Господь располагает. Но лучше позже взять город, чем никогда.

Офицеры весело позвякивали шпорами, каблуками щелкали, целуя дам-мам ручки. Восклицали с ликованием:

- Близок, близок час расплаты!

- Хватило б только фонарей для красных дикарей!

Но когда бывал близко полковник Щербаков, кровожадные щеголи умолкали: терпеть не мог старый бо-

евой офицер суесловия, пресекал его по праву старшего по званию.

- В одном из залов висела большая карта Российской империи, - вспоминает Кишенин. - Чуть не полстены занимала. Была она утыкана белыми и черными флажками: первые обозначали, что территория у белых, а вторые - у красных. У карты этой то и дело вспыхивали споры, особенно если офицеры подвыпьют. Иной зашумит: этот город не в наших руках! И начнет флажки переставлять - линию фронта менять, пояснять что-то да в грудь себя бить: «Вот на сегодня истинная оперативная обстановка!»

Рассказал я об этом Добровольскому еще когда только-только пришел, а у него глаза загорелись: «А можем ли мы почаще в тот зал заходить?»

«Конечно, - говорю. - Ежели по делу - подозрений никаких. А дело всегда отыщется: пыль с мебели стереть, кофе подать господам офицерам. Да и люди-то у карты все время разные стоят: не бросится в глаза, что часто там торчим».

«Догадлив ты, братишка», - усмехнулся Добровольский.

Теперь каждый день им удавалось узнать ценные сведения о положении на фронтах, ведь в своем клубе, офицеры не очень-то блюли осторожность. А эти два солдата из прислуги давно примелькались, стали привычны, как то чучело у входа в вестибюль или попугай в клетке у буфета. Холуи, да и только, и умеют они шаркать щеткой по паркету да пыль стирать с подоконников. Ни бельмеса не смыслят в высоких материях...

А незаметные, услужливые «кухонные мужики», делая маленькие свои дела, наматывали себе на ус услышанное, немало узнавая ценных сведений о положении в Питере, Москве, на разных фронтах, и особенно о готовящихся на Севере боевых операциях белых, о переброске их войск и вооружения, о предстоящих карательных акциях против населения непокорных уездов, о настроениях в частях белой армии.

Однажды рано утром Добровольский перепутал все флажки на карте.

А Кишенину сказал: «Слушай внимательно, Саня, сегодня. Какая-то заковыка вышла у них с наступлением».

Кишенин протирал со стремянки люстру, когда в зал вошла группа офицеров.

- Кто тут, незнающий, напутал? - возмутился майор, первым увидев хаос на карте. - Под Ямбургом замки к орудиям не подошли. А тут помечено: Ямбург наш.

- Красные там сильно даванули, - поморщился поджарый штабс-капитан. - Но это еще не трагедия. Наши под Питером вновь наступают, и красным туда неизбежно придется войска перебросить.

Через рабочих и солдат из порта Добровольский сообщал обо всем подслушанном подпольщикам. Но иногда по несколько дней ни ему, ни Кишенину не удавалось отлучиться из клуба. Тогда к ним приходил связной Федор Волохов под предлогом «навесить земляков». Был одет он в папаху и белый полушубок, носил офицерские сапоги. Документы у него были «чистые»: оптовый торговец пушным товаром.

Приходил иногда и другой «земляк» - бухгалтер с лесопильного завода.

Ждали вестей о положении на фронтах и пленные красноармейцы. Правда о Красной Армии давала им силы держаться. Собранные в клубе офицеров сведения, конечно, нуждались в проверке, в сопоставлении с другой информацией из разных источников. Но это уже было дело товарищей, нелегально работавших в оккупированном городе.

Как-то раз, уже после Нового года, Кишенин с Добровольским узнали, что на северо-двинский участок фронта срочно должны перебросить большую партию зимнего обмундирования. Сообщили об этом подпольщикам. И той же ночью в склад с полушубками, валенками, ватными штанами кто-то сумел сунуть огня. Запало быстро, но охрана заметила беду не сразу. А наутро «кухонные мужики» узнали об этом из разговоров.

- Слава богу, благополучно сработали, - шепнул Добровольский.

- Поначалу-то в клубе нас проверяли, - продолжал вспоминать бывший «красный гусар», - одно время к нам набивался в знакомые денщик одного генерала. Как-то днем он подошел к роялю и сыграл «Интернационал». Тимофей развернулся - и хрясть его в скулу. «Ты что, сволочь, - говорит. - По красным стосковался? Сейчас отведу в контрразведку - там тебя мигом красным окрасят. Денщик еле ноги от нас унес.

А то вдруг ночью к нам в каморку вваливаются два прапорщика, поднимают с постелей и обыск учиняют. Даже подушки распотрошили, у фуражек подкладку выпороли, стельки в сапогах вырвали. Какие секретные документы искали - черт их знает. Ничего, конечно, не нашли: партбилет и кинжал я давно упрятал в другом, надежном месте.

Генеральша Крицкая стала замечать усердие Александра в работе. Несколько раз хвалила:

- Ты, Кишенин, везде успеваешь и все умеешь. И швец, и жнец, и на дуде игрец.

Александр кинул руки по швам и ответил по-военному:

- Рад стараться!

А как-то, встретив в коридоре, воскликнула:

- Тебя, голубчик, мне и надо. Идем со мной! Поможешь вещи домашние к отправке уложить.

Что-то новое было в поведении Крицкой: к обычной властности примешались взвинченность и растерянность. «С чего бы это? И к какой отправке готовятся Крицкие?» - подумал Александр, но спросить, конечно, не решился.

Жили Крицкие по соседству с офицерским клубом. У деревянного двухэтажного особняка поджидали два солдата-артиллериста: их генерал Крицкий в помощь прислал. Вошли в гостиную на втором этаже. И в глазах у Александра зарыбило. На диване, на креслах, на широком столе - всюду в беспорядке лежали золотые и серебряные изделия старинной работы: чаши, кубки, блюда и ковши, вилки и ложки, иконки, как-то осо-

бенно темные в своих блестящих дорогах окладах, усеянных редкими камнями, кресты с изображением распятия, витые подсвечники, древние книги, тоже в окладах из серебра прорезного, с россыпями драгоценных камней.

- Я обомлел, - вспоминает Александр Иванович, - и насторожился. «Вот, - думаю, - сволочи! Ведь монастырь ограбили какой-то. Разве могут быть такие домашние вещи?» Должно быть, я не один об этом подумал. Гляжу: и артиллеристы поникли, нахмурились. Однако же стали укладывать драгоценности в четыре окованных сундука.

Когда все упаковали, Крицкая выдала нам по пятьдесят рублей. За услугу и за молчание. Она так и сказала: «Надеюсь, голубчики, у вас не длинные языки? Люди-то завистливы, только бы судачить по поводу чужого состояния. А это у нас все фамильные, древние ценности, дорогие нам как реликвии рода нашего».

Деньги, данные ею, были длиной сантиметров двадцать, зеленого цвета, простая бумага, похожая на обои. Их выпускало при интервентах архангельское временное правительство Н.В.Чайковского.

Вернувшись в клуб, Александр обо всем рассказал Добровольскому. Тот задумался:

- Не зря она, шельма, засуетилась. Нынче был у меня Федор Волохов. Сказал, что на станции Плесецкой наши разбили белых. И от Питера, похоже, их отшвырнули. Вечером все уточню. А вот насчет хищения народного богатства... возьмем пока на заметку.

Поздно вечером придя из города, Добровольский сообщил:

- Белым ни Питера, ни Москвы не видать. А сюда из Вологды сила двинулась грозная. Вот-вот шестая армия нанесет решающий удар - и амба всяким Миллерам, Крицким да Чайковским! Так что, Санька, не журишь. Гляди, солдат, веселее, шагай, служивый, прямее, а то, ишь, божьего слугу совсем согнуло в дугу!

Он засмеялся, толкнул Кишенина плечом и подмигнул.

6.

Первым подтверждением точности сведений Добровольского была резкая перемена в настроении «клубных дам»: ходили притихшие, говорили полупшепотом, прикладывали платочки к влажным покрасневшим векам. Притихли и вояки, на лицах многих офицеров можно было заметить тревогу и даже растерянность.

И какая-то нервозность, как электричество, накопилась. Однажды в столовой за обедом, за разговором вспылил генерал Попов из штаба Миллера:

- Стрелять по союзникам надо было! И в клоповники, в клоповники их, где большевики сидят!

Постепенно возобновились и споры о положении на фронтах, только поубавилось в них оптимизма, а порой они шли почти истерично.

Передавались из уст в уста тревожные для белых слухи. Например, о том, что западнее железной дороги части красных перешли в наступление по направлению к Архангельску. Поговаривали, что во многих селах и деревнях парни и мужики поголовно скрываются от мобилизации, объявленной белыми.

Однажды подслушал Кишенин разговор двух захмелевших офицеров. Понял, что приехали они с передовой за пополнением.

- Чего только не делаем, чтобы беглых из леса выманить, - желчно жаловался поручик с красным шрамом на лице. - В Удоре шомполами, розгами вразумляли их родичей. Всех подряд, даже баб и детей! Лишаем семьи пайка, отбираем коров, имущество. Да чего там - избы жжем! Все тюрьмы забиты заложниками из семей дезертиров. Иных и расстреливаем. А толку ни на грош.

- Но хуже всего, что и многие наши окопники в колебании, - ответил его собеседник, пожилой ротмистр.

- Поугрюмели, попримолкли. С нижним чином заговорись, а он молчит недобро, каналья. Увильчивыми сделались солдаты. Много таких. Слишком много. Того и гляди, в красные переметнутся.

- Уже и перебегают. В Онежском районе семьсот солдат перебежали.

«Э-э, видать, и впрямь у них дело табак», - обрадовался Александр. В тот же вечер по совету Тимофея отправился в казарму рабочего батальона к своим товарищам из эскадрона «красных гусар». А Добровольский поставил в известность подпольщиков-большевиков обо всем, что узнал Кишенин. Теперь с каждым вновь прибывшим пленным тайком говорили верные люди. Смысл бесед сводился к одному: не поддаваться агитации белогвардейцев, ни в коем случае не вступать в их армию, которая обречена. Многих растерянных, колеблющихся удалось спасти от роковой ошибки.

Положение у белых, ясно, осложнилось, но по вечерам в офицерском клубе все еще вспенивались фонтаны шампанского, и с небольшой эстрады чернявый, вертлявый артист Райский выпевал подделки под солдатские частушки:

*Мы такую войну откроем!
Всю Совдепию разроем!
Ленин, Троцкий - нипочем,
Закидаем кирпичом!*

Танцевали на этой эстраде красотки, взметывая белые облака кружевных юбок.

Но веселье это становилось похожим на пир во время чумы.

- В подвале клуба был устроен тир, довольно большой, - вспоминает о тех днях Александр Иванович. - Офицеры набивали руку в стрельбе. Ватные маты на полу, мешки с песком для укладки винтовок - все как положено. Человек до двадцати могли стрелять одновременно. Мишени-то в последнее время появились у них необычные: силуэты людей в красноармейской форме, в шлемах-буденовках.

Иногда офицеры заходили в тир поразвлечься прямо из-за ресторанного стола. Стреляя по этим мишеням, доходили до бешенства. А в таком состоянии да с оружием долго ли до беды? Как-то раз и перессорились между собой, передрались. Гляжу: и те, что разнимать кинулись, уже за револьверы хватаются. Начальства

рядом - никакого. Я - вверх по лестнице, и к телефону. Только успел позвонить в комендатуру, и трубку еще не повесил, как в телефон пулю ввели. Отшатнулся, и прыжком за угол коридора. За мною гнался пьяный офицер, он еще раз выстрелил, но промахнулся. Влетел я в нашу каморку, задвинул засов, отскочил в самый угол: вдруг, думаю, дверь начнут пулями решетить? Но слышу: мимо пробежали. Потом зазвенели стекла, долго слышался чей-то крик.

Наряд из комендатуры арестовал зачинщиков драки. Скандал среди офицеров получил огласку, и Щербакову комендант города сделал внушение за то, что тот по вечерам не бывает в клубе. Дескать, как старший, он мог бы погасить ссору в самом начале.

- Может, я им и салфетки подвизывать должен, чтобы кофе на грудь не лили? Или в сортир сопровождать? - психанул Щербаков и вышел, хлопнув дверью, недопустимо нарушив субординацию.

А в начале февраля 1920 года офицерский клуб загудел, как встревоженный улей. Все только и говорили о неудавшемся контрнаступлении белых под Шипиловой, о том, что красные взяли в плен около двухсот солдат, пулеметы и даже два шестидюймовых морских орудия.

Не успело утихнуть волнение от этой вести, как новая пришла: о взятии красными станции Плесской, о захвате крупной партии боеприпасов.

А через пару дней - опять хлесткое известие. На этот раз красные заняли сразу несколько деревень, среди которых особенно упоминалась в разговорах Среда-Мехреньгская. Крепкий бой был возле нее. Удержаться белым не помогла и хорошо налаженная оборона. Трагическим полушепотом говорили, что на этот раз в плен к большевикам попали почти тысяча солдат и шестнадцать офицеров. И что еще хуже - красным достались 120 пулеметов, свыше тысячи винтовок, 700 тысяч патронов, восемь бомбометов, гаубица и легкие орудия.

Александр тайком записывал циф-

ры. Радовался и сомневался в их достоверности. Но сами себе белые не лгали: вскоре после освобождения Архангельска Кишенин увидел эти же данные в газете «Наша война», издававшейся политотделом шестой армии.

Красноармейские части все увереннее приближались к Архангельску. За двенадцать дней, с 3 по 15 февраля, полностью разгромили армию генерала Миллера. «Остатки ее сдались в плен без сопротивления. На Пинеге сдался 1-й Северный полк белых во главе с генералом Петренко, а на железнодорожном участке - 6-й Северный полк и бронепоезд «Колчак».¹

Дольше других держалась «волчья сотня», но и та в двадцатых числах февраля перешла на сторону Красной Армии. В сотне было 600 головорезов.

В офицерском клубе уже два дня царило безлюдье. Только в ресторане еще появлялись завсегдатаи. Но и те без обычных острот и улыбок, молча съедали обед, допивали водку или кофе с коньяком и уходили озабоченно, словно прислушиваясь к самим себе. У карты не было ни души, флажки для обозначения линии фронта валялись на полу.

Исчезли и офицерские жены. Одна генеральша Крицкая плавала растерянной утицей из зала в зал, то и дело заглядывала в пустую столовую. И молчала.

В тот день после обеда в кладовую, где бездельно сидели на ящиках Кишенин и Добровольский, неожиданно вошел полковник Щербаков. Они поднялись, вытянув руки по швам, но Щербаков махнул рукой. Он был взволнован. Сказал Александру:

- Мне нужно с вами поговорить. Доверительно, с глазу на глаз. Дело срочное.

- У меня от Добровольского секретов нет, - ответил Кишенин. - Подслушать нас некому.

- Хорошо, - согласился Щербаков. - Мне только что стало известно: в ночь на послезавтра временное правительство Северной области, генерал Миллер со штабом и войском гарнизона уйдут на судах за границу.

Кишенин с Добровольским пере-

глянулись, не скрывая радости.

- Я вам сказал еще не все, - полковник нахмурился. - Отдан приказ: погрузить в баржи пленных, отказавшихся драться с красными. В основном, контингент рабочих батальонов. Официальная версия: для того, чтобы вывезти в Англию в качестве рабочей силы. А на самом деле баржи в Белом море будут пущены на дно.

Сказал глуховато, хрипло, а слово треснуло обухом по голове. У Александра пересохло в горле, опалило жаром щеки, виски, в ушах зазвенело. Нависло тягостное молчание, - все трое будто онемели. Наконец, Добровольский хмуро спросил Щербакова:

- Почему вы сообщили нам об этом?

- Да потому, молодой человек, что я боевой офицер и не желаю иметь ничего общего с мясниками и мошенниками! - Щербаков почти выкрикнул это. - Я из плена бежал, прошел всю Европу, в проклятых лондонских туманах задыхался от ностальгии! Рвался в Россию, летел сюда, как на крыльях, а плюхнулся в эту помойную яму. Увы, я понял не сразу, что живу среди дерьма, среди отбросов российских. Но никогда, даже в мыслях, не поднял я руку с оружием против своего народа.

Кишенин не ожидал такой откровенности. С удивлением он увидел: бесконечной тоской переполнены, будто серым пеплом подернуты глаза Щербакова. И сам собою вырвался тревожный вопрос:

- А куда же вы теперь, господин полковник? Неужто опять на чужбину?

Вздыхнул Щербаков, как-то сразу ссутулился и уже не казался «из целого дерева тесанным». Но ответил спокойно и твердо. Так говорят о заветном, сто раз передуманном:

- Не-ет, сытехонек ею по горло. По мне уж лучше в домовине, чем на чужбине.

- Ну зачем так мрачно, господин полковник? - усмехнулся Добровольский. - Мы с Александром свидетели, что в боях на стороне белых вы не участвовали. Боевой офицер, а тут отсиделись на тыловой должности. Это само за себя говорит. Да и многим пленным

вы облегчали участь, как могли. А сколько Александр еды перетаскал отсюда своим «красным гусарам»! Мне сдается, вы знали об этом.

- Догадывался.

- Ну вот! Придут наши, мы с Кишениным о вас это и сообщим. А сейчас нам пора. Если спасутся наши товарищи, в этом будет и ваша заслуга.

Предупрежденные о зловещем замысле, многие из пленных рабочего батальона бежали в последний момент, разоружив охрану у казармы. Бежали и друзья Александра Кишенина - «красные гусары». Правда, многие из них погибли еще задолго до побега.

Здоровяка-артиллериста, когда-то рывшего подкоп, заколол штыком охранник. В тот ясный зимний день они загружали конный обоз бочками с соленой треской. Рыба предназначалась для питания солдат на фронте. Огромные, стянутые железными обручами были те деревянные бочки.

С друзьями Кишенина работали заключенные из архангельской губернской тюрьмы. Они едва на ногах держались: лбы в испарине, пар валит от спин (на морозе-то дыхание хриплое).

Уже возов пять из двадцати загружали. Один из охранников, видно, озяб, и давай подгонять:

- Шевелись, доходягы!

Подневольные терпят, молчат, работают. Из глубины склада выкатили очередную бочку, стали спускать по обледенелому трапу. Один из заключенных поскользнулся, упал, покатился по ступенькам. Едва-едва наверху бочку удержали. Охранник подскочил к лежащему и давай его пинать, куда попало. Бедняга корчится, голову руками закрывает, а его тот по голове ударить норовит.

Степан-артиллерист и не выдержал: схватил сзади охранника поперек, да и откинул его в сугроб. И закричал:

- Ты, что, совсем озверел, выродок?

Тот поднялся, вроде и не спеша. Молча ощупал себя, отряхнулся от снега. Поднял свою трехлинейку с примкнутым штыком и - в живот артиллеристу.

Две недели всего не дожил этот

смельчак до освобождения Архангельска.

Перед подходом Красной Армии белогвардейцы подняли на таях оставшихся кораблей все бортовые орудия. Замки от них выбросили в воду, чтобы не смогли стрелять из них. Пушки висели, похожие издали на больших черных воронов.

Генерал-губернатор Северной области Миллер и его генералы уплывали в Норвегию на «Пожарском» - судне ледокольного типа.

- У каждого кочегара за спиной по офицеру с наганом, - рассказывал Кишенину много лет спустя с трудом вернувшийся на родину архангельский кочегар Николай Гончарук. - Вместе с «Пожарским» и другими кораблями шла «Ярославна» - яхта бывшей императрицы Марии Федоровны. В Белом море льды сжали ее. Пассажиров взяли к нам. Теснота, пьяная военщина, смрад в переполненных трюмах. Бегство крыс - не назовешь иначе.

Как сообщала оперативная сводка, при вступлении частей шестой Красной Армии в Архангельск было захвачено «...три танка, шесть автомобилей, большие запасы продовольствия и снаряжения, 2 больших и 5 легких ледоколов, вся речная флотилия и линейный корабль, доки и мастерские (судоремонтная, артиллерийская и интендантская) в исправности...»

21 февраля наши войска вступили в Архангельск. Первым подкатил к вокзалу захваченный у миллеровцев бронепоезд, битком заполненный красноармейцами. Весь в белых шлейфах пара, рвущихся на ветру, он гуднул и остановился, дробно лязгнув тормозами. Радостное «ура!» вспугнуло галок с крыш пакгаузов.

Кишенин был в толпе рабочих, встречавших освободителей, кричал со всеми «ура» и махал шапкой-ушанкой, а глаза его почему-то застилала горячая влажная пелена. За правым плечом висела старенькая русская винтовка-трехлинейка, с которой вчера он весь день оборонял в порту с бывшими пленными и подпольщиками склады продовольствия, оружия, военного снаряжения.

Окончание следует.

ПУТЬ САТИРИКА И ЭПОХА

Очерк жизни и творчества
вологодского писателя

1. ИСТОРИЯ «ГЛУХАРЕЙ»

Иван Михайлович ЛАРИОНОВ (7.07.1928 г. - 12.10.1999 г.), уроженец Кадуйского района Вологодской области, известен сатирическим романом «Поющие глухари» (Северо-Западное книжное издательство, 1985 г., Архангельск - Вологда). Роман этот, написанный в срединные годы так называемого советского «застоя» (1972 г.), прошедший множество мытарств, скитаний по издательствам и цензурных отказов, опубликованный лишь тринадцать лет спустя, изобличал и изобличает систему бюрократизма, лицемерия, лизоблюдства и бесстыдного очковитирательства, которая начала складываться в стране в те годы, проникнув во многие институты общества. На страницах книги читатель встречает немало колоритных, нередко отталкивающих, но запоминающихся персонажей: разного рода карьеристов, приспособленцев, подхалимов, формалистов, профессиональных лжецов, чиновников - душителей любых свежих инициатив, то есть тех, кого автор определил как особую касту общества той эпохи - «поющих глухарей». Негласный девиз многих из них - думать одно, говорить народу другое, а делать - третье. Их духовный предводитель, главный антигерой романа, почти «великий» Пупин, даже счел себя основоположником некоего эгоцентрического учения - «пупизма» (или «отвратительной умственной спекуляции», как позднее обозначат сей «изм» рецензенты). Увы, та эпоха, при намеренном отсутствии критики общественных явлений на каких-либо значимых уровнях, поставляла такой типаж в избытке (что и дало право автору как-то сказать: «Я ничего не

выдумывал. Это не сатира, а реалистическая проза»). Разумеется, это фигура речи, потому что иронический взгляд автора никуда не денешь. Тем не менее со сменой эпох тот типаж не исчез. Никуда не делись «поющие глухари», они лишь мимикрировали в более тонкие и одновременно более наглые, изворотливые, неведомые тому времени формы.

Пройдет всего лишь несколько лет, и персонажи, описанные в романе, давно сгнившие «сливки» партийной элиты, оторвавшиеся от народа и здравого смысла, расчухавшие, что вместо номенклатурной кормушки можно получить нечто гораздо более веское и значительное в виде зеленых дивидендов и лондонских замков, не дрогнув, легко сдадут недавние идеалы и коммунистическую (а вернее, христианскую) идею о справедливости и равенстве. А вместе с нею - и миллионы русских людей, и территорию страны, где тайные режиссеры немедленно насадят одиозные националистические режимы.

Год публикации романа - 1985 - может представляться сейчас некой оттепелью. Но это не совсем так. И даже вовсе не так. По цензурным соображениям (цензуру никто не отменял) сатира тогда негласно была под запретом, и публикации произведений такой направленности в то время - явление уникальное. (Помните разговор мужчины и женщины, двух дольщиков гаражного кооператива, в известном в те годы художественном фильме «Гараж»: «Чем вы занимаетесь?» - «Составляю антологию советской сатиры». - «Как можно составлять то, чего не существует?»)?

Даже когда грянули послабления и

многие поняли необходимость перемен, директор Северо-Западного книжного издательства не рискнул брать на себя ответственность и обратился в Москву, в Государственный комитет по печати, с просьбой «дать добро». Только тогда и вышла в свет эта книга.

Вообще, размышляя о том периоде истории, глядя на него издалека, начинаешь понимать, что вопиющая разница между словом и делом, достигшая тогда апогея, стала той последней каплей, которая предвосхитила появление острых сатирических и критических произведений. Это была благодатная почва именно для сатиры и критики, которыми общество неизбежно должно было разразиться, как созревший фурункул. Напомню, что тогда появился роман Василия Ивановича Белова «Всё впереди». Сколько желчной, заведомо несправедливой, порой оскорбительной хулы было вылито на голову широко известного писателя со страниц центральной прессы! Самым мягким было обвинение в «изначальной утопичности и ложности посылок» (П. Ульяшов). Как справедливо замечает И. Спиридонова (журнал «Север», № 4, 1987 г.), «на скамье подсудимых автор оказался вместе со своими героями». А все почему? Да потому что Василий Иванович вышел на очень неудобную тему, показав истинное лицо «элиты», в которой «резче всего обозначилась автономность интеллекта от совести» - то есть та замечательная черта, которая позволила ей впоследствии не моргнув глазом предать и растащить великую державу в угоду своим ничтожным и омерзительным интересам.

Я вспомнил роман В. Белова, чтобы еще раз подчеркнуть: публикации такой направленности были уже предопределены, более того, стали возможны, но это отнюдь не гарантировало автору безоблачной жизни, даже такому широко известному и признанному мастеру, как Василий Белов.

Но вернемся к «Поющим глухарям». Итак, система работала, исправно



И. ЛАРИОНОВ - курсант военного училища в городе Канске (Дальний Восток)

крутилось ее главное колесо и тяжелые инерционные маховики, не дававшие ему остановиться. Никто не знал, чем все это может закончиться. Потому, когда роман вышел, о нем печать не сообщила. Как воды в рот набрала. На всякий случай. О романе писалось - но за пределами области. Даже в разделе претендующего на информационность справочника того времени по Вологодчине, посвященного опубликованным книгам и их авторам, доброхоты посоветовали составителям изъять из него упоминание о «Глухарях». Ну и, естественно, об авторе. А все дело в том, что «глухари» узнали себя в этой книге, причем совсем не с той стороны, с которой им бы хотелось войти в мировую историю. Да, о книге известного писателя ничего не сказать было бы нельзя. Неприлично. А если автора не знали, то нужно было поступить мудро: сделать вид, что такой книги нет.



И. ЛАРИОНОВ в буддийском храме, Китай

Именно обстоятельства сознательного умолчания романа заставили А.П. Борисова, друга известного вологодского поэта Александра Яшина, написать: «...Когда вверху не будет «глухариных» песен, то все нижние ступени будут приведены в соответствие с верхней. Хорошо то, что книги такие стали появляться. Критика пока молчит, так как Белинского у нас нет, а имеющиеся критики ждут, кто выступит первый» (из книги Алексея Павлова «Моя судьба - в судьбе Отечества», под редакцией проф. В.В. Судакова, издательский центр Вологодского института развития образования, Вологда, 2006 г.). А.П. Борисов знал, что говорил. Он хорошо помнил совершенно безобидную по современным понятиям повесть Александра Яшина «Вологодская свадьба», за которую маститый поэт подвергся многолетней травле. Так что на подобном фоне ничто не удивляет.

Сказанное относится только к проявлениям окололитературного официоза. Что же касается разговоров за

«рюмкой чая», то их было предостаточно, в том числе и в разных творческих коллективах. Прозвища и клички из романа твердо входили в лексикон читателей. Помню, как один влиятельный и известный человек сказал отцу: «Ходил сегодня к Говорилу-Байко, да кроме трепы и отговорок никакого толку. Разве еще до «самого» Пупина добраться?» (имена героев романа).

А персонажи эти действительно надолго оставались в памяти. Вот Абрашкин - пустозвон, не видящий и не слышащий ничего реального, подобно токующему глухарю. В стремлении исполнить любое указание сверху он превзошел всех. А вот один из «мэтров» - Лев Борисович Говорилу-Байко. «Рубежей не знаете! Рубежей не можете определить! - гремит он. - Без рубежей вы всё завалите. Вот сейчас позвоню Пупину, что он там на вас смотрит?!» А вот и сам великий и непогрешимый Георг Пупин, тщеславный и надменный, изворотливый и хитрый, спокойно шагаю-

щий по костям сослуживцев к верхам олимпа власти над людьми.

Впрочем, пауза умолчания не слишком затянулась. Два года спустя журнал «Север», выходявший тогда 20-тысячным тиражом, опубликовал, наконец, обстоятельную статью члена Союза писателей СССР Владимира Степанова «Реальность гротеска». («Север», № 6, 1987 г.). «В книге Ивана Ларионова, а это сатирический роман «Поющие глухари», выставлен напоказ, на всеобщее порицание сегодняшний карьерист и бюрократ, - писал Владимир Степанов. - Рельефно изображена в нем и сложная механика нынешнего управления промышленным производством. Эти две основные линии как бы определяют идейно-художественное лицо книги. Однако произведение не лишено и социально-психологической окраски, что придает ему большую объемность... Ироническая манера авторского восприятия и изложения, напоминающая Салтыкова-Щедрина, уже прорезалась... Выпукло поданы автором «герои» из ближайшего окружения Георга Пупина. Главный инженер и теоретик Ермолай Пузырев, начальник отдела кадров Адольф Олегович Нутрочерный, занимавшийся ранее охраной государственной собственности, и словно бы двойник, его референт Олег Адольфович Протоковра, в фамилии которого одну букву «о» сослуживцы заменили на «у». Несомненной удачей автора надо признать образ секретарши Пупина Ирины Ведьманской. Ее внутренний мир вырисован глубоко и четко. Это неординарная и вовсе не глупая прислуживающая... Естественно, в конфликт с Пупиным вступают люди трезвомыслящие и честные, действительно болеющие за дело, и в первую очередь начальник технического отдела Андрей Уваров. Он явно противостоит «пупизму», хотя и не кругом положительный... Но едва Уваров, еще не очень уверенно, начал протестовать против методов Пупина, как к нему применяется злобешая «паук-система» шельмования, очень удобная. Когда «кадров много и много законов». Уварова

Иван
Ларионов



снимают с работы, грозятся отдать под суд, против него устраиваются грязные провокации... Правило у Пупина простое: ищи и бей «козла отпущения», тащи его через все органы; крупных работников снимай силой общественного мнения, мнимой, конечно; мелких - своей рукой. Пупин и пупинцы животно боятся потерять власть и посты. Поэтому идут на все... «Поющих глухарей» можно назвать романом подлинно сатирическим и своевременным, злободневным, какой и должна быть сатира. Да, «пупизм» не исчезнет сразу, даже если «Поющих глухарей» прочтут и разглядят в героях романа себя все наши нынешние бюрократы и карьеристы».

Рецензент прав, ведь только внешние обстоятельства быстро меняются у нас на глазах, но на эволюцию сознания творца этих обстоятельств природе придется потратить еще много лет.

Отца радовало, что читатели его роман встретили горячо, а это дорого стоило. Самому писателю запомнился такой эпизод. По работе пришлось ему оказаться на областной партийной конференции. Он, к изумлению своему, увидел в руках у многих сидящих в зале только что поступивший в продажу роман «Поющие глухари». Более того, вместо того, чтоб слушать казенные речи, участники конференции роман его читали! Автора в лицо не знали, и он слышал, как одни восхищались и хвалили написанное, а кто-то громыхал: «Да его (автора) садить давно пора!» И читатели, и автор тогда еще не предполагали, что действительность в скором времени превзойдет самые серьезные разоблачения сатирика.

Да, роман был встречен читателем с искренним интересом. Пропагандист творчества вологодских писателей, краевед, учитель из Никольского района Алексей Павлов закупил десятки экземпляров книги и разослал их как своим друзьям-литераторам, так и в учреждения, которые страдали болезнью бюрократизма, описанной в «Поющих глухарях» (последним в качестве назидания). Об этом он позднее вспоминал в ряде статей, как в своих книгах, так и в газетах, в частности, в «Уездных новостях» (статья «Поющие глухари» Ивана Ларионова, 3.02.2005 г.). Алексей Павлов приводит мнение известного критика Игоря Дедкова (автора монографии о творчестве Федора Абрамова): «В романе Ивана Ларионова действительно много схвачено метко и язвительно. И есть страницы замечательные. Если я выполняю свой замысел написать статью о книгах сатирического направления, то там будут и «Глухари»».

Здесь же А. Павлов цитирует строки из письма читателя Аркадия Никитина: «Книга Ларионова появилась как раз тогда, когда необходимо многим задуматься... сколько чинуш занимают кресла, за которые цепляются любой ценой, не думая об интересах народа и страны. Более того: подчас воображают себя необходимыми

людьми. Недаром автор назвал своего главного героя Пупиным... Чиновничество и методы его управления хозяйством стали национальным бедствием номер один. И это, возможно, понимают те, от кого зависит судьба наша... Каждый номер «Правды» приносит весть одна другой примечательней о вреде «пупизма», и это в какой-то степени защитит Ларионова от официальных гонений!»

Прочитав «Поющих глухарей» взахлеб, я немедленно послал запросы в магазины Архангельской и Вологодской областей с просьбой выслать роман Ларионова наложенным платежом. Уж очень хотелось, чтобы книга «работала» и у других!»

Что касается истории написания романа, то он родился из отдельных рассказов, впоследствии переработанных и скрепленных единым сюжетом. У персонажей были реальные прототипы, и многие из них себя узнали после выхода книги в свет. Повторюсь: автор, услышав от издателя и критиков, что роман является сатирическим, несколько удивился: он его таковым не задумывал, считал обычной реалистической прозой. Лишь позднее написанные два романа сознательно писались как сатирические антиутопии.

К глубокому сожалению, в опубликованном виде роман подвергся серьезным цензурным изъятиям. На многочисленные редакторские переделки и неумелые сокращения, которые нанесли урон художественной целостности произведения, обратили внимание те, кому роман был знаком по рукописи. Кроме того, о многих вещах автору вообще нельзя было говорить открыто. В романе нет ни слова о партийном руководстве, а я хорошо знаю, что именно его (а не рядовых партийцев) и имел в виду отец, описывая перевертышей и мерзавцев, тех беспринципных властолюбцев, кто впоследствии спокойно пустил страну с молотка. Персонаж Олег Нутрочерный - отнюдь не бывший обэзэсник, а бывший провокатор-гэбист, и на новом посту кадровика крупного



предприятия продолжавший по привычке формировать «черные списки» из неудобных. Отец, приходя с работы, рассказывал о кознях реально существовавшего человека, грозясь, что обязательно вставит его в роман. А для меня до сих пор загадка: что ж при неисчислимости тех самых «черных списков» на простых людей и легенде о своем всемогуществе они не обеспечили главного - исполнения воли тех самых простых людей, представляющих трехсотмиллионный советский народ; воли, изъявленной на Всесоюзном референдуме - о сохранении целостности Союза ССР и неприкосновенности его границ? О незыблемости государственного устройства? Почему они не защищали Конституцию, которую никто не отменял? Почему не схватили за руку преступников, совершивших тягчайшие преступления против государства, расстрелявших законную власть? Почему сделали то, что не смог сделать Гитлер? Почему преступники вместо нового Нюрнбергского приговора получили роскошное паразитирование на теле преданного ими государства? Не госбезопасность, а антигосбезопасность получа-

ется. Кстати, именно так и назвал ее И. Ларионов в другом своем романе - «Ротонда». Или же, говоря иначе, безопасность высокопоставленной шайки от собственного народа.

Кроме меня, никто не знает, что означает в романе странное словосочетание «синий энсусиасмус». В переводе с эзопова это - «социалистическое соревнование». Даже такое благодарное дело, но в сатирическом ключе, нельзя было «пускать» в роман. Вот вам и «перестройка» (это к моим словам насчет «оттепели» середины 80-х). И если поискать, в тексте можно обнаружить еще немало подобных вещей.

Я перечитал роман отца уже зрелым человеком, когда давно закончились и социализм, и «перестройка». И он оставил в моем сознании неподдельно сильное впечатление. Это покажется странным - не сатирическим типажом, о чем говорили и писали, не убийственностью фактов, когда «не знаешь, хохотать ли, скрежетать ли зубами». Но чем-то иным, более глубоким - силой душевного переживания, скрытого за маской сатиры, и той горькой правдой, которую нельзя придумать ни при каких обстоятельствах, если не испытать ее сам.

Незадолго до смерти И.М. Ларионова стараниями Натальи Батуриной, заведующей литературным музеем Игоря Северянина «Усадьба Владимировка», в Череповецком музейном объединении создана экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя. Мы познакомились с Натальей Трофимовной летом 1998 года во Владимировке, а это родные места отца. Сидели на берегу Суды, разговаривались. «У нас о вашем творчестве знают, читали. А я теперь вот и лично с вами познакомилась», - сказала она отцу. По ее предложению он передал музею некоторые свои рукописи, фотографии, документы. Уже после его смерти она мне призналась: «Знаете, Иван Михайлович очень напомнил мне моего отца - прямодушный, искренний, с юмором. Но при этом люди их закалки никогда не це-

ремонились с теми, кто вредил России».

2. В КИТАЕ. УЧЕНИК СТРУГАЦКОГО

В жизни Ивана Михайловича Ларионова было много неординарных событий и встреч. Семнадцатилетним юношей он написал заявление в военкомат, чтоб добровольцем идти на фронт. Но его по возрасту не взяли. Тогда он уезжает на Дальний Восток и поступает в военное училище. Впоследствии, получив офицерское звание, служит в военной разведке в Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае - в качестве переводчика с японского и английского языков. На вопрос, почему именно японский язык привлек его, он с улыбкой вспоминал: «Выстроили нас, будущих курсантов, в одну шеренгу, приказали рассчитаться на первый-второй-третий. Первые стали изучать японский, вторые китайский, третьи корейский. Я оказался первым. А обучали быстро, но так основательно, что и через многие годы знания не стерлись из памяти... Уже после демобилизации едем с сослуживцем в московском метро, болтаем по-японски, не без фливорностей - благо, думаем, что нас все равно никто не понимает. Вижу, женщина прислушивается к нашему разговору и улыбается. И потом вдруг произносит на чистейшем японском языке: «Ребята, вы прекрасно владеете японским, но не всегда приличные вещи говорите». Оказалось, профессор института восточных языков».

Японскому языку обучал отца один из знаменитых братьев-фантастов - Аркадий Стругацкий, который в то время преподавал в военном училище в городе Канске. «За элeгантность и популярность у женщин курсанты дали ему прозвище Красавчик», - рассказывал Иван Михайлович в кругу близких (см. статью М. Кубенского «Двое из таинственной школы», вологодская областная газета «Красный Север», 10.12.1994 г., № 233). Много лет спустя они обменялись друг с другом письмами о делах литературных.

Впоследствии отец часто вспоминал службу в Китае, много говорил о братских чувствах, которые испытывали китайцы к русским, восхищался удивительной китайской культурой.

Мне запомнились некоторые его истории.

Из гарнизонной конюшни выбежали лошади, устремившись на городские улицы, многих китайцев покалечили. Вечером к командиру пришла делегация китайцев - но не жаловаться. Они пришли заступиться за русского солдата, отвечавшего за лошадей, понимая, что по суровым законам того времени его может ждать очень серьезное наказание - в городе пронесся слух, что солдата расстреляют. «Он не виноват, что так случилось, - сказали китайцы. - Да и наши все живы».

А однажды у офицера пропали наручные часы. Узнав об этом, китайцы прочесали кварталы, и в тот же день, найдя вора, вернули часы, долго извиняясь. «Вообще воровства практически не было, - рассказывал отец. - Можно было утром на платформе вокзала поставить кожаный чемодан, как я это сделал однажды, а вечером вернуться и забрать его».

Природа Китая тоже не оставила молодого человека равнодушным, особенно красоты теплого Желтого моря. Во время океанского отлива на морском дне открывался поразительный мир неведомых морских обитателей. Однажды он так увлекся его изучением, что не заметил, как далеко отошел от берега. Внезапно начался бурный прилив, едва не стоивший ему жизни.

Однополчанином и другом И.М. Ларионова был вологжанин Владимир Николаевич Сивцов, военный переводчик китайского языка, который, выйдя на пенсию, увлекся «наивным искусством» и стал художником, известным на Вологодчине представителем этого направления. Судьба разбросала товарищей, и они вновь встретились лишь через 42 года - в 1994 году (см. статью «На пути в Братиславу», вологодская областная газета «Русский огонек», 1.05.1996 г., № 16).

После демобилизации И.М. Ларионов закончил Ленинградский государственный университет. Он досконально знал многие пласты жизни советского общества: десять лет работал главным экономистом в одной из крупнейших строительных организаций области - «Облмежколхозстрой», был секретарем партийной организации Вологодского завода железобетонных изделий, много ездил по стране, затем более двадцати лет преподавал экономику в Вологодском политехническом университете.

Кроме «Поющих глухарей» Иван Ларионов написал повести «На новом перевале» (Вологда, «ВОМЗ», 1994 г.), «Оглянись назад» и два сатирических романа-антиутопии - «Чудеса на реке Глумянке» и «Ротонда», которые так и остались неизданными (главы последнего из них печатались в некоторых вологодских газетах). Что ж, путь сатирика розами не был усыпан: этим жанром скорее можно нажать себе влиятельных врагов, нежели приобрести земные блага - причем в любых политических системах и социумах. В этом смысле сатирики чем-то схожи с прорицателями при высоких дворах. Только последних надолго заточали в тюрьму или казнили за пророчества, которые не хотели слышать, а с сатириками, и вообще с критически мыслящими людьми, называющими вещи своими именами, в цивилизованные времена поступают гораздо проще - об их «неудобном» творчестве молчат, желая жить спокойно, и иногда вспоминают - после смерти и смены поколений. Но между тем и как бы то ни было, именно такой взгляд на окружающее и стремление отразить правду способны, в конечном итоге, двигать общественный прогресс. И именно такая позиция, а не своекорыстная конъюнктурщина и позорный конформизм, вызывает уважение.

И.М. Ларионов тяжело, как личную трагедию, переживал умышленный развал Советского Союза, и с глубочайшей горечью смотрел на то, что делали с его страной люди, которые по сознанию и духу стояли неизмери-



мо ниже того поколения, к которому принадлежал он. За рисуемыми им событиями проступает одно - неутрачиваемая боль писателя за мир, который перевернулся. Его сатира лишена издевательств и ёрничества, столь модного теперь. Это слово патриота, сердцем переживающего за то, что творится с его родиной, негодование русского человека, который всегда был против тех диких экспериментов, что проводили над народом навязанные ему дилетанты и предатели. Когда его спрашивали, почему он начал писать, да еще так поздно, отвечал: «От возмущения».

Реалии сатирических произведений Ивана Ларионова хорошо узнаваемы и по сей день. «Вершители судеб» предстают на страницах романов в обличье упырей и прочей «нечистой силы» - образов, рожденных вековым протестным сознанием русского народа, а оружием сатирика остается беспощадный гротеск и сознание, что «не в силах Бог, но в правде».

Олег ЛАРИОНОВ, прозаик

ИВАН ЛАРИОНОВ

РАСТЛЕНИЕ

Не нахожу себе места, мечусь, хочу убежать, но все это обволакивает меня, лезет в глаза и уши. Отторгаю и не могу смириться, мне больно. Сердце тоскливо сжимается и ноет. «Когда опасен час, болит сердце, - мелькает мысль. - Не от злобного мечтания щемит сердце, но от напряжения светлых желаний».

Да, да, да! Я желаю светлого, желаю видеть добрых и радостных людей, освобожденных от мутного, грязного тумана, просветленных, духовно очищенных. И открываю форточку: хочу вдохнуть свежего воздуха. В квартиру врывается зловонная, вызывающая кашель, газовая смесь. Включаю радиоприемник и слышу: «Говорит радио России». Ну, думаю, наконец-то услышу Россию. Но какие-то иностранцы говорят мерзости о моем народе, поют песни на чужом языке, обещают сорокамиллионную безработицу и нищету. Тогда включаю российский канал телевидения. Толстая женщина в пестром платье, шепелявя и кривляясь, изображает мою большую Родину пустой и легкомысленной дурой, а стоящие справа и слева молодцы в элегантных костюмах подыгрывают ей низкопробными частушками «а ля рюс». В зале сидит один из верховных правителей и, довольно улыбаясь, позерски аплодирует.

Выключаю и то, и другое. Не могу, не могу, не приемлю. Беру газету и быстро пробегаю глазами ее страницы. Ни одна статья не успокаивает моего сердца. Лишь усиливаются тоска и боль. Газетчики, словно бы соревнуясь, весело болтают о том, как рушится государство, крошатся его окраинные земли в плотоядные объятия хищно улыбающегося Запада. О, они остроумны, и при этом не забывают сообщить, что кушают на завтрак американские миллионеры и их любимые коты.

У нас уже почти нет теплых морей,

зато удельные князьки из банановых республик спешат в Америку пожать руку своему заокеанскому дирижеру и вещают нам о новой свободной экономике без собственных товаров, и желательно без собственного народа. И лезут в дальние, не загаженные еще уголки оскопленной России мэры, префекты, супрефекты, наместники-компрадоры, вся эта нечестивая муть, которой все равно, что или кого заложить в ломбард, продать, промотать, ибо родина их там, где хорошо платят.

Тоска. Тогда иду в театр. Может быть, здесь найду отдушину. Тем более пьеса - по старой доброй книге, которую читал еще в юности. Но Боже ты мой! Что за подлый негодяй прошелся по ней в угоду временщикам, перевернул все наизнанку, переделал под нынешний «рынок»? Весь первый акт в кровати с визгом и хохотом упражняется голая пара, а вместо людей, кто построил все то, на чем еще держится страна - какие-то лубковые вахлаки-идиоты. Ухожу. Душно. Тошно.

На городской площади приспешники воровской хунты жужжат в мегафон о демократии и всё том же рынке, панацее от бед, вымпеле реформ. Стараются!.. Но я не верю ядовитой лжи продажных говорунов, не верю демправителям. Гадливо пирующее воронье, клюющее поверженные города и веси, сумевшее построить лишь одно - вселенскую дорогу на кладбище. Они нас продали. Мы нищие и бесправные. Мы - почти колония.

Но я знаю, им страшно, что опозоренная, отвернувшаяся от друзей своих страна еще может разогнуть спину, и они спешат, панически спешат разрушить то, что еще устояло, установить заокеанские бомбы на недавно еще нашей земле, чтоб мы продолжали уничтожать сами себя своими собственными руками...

- К власти пришли чужеземцы, дилетанты, воры и предатели! - кричу, бессильно пытаясь заглушить громажающий мегафон. Душно. В горле застревает ком. Прохожие оглядываются и спешат по своим делам. Они не ведают, куда их приведут. Надеются на авось и небось. Верят пучеглазым оборотням-шаманам, отрабатывающим сребреники, которые пахнут чужой запекшейся кровью и которые не

звонят, а стенают гласом проданных, поруганных святынь. И хочется мне или умереть, или разбудить их равнодушные. Зачем?! Очнутся ли? Нет?.. Головы их одурманены. Они еще не все знают это. Но я знаю.

Пусть изопьет горькую чашу каждый, и тогда, может быть, поймет мою тоску и боль, любовь и ненависть.

А пока душно. И я здесь - чужой.

1993 год

ВЕТКА МАЛИНЫ

Я сидел и писал в доме моей матери, в деревне. Никого не было. Тишина. Иногда жужжала муха. Временами бросал ручку, сидел и думал об ушедшем и невозвратном. Становилось больно и одиноко.

И вдруг... Увидел боковым зрением, что в окно, с правой стороны, кто-то заглянул. Мне стало не по себе. Повернул голову направо и долго ждал появления неизвестного. Никто не появлялся. Снова стал смотреть прямо перед собой. И опять заметил движения вдоль окна с правой стороны.

Взглянул - никого нет. Продолжаю писать. И опять кто-то заглядывает. Бросил ручку, повернулся к окну и стал ждать.

Вот она! Ах, вот кто! Оказалось, ветка малины. Меня это несколько разочаровало. Продолжаю писать. Ветер качал деревья и размахивал ветками. Порывами их клонило в одну сторону. Рассматривая кустарник и березы на заднем плане огорода и замечая по ним порывы ветра, ожидал и появления ветки малины, но она не появлялась. Она стояла, прижавшись к стене дома. Садился - и она заглядывала. Я писал и писал... Она заглядывала. И так привык к этому, что стал считать ее каким-то живым безмолвным собеседником, который понимает меня по одному взгляду, без всяких слов. Она чем-то походила на женщину: верхние ветки образовывали завитую голову, группа ли-

стьев создавала подобие лба, глаз и подбородка, раскинутые ниже два стебля - руки.

Шел июнь, двигалось время. Ниже стеблей-рук на стеблях поменьше появились зеленые ягоды. Они ласкались и терлись о стекло. Я смотрел на них и вспоминал что-то, далеко ушедшее и утонувшее в памяти.

На две недели ушел на озеро, в леса. Вернулся и снова сел за стол, ожидая появления своего безмолвного собеседника. И она заглянула... но как-то по-другому. По стеклу ласково двигались две большие, красные и спелые ягоды. Привстал и увидел, что ветка вся увешена ими, но две, двигавшиеся по стеклу, были настолько большие, что я не мог отвести от них глаз. Ветка уходила вправо, уходили и они. Я хотел их видеть снова. Она долго их мне не показывала, но когда хотелось очень увидеть, она потихоньку клонилась влево, и показывала свою розовую красоту и зрелость, кокетливо и как бы насмешливо. Передо мной вставал красивый высокий и зеленый берег большой реки. Теплый июльский вечер и тишина. Стояла она в белом платье и целовала меня долго, долго и нежно... Ее красивые руки обвивали мою шею, и теплые губы, между поцелуями, говорили: «Милый мой, будем ли мы когда-нибудь вместе? Неважно! Запомни этот миг...»

Ее давно не было. Наверное, я стал

грубым, может быть, бесчувственным.

Кокетливая ветка снова и снова заглядывала и звала меня в ту ушедшую молодость...

Как-то мать сказала:

- Коля, смотри-ка, сколько на этой ветке ягод! Сейчас тебе принесу.

- Не надо, мама. Не трогай ее.

- Сынок, все равно опадут.

- Хорошо, мама. Сними, но не трогай вот эти две, - и я указал на стекло.

- Хорошо, не буду.

- Спасибо, мама.

Она принесла мне большую чашку малины и, подавая, сказала:

- Смотри, Коля, какая спелая!

Я ел малину и смотрел на мою ветку. Она уходила, то опять заглядывала ко мне, показывая две пунцовые большие ягодины, которые нежно терлись о стекло, а ветка с листьями как будто улыбалась мне и в то же время тихо насмехалась.

- Коля, гляди, какие ягодины! Съешь!

- Не буду, мама. Пусть они созреют и упадут. Хочу, чтобы много было веток.

- Не надо, сынок. Их и так много. И эти вырублю, а то все сидишь и пугаешься. Ветки все машут и машут. Первая совсем большая стала. На второе окно потянулась, а за ней вторая идет, уже дотягивается до первой.

- Не обрубай их, мама. Пусть растут. Они очень интересные.

- Ладно уж, не буду.

Через год я приехал снова. Ветки были целы. Большая на меня не заглядывала: она ушла ко второму окну, а в моё окно смотрела почти такая же и с такими же ягодами.

Я писал и думал о той и другой, о красивом берегу реки и о той далекой моей любви, так рано ушедшей от меня...

**ст. Комариха Кадуйского района
1985 год**

КОСМИЧЕСКИЕ ГЛАЗА

Молодая женщина лет двадцати пяти от роду стояла посреди небольшого холла и искала кого-то глазами. Я повернул голову в ее сторону, и наши взгляды встретились. На меня смотрели большие темные глаза, обрамленные длинными густыми ресницами. Я видел только их, глаза. Небольшой зал и все остальное пропало. На меня смотрела не она, женщина, а кто-то всепроникающий из глубины космоса, и приглашал приобщиться к его величию, простоте и тайнам.

Это была какая-то бездонная глубина, которая звала меня опускаться все глубже и глубже до бесконечности, но не тонуть, а чувствовать всеми своими эмоциями бессмертность Вселенной, и свою тоже. Глаза были не

беспристрастные: они просто видели насквозь все сущее и сопереживали. Широко открытые, излучали одобрение и любовь, в легком прищуре - праведный гнев и неодобрение. В них сияли бесконечная любовь и гнев жизни, которые соединила мудрость Космоса.

Эти глаза как бы очищали меня от эгоистических мимолетных желаний и останавливали легкомысленные поступки. В них проявлялась живая проникающая мудрость Вселенной или Бога.

Она отвернулась и вышла в дверь, как видение. И теперь, где бы я ни был, на меня предостерегающе смотрят эти космические глаза.

2 марта 1999 года

АЛЕКСЕЙ МАКЛАХОВ

В МИРЕ ВСЁ НЕСОВЕРШЕННО...



На чиновника в обычном понимании этого слова Алексей Маклахов, заместитель начальника областного департамента экономики, не похож.

С первых минут знакомства он покориет обаянием, жизнелюбием, готовностью прийти на помощь. Не так давно Алексей Васильевич открыл в себе поэтический талант. Бывает, раздастся в редакционном кабинете телефонный звонок, и вместо делового разговора в трубке зазвучат стихи, которые Маклахов посвящает родному городу, одинокому страннику, любимому человеку... Может быть, строки эти не совсем профессиональные, не совсем складные, но они передают искренние чувства и настроение автора.

*Осенний день прохладой дышит,
Дождем одаривая всех,
Капризы ветра преподносит
В порыве резвости, утех.*

*Осенний день тепло уносит,
Всё убирая под овин.
Природу к холодам готовит,
Сверкая гроздьями рябин!*

МОЯ ВОЛОГДА

*Заря над Вологдой встаёт!
И в дымке храмы с поволокой.
И колокольный звон плывет
За горизонт земли далёкой!*

*Достойно в памяти храня
Великих предков сотворенье,
София, кремль и купола
Собой являют восхищенье!*

*Узор, резные кружева
Дома и арки украшают.
Как нить льняную мастера
В архитектуре воплощают!*

*Творит природа чудеса,
Явив собою вдохновенье,
Творцы и кисти, и пера
Вершат великие творенья!*

*Рубцов, Белов и Тутунджан!
Алмазы яркого созвездья!
Визитка, гордость горожан,
Души российской отраженья!*

*Ой, вы, пони, пони, пони,
Разнаряженные кони!
Бег по кругу с бубенцами -
Чья-то прихоть, вам - тоска!
Где и как вы в круг попали,
Разнаряженными стали?
Малолетним - на потеху,
Ну, а взрослым - факта для!*

*Для людей вы как игрушки!
Детям вроде погремушки!
А инстинкт свободы вольной
Замордован и забит!
Всяк в оглобли вас впрягает
И хлыстами подгоняет.
Вот отсюда безысходность
И покорность всем и вся!*

*Люди так же, как и пони,
Бег ведут из-за погони.
На свободу и на совесть,
Что им можно, что нельзя!
В мире всё несовершенно,
Относительно степенно!
Каждый может оказаться
В положеньи беглеца!*

*Так что надо быть умнее,
Прозорливей и мудрее!
Тех, кто меньше и слабее,
Обижать мы не должны!
Помнить - жизнь многообразна,
Удивительно прекрасна!
Зло и ненависть сторицей
Возвращаются всегда!*

ДРУЖЕСКИЙ КАЛАМБУР

Ну, вот и Костыгов созрел -
 Давно сидит у важных дел.
 И повседневные скрижали
 В честь юбилея воссоздали
 Зигзаги жизни на пути,
 Что удалось и где пройти?
 Оставить след или уйти?
 От дерзновений, что мечтали
 Построить мир прочнее стали.
 И стройотряды создавали,
 Нюансы жизни изучали.
 Девчат любили, уважали.
 «Десерт» - картошку убирали!
 Область шагами измеряли,
 Когда искали соль земли.
 И Штаты обогнать могли,
 Но янки шанса нам не дали.
 И изучать пришлось детали,
 На Альбион крутить педали.
 Учил английские слова,
 Вкус виски познавал тогда.
 А вечером битлы, видак -
 В Союзе было всё не так.
 Прошел круги «исчадье ада»
 Сказали: Коля, так уж надо!
 Трубил он в Вытегре изрядно,
 Глубинку знает он наглядно.
 Трудился доблестно и ладно,
 Строчил бумаги очень складно.
 И все сложилось удачно.
 По жизни разные печали
 Его терзали и пытали.
 Прошел ликбез в КПСС!
 Больницы, школы, ПТУ -
 Всё подчинялось ему.
 Ночами, днями он не спал,
 Всё добывал и пробывал.
 Сие старанье, как в кино,
 Впустую, даром не прошло.
 Сейчас он в области крутой
 И отвечает головой
 За все текущие дела.
 Куда кривая увела
 Производительность труда?
 Где безработица росла?

И почему ослаб бюджет?
 Где профицит оставил след?
 Когда минуют эти дни,
 Что в кризис нас заволокли?
 В общем, в тяжелые деньки
 Ему приходится идти.
 Так что награды никогда
 Не присуждаются зазря.

ВЕЧЕР

За горизонт садится солнце,
 Сверкая гроздьями лучей.
 И, словно отблески в оконце,
 Играют блики от теней.

Ну, вот и вечер у порога.
 Прохлада покрывает всё.
 В тумане дальняя дорога,
 И тает силуэт её.

Вот только путник одинокий
 Сбивая ноги, башмаки,
 Передвигается в далекий
 Край неизведанной земли!

БЕСЦЕННЫЙ ДАР

На друга можно положиться,
 Он за тебя стоит горой.
 Если судьба вдруг отвернется,
 Не согласится он с судьбой.

Твои чины ему не важны!
 Богат иль беден - всё равно!
 Для друга совесть непродажна,
 Он дарит свет, когда темно.

Друг никогда тебя не ранит,
 Пусть оплошал ты - ничего,
 Плечо свое всегда подставит
 Не подведёт, коль тяжело.

Лукавить, льстить
 тебе не будет,
 Но правду-матку резанёт.
 Он промахи искать не станет,
 И в дар удачу принесёт!

АНАТОЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ

ХРАНИ СЕМЬИ СВОЕЙ РАДУШЬЕ...



Анатолий Анатольевич Подольский родился в Никольском районе, в деревне Подольская. Уже больше 30 лет живет вдали от родных краёв, в поволжской республике Марий Эл: закончил там политехнический институт, да так и остался. Стихи Анатолий Анатольевич пишет со студенческих лет, и большая их часть - о Никольщине, о родной семье, о земляках... Выпустил уже несколько книжек, стихи одобрили известные не только в Никольске люди - поэт Василий Михайлович Мишенёв и Муза Вячеславовна Береснева, которая много лет страстно пропагандирует русскую литературу, особенно произведения земляков.

Я вновь в деревню собираюсь:
Коньяк, подарки - всё в рюкзак.
Нечасто езжу (в этом каюсь)...
Заря в полнеба - добрый знак.
Асфальта блеск и легкий шорох.
Уют машины, тихий блюз.
Журналов, книг ненужный ворох
И сигареты мягкий вкус...
А за окном бегут березы,
Увалы северные в ряд.
Пастух с кнутом, коровы, козы -
Природы вологодской взгляд.
Я тридцать лет уже не дома -
И тридцать лет всегда в пути...
Как нет весной грозы без грома,
Так без истоков нет реки.
Комфорт салона, безмятежье,
Но помню я, как без дорог...
След волока, стога, заснежье,
Пешком - через Дунилов лог.
Изгиб реки, деревня рядом,
Дымок над банькой - ждут меня.
Веранда дома с палисадом,
Где мать с отцом. И - счастлив я.

МАМЕ

Давно покинут отчий дом,
В круговороте дел сгораю,
Но к сердцу подступает ком,
Едва к деревне подъезжаю.
Спокойно здесь, в деревне у тебя.
Ворчишь, похоже, лишь на деда
И обо всех, жалея и любя,
Расскажешь мне в беседе.
Встречать выходишь каждый раз
И провожаешь у порога,
Смахнувши слезы с добрых глаз.

Перекрестишь меня в дорогу.
Попросишь только: напиши,
Передавай поклон жене и детям.
А я в ответ лишь: не грусти,
Наверно, мы приедем летом.
Но редко телеграммы шлем,
Поздравить часто забывая,
Своею жизнью мы живем,
А ты нас ждешь, часы считая.

ДОЧЕРИ

Когда ты маленькой была,
Пешком ходить ты не умела
И только бегала слегка
Или стремглав ко мне летела.
По жизни часто мы бежим,
Ступая вдруг неосторожно.
Не успевая до седин
Понять, что свято, а что ложно.
Но верю я в твою звезду,
В тебя, удач твоих полеты.
Она не заведет во мглу,
Определит, зачем и кто ты.
Любимой будь! Секрет простой,
А смутных грез храни мерцанье,
Шагай с улыбкой озорной
И береги свое призванье.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОТЦА

В тихом доме своем,
Ладно сложенном, чистом,
Умирал мой отец,
Собираясь неблизко.
Телеграммой детей
Вызывайте к живому.
Пусть приедут скорей
Поспешают до дому.
Он позвал нашу мать -

С нею вместе - полвека,
 Не велел ей рыдать:
 «Не дождался я лета...»
 Он по совести жил,
 Не в достатке, но в чести.
 И родных попросил:
 «Соберитесь все вместе».
 Он покой не искал
 И с рассвета - на поле.
 Целину поднимал
 И рыбачил на море.
 В заполярную мглу
 Уходил с караваном,
 Воевал за страну
 В океане туманном.
 Он вернулся с войны
 На никольскую землю,
 Но военные сны,
 Как похмельное зелье.
 Он слезу не скрывал
 В День Победы отныне
 И стакан поднимал
 За погибших в пучине.
 Он детей воспитал,
 Дом уютный построил,
 Старость здесь повстречал.
 Хлебопашец и воин.
 Он наказов не дал,
 Никаких завещаний:
 «Вот и отжил», - сказал
 И ушёл без роптаний.

ЗИМОЙ

Этой первой зимой,
 Что в столетии новом,
 Я вернулся домой,
 Не обмолвился словом.
 Был потерян и зол,
 Не бывал у соседей,
 Сев за праздничный стол,
 Был неловок в беседе.
 Я стоял у реки,
 В лед закованной ныне,
 Всё сейчас не с руки,
 И один, как в пустыне.
 Здесь когда-то давно
 Мы с родными прощались.
 Только жизнь не кино,
 И не все возвращались.
 Ну, а тем, кто теперь
 В городах и в дороге,
 Сентименты, поверь.
 Как иголка в стоге.
 В деревенской тиши,
 Запорошенной снегом,
 Для уставшей души
 Нету лучше ночлега.

Я на всё нагляжусь,
 Что мне свято и мило,
 Отдохну, отдышусь.
 Чтобы жизнь поманила.

Поседевшую мать
 Обниму у порога.
 И присядем опять:
 Не близка ведь дорога.

ВОЛОГОДСКИЕ ДЕРЕВНИ

Холмами вспущена равнина,
 В лазури небеса.
 Стоят далекие деревни,
 Вокруг лишь речки и леса.
 Колодец, хлев, амбар, скворечник
 Увидеть можно не в кино,
 И тает пред иконой свечка,
 Как тыщу лет заведено.
 Вот на мосту шумят мальчишки -
 Прыжок!.. И все уже в реке.
 С гусиной кожей шалунишки
 Сидят потом на островке.
 Народ учтив и добродушен,
 Не любит дурака валять.
 И не его вина, что туже
 Ремни ему затягивать опять.
 А, впрочем, люди здесь простые,
 Им некогда властям пенять.
 Работой, делом занятые,
 Умеют верить, могут ждать.
 На Вологодчине деревни -
 Мои любимые места,
 И, истопив в субботу баньку,
 Живу, как с чистого листа.
 Не встретишь здесь дурного глаза,
 Бывало - двери без замка,
 На Вологодчине деревни -
 Мои любимые места.

ВАСИЛИЮ МИШЕНЁВУ

Я читаю стихи твои грустные
 И опять улетаю туда,
 Где хранятся обычаи русские
 И росой омыты луга.
 Есть места на земле чуть не райские,
 Но милее мне северный край.
 Там дождинки студёные майские,
 И к столу подают каравай.
 Я вернусь на поляны манящие,
 Я приеду побыть у рябин.
 Поднебесные птицы кричащие
 Поплывут в бесконечную синь.

МАРИНА ЖЕЛТИКОВА

НЕ СУДИ МЕНЯ ТЫ СЛИШКОМ СТРОГО...



Марине Желтиковой 18 лет, она родилась и живёт в Череповце, учится в Череповецком филиале Института менеджмента и информационных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Стихи пишет с детства.

ГИТАРА

Ты проснулась, звонница-гитара?
Слышу, слышу струны-голоса.
Ты сыграй мне так, как не играла!
Так сыграй, чтоб слезы на глаза!

Или нет... Разбей мои печали!
Звонким будет каждый твой

аккорд!

И напости все, о чем мечталось.
Ведь никто, как ты, мне не сплет.

А она молчит - не знает будто,
Радость ли, печаль ли мне пропеть.
Выбор сделать иногда так трудно!
Но - мгновенье - и аккордом плетъ!

То вдруг медно-звонко засмеется,
То порою тихо загрузит,
То живой любовью захлебнется,
То предсмертным вздохом захрипит.

Как купаешь сердце ты в истоме!
Как душа, волнуешься, поешь;
Будто что-то ищешь испугленно,
И сама не веришь, что найдешь.

Плакать мне? Смеяться? -

я не знаю:

Все смешалось в музыку одну.
Ну, а ты все так же растворяешь
В каждом звуке счастье и тоску!

Не суди меня ты слишком строго
За мои простецкие слова!
У тебя, родная, струн так много!
Ну, а у меня - всего одна.

Вижу все твои страдания, вижу.
Вижу все метания твои.

Хочешь, я сокру, что ненавижу?
Что ни капли не хочу любви?

Хочешь? Больше я не дам
надежды,

Прогоню, захлопну с силой дверь!
И не поцелую больше нежно.

И не обниму. Ты мне поверь.

Будем мы тогда с тобой свободны,
Ничего друг другу не должны.
И потушим наш пожар голодный,
Каждый - на своем краю земли.

Разойдемся. Пусть всё так
и будет.

Все воспоминания сотрем...
Но на самом деле не забудем,
Как любовь испили мы вдвоем.

Я солгу, что люблю другого,
Опишу стыдливо в пол глаза.
Ты уйдешь, подушку пропитает
Щедра моя горькая слеза.

Ты ушел так тихо.

Ведь захлопнуть

Дверь нет сил. Иди уже... Иди!
А не то услышишь, как негромко
Стон мне горло рвет: «Не уходи!»

Нет тебя, но мне не полегало:
Для тебя для одного жила.
Ночь меня укроет покрывалом,
Скажет: «Вас любовь дотла б

сожгла...»

Не усну. Когда наступит утро,
Ночь убьет безжалостный рассвет.
На губах с запекшеюся болью
Шелест тихий: «Той меня уж нет...»

Душу враз отпустить - вольно.
И плевать на других - просто.
Для себя только жить - сольно.
Никого не жалеть - остро.

Жизнь прожить для себя - ярко!
Никого не любя - сильно!
Задушить, что хранил, - гадко...
На замок запретить - пыльно...

Правду бросить в костер - жарко!
И людей позабыть - можно!
Но себя побережь - жалко!
И не строить путей - сложно!

Разучиться любить - больно.
Разучиться мечтать - пусто.
Разучиться дружить - горько.
Разучиться искать - грустно.

НАВЕРНОЕ

Я, наверное, слишком простая.
Иль, напротив, я слишком сложна?
Для тебя я, наверно, чужая,
И такая тебе не нужна.

Проживу без тебя, наверно.
И, нисколько судьбу не кляня,
Я, наверное, буду верной,
Не тебя, а другого любя.

И, наверно, под самым ухом,
Будет рой ядовитый жужжать.
Эти дикие, глупые слухи
Не позволят, наверно, мне спать.

Ревновать я не буду, наверно.
И умолкнет звериная кровь.
Поступлю я, наверно, скверно:
Не привыкла я клянчить любовь.

Я, наверное, завтра проснусь.
Крестик крохотный теребя,
Я по улице сонной пройдуся.
И, наверное, встречу тебя...

ДЕРЕВЬЯ

Пленники камня,
Горя померанцами,
Тянутся к небу

Корявыми пальцами.
Тянутся - жалкие,
Тянутся - гордые,
Тянутся с грустью и стоном
народными.
Тянутся к Солнцу,
Укрытому тучами,
Но... остаются
Безмолвными кручами.
Пленники тела
И пленники предков...
Жизни пиры
Заменяют объедки.
Не укрываться
И не бороться...
Силы... уходят...
Уже не вернутся.
Вжавшись поглубже
В землю холодную,
Ждут они света
И чуда, голодные.
Ждут и надеются,
Ждут и печалятся,
Ждут... Только надо ли? -
Время кончается.
Улица. Парк. Ветер листья
уносит...
Шепот и... тихо!..
В городе - осень...

Не желаю ни слышать, ни видеть
Я тебя, не хочу говорить.
Я хотела бы возненавидеть,
Чтобы только тебя не любить.
Каждый раз, когда близко
проходишь,
Я смущаюсь... как трудно
дышать...
Я гляжу тебе вслед, и, похоже,
Склонен ты меня не замечать.
Я не выдам ни фразой, ни жестом
Смутных чувств своих
не покажу.
Слово нежное, но неосторожное
Через силу, но все ж удержу.
Тебе лучше не знать... Ни обидеть
Я, ни ранить тебя не стремлюсь...
Я б хотела тебя ненавидеть...
Только, кажется, скоро
влюблюсь...

«Я ВСЕГДА ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОЧЕНЬ ГЛУПО...»

Особенности российской деревни
глазами американского антрополога

Лучшим этнографическим исследованием современной русской деревни последнего десятилетия американские критики назвали книгу Маргарет Пэкссон «Соловьёво» (Margaret Paxson. Solovyovo. Woodrow Wilson Center Press, Washington, DC, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis. 2005).

Антрополог Маргарет Пэкссон в течение нескольких лет приезжала в Россию, в маленькую деревню в Вологодской области из 30 домов, и проводила с российскими крестьянами несколько месяцев в году, работая в поле и в доме, общаясь с их односельчанами. Маргарет изучала не только реалии современной русской постперестроечной деревни, но и такое сложное понятие, как социальная память, передающаяся через устные рассказы сельчан, религиозную практику, верования, космологию, обряды и символику местности. Ещё её интересовал сплав православных и коммунистических традиций, их постсоветская эволюция и роль традиционных календарных циклов в жизни крестьян.

Название деревни и имена героев, как обычно делают антропологи, в книге изменены. С Маргарет Пэкссон беседует Елена ЮШКОВА.

- Мэгги, вы изменили название деревни по вполне понятным соображениям. Но почему именно Соловьёво?

- Соловей для меня - особая птица в ряду моих собственных символов, в моем восприятии поэзии. А мои герои рассказывали замечательные истории о соловьях, поющих майскими ночами, и мне очень нравился этот образ. Ну, и это была просто моя писательская прихоть - хотелось найти красивое название.

- Как вы попали в эту деревню?

- Мне очень повезло. Когда я училась в колледже, моя коллега с фольклорного факультета Санкт-Петербургского государственного университета пригласила меня поехать с ними в экспедицию. Они путешествовали в поисках деревни, где можно было бы собирать информацию, записывать обряды, сказки. С их помощью я и нашла «Соловьёво» и «Юлию» с «Михаилом Алексеевичем». Это было в 1994 году. Потом, когда я стала приезжать туда каждый год, всегда останавливалась в доме у этой семьи. Они теперь почти как мои родители. Готовят мою любимую еду, берут на рыбалку, топят для меня баню.

- Как вы сами считаете, удалось ли вам глубоко проникнуть в русскую жизнь, понять её?

- Думаю, что если вы спросите моих хозяев, то они ответят «нет». Но я всегда их внимательно слушаю. Просто позволяю им говорить и не оцениваю, только иногда, может быть, задаю какие-то уточняющие вопросы, ведь слушать на протяжении долгого времени - это важная часть работы антрополога. Существует многое, что необходимо знать и понимать. Например, как выращивать растения, ухаживать за животными, какие растения подходят для данной местности, то есть чисто технические вещи. Я всегда чувствую себя очень, очень глупо.

- Сравниваете ли вы жизнь в России и Америке?

- И да, и нет. Думаю, было бы уместнее сравнивать, если бы я выросла в сельской глубинке. Есть большое различие между жителем деревни и города. Я росла в настоящем городе размером примерно с Череповец. Но, в отличие от многих детей, живущих там, у меня не было дома в деревне и возможности выезжать туда на лето.

У нас был маленький сад около дома, но там росли только цветы. Конечно, я знаю кое-что об американской сельской жизни, но недостаточно много. К тому же я приезжала в Россию из Канады, где училась в университете. Поэтому я, конечно, не могла особенно сравнивать. Естественно, жизнь в российской деревне сильно отличалась от моего предыдущего жизненного опыта.

- Вы пытаетесь изучать такую сложную сферу, как человеческое сознание, в том числе его религиозную составляющую...

- Эта часть верований и практики наиболее сложна для описания во всем мире, не только в Соловьеве, но и здесь, в Америке, и в Европе, и в Африке - во всем мире, потому что религиозные верования - наиболее ценные во многих отношениях вещи для людей и часто довольно скрытые от окружающих. Подобные вещи многие держат в себе. Может быть, они ходят в церковь, может быть, в синагогу, а может, в мечеть. Может, они католики, протестанты или православные. Но в любом случае это внешняя сторона их жизни. Их частные мысли и чувства спрятаны от окружающих. Мне кажется, разобраться в них - самая интересная задача. И как ученого, и как человека меня больше занимает не просто религия и не то, что религиозные институты предписывают людям, а влияние религии на реальные дела людей. Как религиозные верования проявляются и в плане совершения каких-то ритуалов, и в организации жизни, как они отвечают на их жизненные вопросы - вот это мне более важно как антропологу. Об этом я пишу в главе, посвященной деревенскому колдовству, - «Куда обратиться?» (Михаил Алексеевич, герой книги - народный целитель, или колдун. - **Е.Ю.**). Мне кажется, здесь ещё много работы для ученых.

- Как вы представляете себе своего читателя? Кому адресовано «Соловьёво»?

- Конечно, я чувствовала, что должна написать книгу, которую бы

читали и понимали антропологи. Возможно, ещё историки, занимающиеся проблемами исторической памяти, ну и, конечно, люди, интересующиеся Россией. Но я старалась немного отступить от чисто антропологического подхода, перевести дискуссию и в другие области. Мне очень повезло, что книгу так красиво оформили - сделали прекрасную обложку, иллюстрации. Поэтому, взяв ее в руки, обычный читатель скажет: «Это интересно», - откроет и прочитает историю.

- Это ваша первая книга?

- Да, самая первая. Я писала её очень долго. Начала свое исследование в 1994 году, приезжала в Россию много раз, все тщательно записывала, потом расшифровывала. Диссертацию защитила только в 1999-м: у антропологов процесс защиты особенно долгий. И потом мне понадобилось ещё несколько лет, чтобы это исследование превратилось в книгу.

- Но кажется, что она написана так легко!

- Спасибо за комплимент! На самом деле это было очень и очень тяжело.

- Вы всегда занимались только Россией?

- Совсем нет. Моя магистерская работа в Монреале была связана с религиозным эмигрантским сообществом хинди в Монреале. Те, кого я изучала, - профессиональные ученые: химики, лингвисты и так далее, был даже кардиолог. Я спрашивала, чем для них является наука. В целом довольно техническая работа: просто выслушать описание людей, как они сами относятся к науке. Но еще нужно было увидеть определенные закономерности в их рассказах, определить, где религиозные воззрения пересекаются с профессиональными. Пришлось изучить хинди, не очень, конечно, хорошо, так как интервью проводились на английском. Люди, которых я опрашивала, были не жителями села, а профессионалами. То есть предыдущий профессиональный опыт был тоже совершенно другим - как полевая работа, так и само исследование.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о методах, которые используют антропологи, помимо активного слушания.

- Самый распространенный метод - это так называемое вовлечённое наблюдение. Оно требует много времени и терпения. Главное его условие - нельзя приходить к людям с предубеждениями. Ты должен в любой момент времени быть открытым для понимания того, как сами люди видят мир вокруг себя, чтобы объяснить, как устроен их мир и как они проживают свою жизнь. Почти всё время тебе хочется объяснить всё по-своему. Но главная идея этой методики заключается в том, что в других частях мира всё происходит по-другому. Поэтому ты пытаешься вжиться в новое понимание, избавиться от своих прежних восприятий, изучаешь язык, символы, ритуалы. Изучаешь то, чем люди занимаются. В вовлечённом наблюдении предполагается, что ты делаешь то же самое, что и изучаемые. Нельзя, например, смотреть, как люди работают в поле, при этом есть шоколад и оценивать их работу. Ты надеваешь сапоги, выходишь в поле и помогаешь на сенокосе, чтобы видеть всё максимально близко. То есть познаёшь жизнь через собственный опыт. И всё это должно помочь антропологу понять смысл вещей.

- Вы и корову доили?

- Да, доила. Но сейчас я чувствую себя немного виноватой из-за того, что не делала это каждый день, хотя, наверно, должна была. В принципе, доить научилась, хотя, может быть, и не настолько хорошо.

- Книга и начинается с того, что ваши хозяева убивают корову. И в этом вы видите глубокий символический смысл...

- Да, это очень печальное введение. Лично для меня смерть коровы - событие очень грустное, потому что мне видится нечто очень ценное и прекрасное в той жизни. Но это только моя личная грусть. К сожалению, всё проходит, и мои личные чувства проходят. Конечно, я привязалась к этим людям, к корове, к прежнему образу

жизни, но перемены происходят. Они ни хороши, ни плохи, а просто перемены. Поэтому я просто задаюсь вопросом: что заставляет жизнь действительно меняться?

- А нужны ли перемены?

- Своей книгой я пытаюсь полемизировать с американцами, пишущими о России в последние десять-пятнадцать лет, которые хотят, чтобы Россия стала большим открытым рынком, в ней был капитализм, разнovidность демократии. Но я говорю: подождите! Здесь может быть что-то совсем другое, очень особенное, прекрасное, значительное и сильное, и, может быть, столь быстрые изменения не так уж и хороши для России и не так уж и мудро их приветствовать.

- Вы видите будущее России мрачным?

- Я никогда бы не хотела, чтобы при чтении моей книги сложилось впечатление, что русская деревня - это ужасное и печальное место. И что Россия - потерянная страна. Я верю в Россию. Просто я хотела показать, что это время - переходное и всё, что происходит сейчас, очень глубоко влияет на людей.

Мне кажется, у России - огромный потенциал, потому что в этой стране есть столько прекрасного и могучего. Герои моей книги пережили такие ужасные вещи, которые я не переживала никогда и не знаю, смогла ли бы: война, детский дом, голод, сталинизм. И Юлия, и Михаил Алексеевич, пройдя через эти трудности, создали свою семью, чтобы жить дальше. Какая сила в этих людях! Они вызывают моё восхищение.

- Вы опять собираетесь в российскую деревню?

- Да, но теперь уже на юг России. Но на этот раз, если получится книга, то она будет больше рассчитана на обычного читателя, а не на антропологов и историков.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Институт Кеннана (Центр для международных исследователей Вудро Вильсона), Вашингтон, США

МАРГАРЕТ ПЭКССОН

КРАСНЫЙ УГОЛ

Глава 7 книги «Соловьёво»

Жители деревни говорили мне снова и снова, что иконы в доме - обязательны. С ними «Бог лучше защищает»... Без иконы может произойти что-то невыразимо ужасное. Икона охраняет дом, защищает от болезни и от злых сил, которые могут принести неудачу.

Икона должна быть в доме, но, в отличие от горожан, посещающих церковь, деревенским жителям не так важно, какая именно... Обычно сельчане даже не могли сказать, чей святой лик изображен на их иконе и чему помогают те или иные святые (здоровью или плодородию). Говорили только, что икона большая или маленькая, красивая или старая, но только не для какой цели она предназначена.

...Что же особенного в этой иконе в углу? Что значат эти лица в рамках с печальными глазами, которые смотрят вниз на каждую деревенскую семью? Делая первый шаг в сложное пространство угла, я обращусь к происхождению иконы, для чего мне понадобятся объяснения не только деревенских жителей, но и философов (в основном русских) и теологов, хотя идеалы церковных философов не обязательно имеют отношение к ритуалам обычных людей.

В контексте православной теологии было бы трудно переоценить центральность иконы в богослужении. Православная икона ведет свое происхождение из греческого православия.

...Верующие в России, конечно, являются иконопочитателями... Мес-



Маргарет ПЭКССОН ФОТО ОЛЕГА ЮШКОВА

то вокруг икон неизменно притягивает всеобщее внимание, люди толпятся вокруг икон, зажигают перед ними свечи, говорят с ними и целуют их. Иногда они плачут перед иконами, глядя на лик, изображенный на иконе, в его глаза. Многие обращаются к иконе за исцелением, помощью и надеждой.

...Иконы воплощают небесную божественную красоту... могут восприниматься как проводники святости, но не как носители святости сами по себе...

В Соловьёве мы встречаем представления о том, что нахождение пе-

Маргарет Пэкссон. Соловьёво. История памяти в русской деревне. Центр Вудро Вильсона. Вашингтон, Индиана Университи пресс. Блумингтон и Индианаполис. 2005. - 390 с.

Margaret Paxson. Solovyovo. The story of memory in a Russian village. Woodrow Wilson Center Press, Washington, DC. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis. 2005.

ред иконой заряжает хорошей «энергией», позитивным, освобождающим и просветляющим чувством, которое окутывает человека...

Эмма Дмитриевна: «Когда человек стоит перед иконой, он всегда обращается в мирное состояние, становится добрым, он молится, плачет, просит о чём-то... В церкви иконы старые, и так много людей перед ними молились, что теперь около них столько доброй и хорошей энергии, что даже само нахождение около иконы помогает».

Майя Богдановна: «Выходя из церкви, вы всегда чувствуете просветление... там вы изливаете душу и освобождаетесь от боли».

...Исторически сложилось, что между иконами и дохристианскими идолами существует определенная связь.

...Поклонение иконам, как и идолам, носит характер физический и личностный. Их трогают, целуют, всматриваются в них. Их физическое присутствие необходимо в доме...

Хотя нельзя полностью отождествлять икону и идола только на основании того, что они находились в пространстве угла, но важен факт, что угол должен быть заполнен некой формой, у которой есть сила... Российский лидер... - отчасти отец, отчасти бог, отчасти святой - также располагается в углу.

...В России на протяжении многих лет государство и церковь соединялись в образе царя. После упразднения государственной религии в пользу «священной» доктрины коммунизма люди начали связывать политическое со священным и верили в лидера государства, как в Бога.

Есть много подтверждений тому, что символика иконного лика перекликается с символикой могущественного лидера... хотя, конечно, царь и лидер - понятия не тождественные.

Одно из проявлений лидера - устрашающая, ужасная власть. Изучая представления об Иване IV в фольклоре, ученые нарисовали портрет кровавого, жестокого, психопатичного

царя, который близок образу Дракулы. Рассказы об Иване IV повествуют о терроре (убийство собственного сына, разрушение Новгорода), а затем - о долгих и искренних слезах раскаяния. Само прозвище царя «Грозный», однако, не означает страшный или злой. Многие исследователи считают, что грозное величие (от слова «гроза») - наиболее важный атрибут власти... Иван не осуждался народом за его недостатки, напротив, им восхищались. Даже его жестокость и террор рассматривались как необходимая часть кампании против предателей, которую народ одобрял.

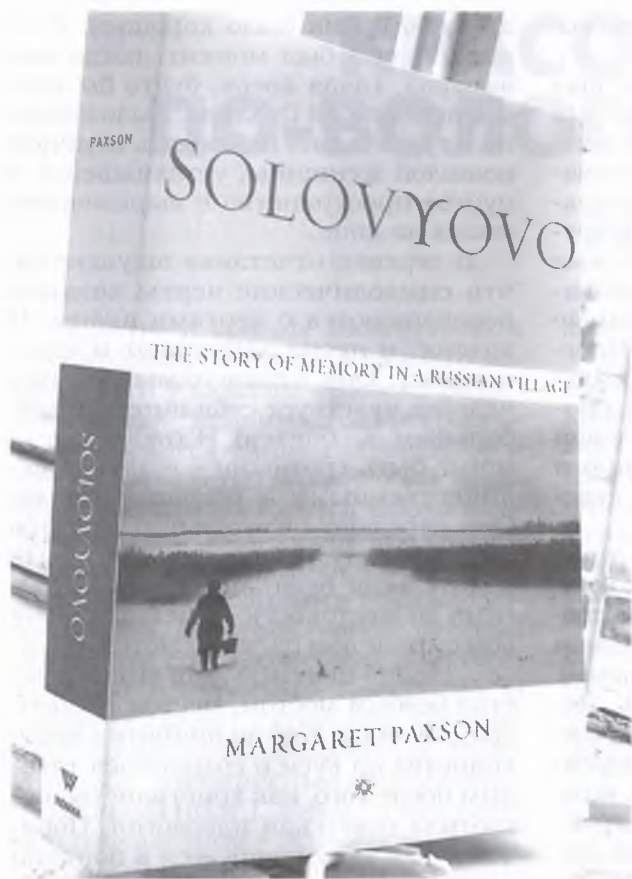
Другой русский царь - Петр Великий - тоже воплощает жестокость и величие, которые конкурировали с жестокостью Ивана IV и Екатерины II, «просвещенной» царицы, которая усугубила тяжелое положение крепостных. Несмотря на невзгоды, причиненные монархией русским людям, сельские жители и по сей день симпатизируют идее монархии. Не случайно в 1990-х годах наблюдалось возрождение монархических настроений, хотя негативные черты царей не изгладились из памяти. Лояльно народ относится и к образу Сталина...

Иконе Пантократора, как и царственным лидерам, тоже присуще такое качество, которое можно определить как «гроза». Христос на иконе суров, вызывает ужас и судит. Такой же репутацией обладали Иван IV, Петр I, Екатерина II и Николай I... Еще одно общее присущее им качество - божественность.

Отчетливо выявляются два типа царей: один - угрожающий и величественный, другой - нежный, чистый, святой, пассивный и часто немощный, как, например, царевич Алексей-мученик. Второй тип царя напоминает другую икону - Умиление.

И могущественный, и кроткий - оба по представлению русских людей должны защищать святую Русь, как отец защищает своих детей. В сельской России царя называли батюшкой...

Сталин, как и царь, которого он заменил, также был властителем дум,



великим вдохновителем террора и великим защитником в патриархальном смысле слова. Культ личности, который он установил в Советском Союзе, демонстрирует его умелое использование российской практики поклонения вождю, которое включало одновременно и нежность, и террор...

Символическая связь между хозяином нации (будь то царь или лидер партии) и иконой заключается в возможности нести благодать и одновременно бороться против оппозиционеров/диссидентов. Как икона, так и хозяин нации защищают и обладают сверхъестественной властью. Эту гипотезу мы проверяли в Соловьёве.

Символика понятия «хозяин» сложна и неоднозначна. Я уже писала о роли хозяина в семье, его правах и обязанностях и власти, ему присущей... Хозяин должен быть не только в доме, но и в городе и в стране. Если

взять «мир чудесного», то мы видим, что хозяин есть даже у леса, дома и амбара. В «лучезарном» прошлом фигура хозяина нации, особенно Сталина-царя, олицетворяла порядок. Социальный хаос и распад... сопровождается отсутствием хозяина... Хозяин связан с таким понятием, как красный угол. Традиционно красный угол ассоциировался с главой семьи (его почетное место располагалось прямо у икон)...

[Автор приводит рассказ одной из своих героинь о жестокости ее отца по отношению к детям. Но его поведение воспринимается все-навсего как строгое. Оправдание его жестокости героиня видит в том, что он хозяин и все вокруг работает на него и для него].

Такая строгость присуща и Сталину - он создает дисциплину и порядок, и, конечно же, террор. Его слово - закон. Он может быть безжалостно жестоким, примерно как гроз-

ный (вызывающий ужас, страшный) царь. Как и у царя, его главная роль - ответственность и защита...

Слово «хозяин» имеет и социальное значение: директор фабрики может быть хозяином, председатель сельсовета тоже. Но все-таки наиболее частое употребление слова, за исключением семейного и метафизического контекста, - это хозяин нации. Все более и более очевидно, что Сталин был настоящим хозяином, и после его смерти люди оказались в ужасном хаосе... «Ельцин - не хозяин»...

Само государство в идеале должно быть хозяином... В контексте «лучезарного» прошлого воспринимаются слова Михаила Алексеевича: «Государство было хозяином. Оно заботилось о каждом». Гостыя деревни из Санкт-Петербурга саркастически прокомментировала эпоху Ельцина 1990-х: «Наше государство кастрировано», - то есть практически лиши-

лось и мужского начала, и хозяйского.

Потенциал «красного угла» не был потерян в советской идеологии. На всех советских предприятиях, в школах, институтах, клубах существовали «красные уголки» (в уменьшительной форме), где находились портреты или бюсты Сталина (пока он жил и правил) и Ленина (выплоть до развала Советского Союза), украшенные знаменами, цветами и лентами. Иногда красный уголок находится в реальном углу дома, но обычно - на пространстве стола, покрытого красной скатертью, с вазами, фотографиями юных пионеров и цветочными сувенирами.

[Автор описывает, как её герои относились к Ленину, считая его вождем и учителем, пели песни, посвященные Ленину, читали стихи «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»].

Ленин - вечный. Он - вождь. Ленин - отец всех народов. Образ хозяина-лидера партии проникал в деревню. Через газеты, телевидение, книги Ленин и Сталин становились практически родственниками. Юлия называла Сталина «дедушкой» - так же, как называли хозяина леса - дедушка лесий.

...Когда я жила в Соловьёве, в клубе все еще сохранялись портреты Ленина, стоящие на почетных местах, в частности, в библиотеке... Никого не смущало, что они находились так близко к религиозным книгам и изображениям.

...Однажды Александра Ивановна задумалась и начала рассказывать об аресте отца «по политическим причинам». Она настаивала на том, что ста-

линское время было хорошим. В её объяснении был момент, когда она замерла, глядя вверх, будто бы увидев перед собой Сталина. Было странно и трогательно наблюдать за лицом пожилой женщины, уставившейся в пустое пространство с выражением ужаса на лице.

В деревне отчетливо ощущается, что символические черты хозяина перекликаются с чертами иконы. И хозяин, и икона защищают и вдохновляют. Они незаменимы (без них человек чувствует себя потерянным, больным, он боится). И тот, и другая могут быть грозными - пугающе величественными и устрашающими. Они передают целительную энергию и грубую силу. Иногда они могут быть родительски нежными, иногда строгими до жестокости. В метафорическом смысле они располагаются в углу.

...Важно отметить, что угол в доме стал особым местом, местом концентрации силы, еще до принятия христианства на Руси и сохранился таковым после того, как христианство поглотила советская идеология. Поражает, как аккумулируется в понятии «угла» сила рода и хозяина и как образы рода и хозяина становятся определяющими для этого символического пространства.

Коллективная память собирается в углу и оттуда влияет на другие коллективные образы и механизмы.

Куда обратиться?¹ Конечно, к этому сложному и многозначному пространству.

**Сокращенный перевод
Елены ЮШКОВОЙ**

¹Вопрос «куда обратиться?» является символическим для автора книги. Так называется глава, посвященная народному целителю (колдуну), который не только врачует тело, но и спасает душу своих односельчан.

КРАСОТА ПО-ВОЛОГОДСКИ

**И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую.**

Н.М. РУБЦОВ

Понятие о красоте своеобразно и неповторимо не только у каждого народа, но и у каждого человека [Яцкевич; Bick]. В понимании прекрасного отражается самое сокровенное и интимное чувство души. Но вот парадокс: все, кто пользуется одним языком, обычно обозначают эти своеобразные и неповторимые представления о красивом одними и теми же словами. Так, в литературном русском языке это слова *красивый, красота, красиво, прекрасный, прекрасно*. О человеке скажут - *красавец, красавица, хорошенький, миленький, милый, интересный, пригожий, смазливый* (разг.), *хорош*; о предмете неодушевленном - *живописный, благолепный* (устар., книжн.) и т.д. По данным толковых словарей и словарей синонимов русского языка, подобных слов в литературном русском языке отнюдь не так уж много. Хотя обычно люди пользуются одними и теми же немногочисленными словами, каждый, не довольствуясь только теми различиями, которые характерны для значений указанных выше слов, вкладывает в них свой смысл, своё понимание красоты.

К счастью, есть поэты - хранители красоты. Поэтические образы прекрасного бесконечно многообразны и многогранны в русской литературе. И вологодские поэты, воспевающие, например, красоту русской зимы (Н. Рубцов, Н. Сидорова), по-разному чувствуют и изображают эту красоту. Можно даже полагать, что каждый из них заново, по-своему открывает для читателей мир прекрасного.

Хранителем народных представлений о красоте является и лексикон русского крестьянства. При чтении

диалектных словарей бросается в глаза почти необозримое богатство слов, обозначающих понятие красоты и её проявления. Так, в «Словаре вологодских говоров» [СВГ] содержится 173 слова, которые связаны с представлениями о красоте. Перечислим эти слова в алфавитном порядке, а затем рассмотрим особенности значения и употребления некоторых из них.

Бажёный, бас, баса, басила, басить, баситься, баско, баской, басота, басуля, басунья, басченье, бело, белорудый, бодрильно, бодриться, бодро, бодрунья, бодрый, важный, вылюдный, выряд, выряда, выраженье, вырядный, гладкий, глянуться, гоже, гоженный, дельно, дивоваться, доб, добристый, дородный, етистый, жаровый, задорный, знатный, краса, красава, красавичка, красовито, красовитый, красуля, лепота, любкой, любовью, любота, любушко, любый, милогляденький, миланка, милой, милотелый, милоха, миляш, модиться, набаситься, набаско, набашаться, наглядёнок, нарядить, наряжать, наряжонка, наряжуха, настоящий, обрядно, отважный, перебасить, перебаситься, перебаска, перебасиваться, перебасить, пестро, пестряк, побасить, побаситься, побасулина, побасулька, побасуля, побасы, подбасить, подбаситься, портретистый, поубасить, похорошеть, прибаса, прибасулинка, прибасулька, прибойный, пригожанка, пригожунчик, примудрушка, причудно, раженький, ражий, ражный, разбасить, рахманный, ражо, рылистый, сколоченный, славёна, славник, славница, славный, славутник, славутница, славутный, снарядно, справный, срядиться, станистый, статистый, стойный, суражий, талимый, талистый, тодель-

ный, толстомордый, толсторожий, толстохарий, убантить, убасить, убасывать, убашать, убористый, уборный, уборно, угожий, украсивый, украсисто, украстивый, украшивый, уладить, уладиться, уливать, умодить, уредный, урядный, уряжуха, утеха, уторно, уторок, уторочить, ухорашивать, ушленький, фартово, фартовый, фигуристый, форсистый, форсистовый, форсить, форсливый, форсно, форсяк, форшеватый, фофониться, хап, хлётко, хорить, хорошавый, хорошать, хороший, христовский, хромовый, хротный, цветный, целоможный, чаровник, чепуриться, шпукарно, юртовой, ятный [СВГ].

Представьте себе: и это ещё далеко не все слова, которые используются для обозначения красивого жителями вологодских деревень! Так, в «Словаре вологодских говоров» и приведённом выше списке зафиксировано 36 слов с корнем -бас- (бас, баса, басила, басить, баситься, баско, баской и др.), однако реально таких слов в говорах гораздо больше. В экспедициях 1998-2000 гг. в Кирилловский и Сямженский районы Вологодской области студентка Т.В. Лебедева зафиксировала и другие слова с этим корнем, затем прибавила к ним данные «Словаря русских народных говоров», в котором также отражена вологодская речь, и в результате составила гнездо слов, насчитывающее 88 единиц [Лебедева]. Начнём описание диалектных слов именно с этого наиболее многочисленного по своему составу гнезда.

БАСКОЙ, БАСА, БАСОТА

Слова баско, баской, басота знают все коренные вологжане. Это типично вологодские слова для обозначения красивого. Ими пользуются и некоторые вологодские поэты и писатели. Так, Николай Алексеевич Ключев в широко известной поэме «Погорельщина», оплакивая разорённую красоту северной деревни, постоянно использует слова баско, баской: *Порато баско зимой в Сиговце, По белым избам - на рыбьем солнце!*

*Порато баско зимой в Сиговце!
Снега как шапка на устьсысолице...
В зиму у нас баско -
Деды бают сказки...*

Встречаются анализируемые слова и у Василия Ивановича Белова. В его повести «Деревня Бердяйка» читаем: «Нюшка у них жила, племянница-сирота. Добра была, красивая. Так Офониha, бывало, и скажет: «Иван, а ведь Нюшка-то у нас баская».

В словообразовательном гнезде, образованном от исходных слов бас, баса, очень продуктивна словообразовательная синонимия. Так, по данным «Словаря вологодских говоров» и «Словаря русских народных говоров», в этом гнезде выделяются следующие синонимические ряды:

1. «Красота» - баса: Для басы наде-ла-то. (Кир.); Какая баса! Я не ушла бы, всё глядела бы (К-Г. Мин.); басота: Какая здесь басота у нас! (Влгд. М. Гор.) [СВГ 1, 22 - 23].

2. «Красивый, нарядный, хороший» - баской: а) о человеке: Девка-то шибко баская, а замуж штё-то доУго не идёт (К-Г. Рудн.); б) о животном: Эта-то кошечка шибко баская (Хар. Леб.); в) о предмете: Баской сарафан-от был, на лямках, с узорами (Тот. У-Печ.); Сбруя-то экая баская, а дуга ишишо баце (Вож. Вас.) [СВГ 1, 22 - 23]; басистый, басковый [Лебедева].

3. «Красиво, хорошо» - баско: а) об одежде, нарядах: Баско ведь и мы на праздник-то оболокались (Ник. Куд.); б) о погоде, природе: Ой, сколь баско сёводни на улице-то! СоУнышко выглянуло (Верх. Якун.) [СВГ 1, 22]; басковито, басно, басочно, басенько, баса, басёничко, басенько [Лебедева].

4. «Украшение» - бас: «резное украшение на окнах дома, на наличниках»: Топерь-то эдаких басов на окнах уж не делают (Сок. Чекш.); басуля: «предмет, служащий, чтобы украшать кого-либо, что-либо; украшение»: Ей жених-от всё басули покупает, дарит. (В-У. Фал.) [СВГ 1, 23]; побасулина: Из церкви побасулины эти принесёны. Тогда церкву нарушали, дак давали. Я сама купила краски да обвела. Побасулины тоже у шкон были (К-Г. Плоск.); побасулька: На платъе побасульку пришью

(К-Г. Курил.); *Шкал-то этот сам делал, вишь, с какими побасульками, побасульки эти для красоты* (К-Г. Плоск. + Нюкс.) [СВГ 7, 72]; *побасуля: Всё старые люди делали с побасулями* (К-Г. Коск.); *побасы: Кофты шили, дак побасы на них насадишь всякие* (Баб. Никол.) [СВГ 7, 72]; *басенька, басеть, бась, басьё, басы, басина, басына, побаса* [Лебедева].

5. «Красиво, нарядно одевающаяся женщина; щеголиха» - *басуля: Ну-ко, басуля какая, как нарядилась* (К-Г. Кирк.); *басунья: Басунья девка, любит наряды* (Ник.) [СВГ 1, 23]; *побасулька: Ишь, какая Валя побасулька, загляденье* (К-Г. Плоск.) [СВГ 7, 72]; *басёна, баскала* [Лебедева].

6. «Щеголь» - *басалай, басана, басёна, басыла, басыло, басина, басыха, баскала, баскалыга, басун* [Лебедева].

7. «Наряжать(ся), красиво одевать(ся)» - *басить: Доцьку-то она свою басит, лучше всех одеват* (К-Г. С. Гора) [СВГ 1, 22]. Зафиксированы также глаголы совершенного вида: *побаситься: Побаситься охота было, а годы были такие, что не побаситься* (Влгд. Филют.) [СВГ 7, 72]; *выбаситься: Выбасится и в клуб идёт* (Верх. Елис.) [СВГ 7, 72]; *прибасить, разбасить, убасить* [Лебедева].

8. «Украшать кого-, что-либо» - *басить: Узды-то басыт, бывало, лентам* (Влгд. Сев.); *У нас раньше-то всё дома басыли, а нонче так строят* (Сок. Чекш.) [СВГ 1, 22]; *побасить: Сарафан-то ещё нужно чем-то побасить, то лентами, то бисером* (Тарн. Красн.) [СВГ 7, 72]; *выбасить, избасить* [Лебедева].

Особо следует отметить фразеологизм *баская костка*, который в Кич.-Городецком районе употребляется в двух различных значениях: 1) «вкусная косточка»: *Баская костка - когда разбирают студень, дак дети садятся и лижут. Им дают косточки, дак скажут: На-ко баскую костку, дак лижи* (К-Г. Навол.); 2) «женская статность, породистость»: *А вот, говорят, что-то есть в ней, какая-то баская костка. Не красивая, а хорошая. Скажут: У неё есть баская костка* (К-Г. Навол.).

Наличие в «Словаре вологодских говоров» большого количества синонимов свидетельствует о том, что данное гнездо слов является живым на Русском Севере. Однако следует отметить, что, судя по примерам, все слова с корнем *-бас-* определяют внешнюю красоту человека, предметов быта, природы, а более абстрактное значение у них не получило развития. Это обусловлено этимологией данного корня. Относительно его существует несколько этимологических версий: 1) заимствование из скандинавских языков, 2) заимствование из коми языка, 3) слово индоевропейского происхождения, родственное с др.-инд. *bhasas* «свет, блеск», *bhasati* «светить, блестеть» [Фасмер 1, 129 - 130]. О. Н. Трубачёв считает, что основа *bas-* «нуждается в более широкой этимологической трактовке» [ЭССЯ 1, 162]]. Учитывая наличие в говорах двух разных значений у слова *баской* - «красивый» и «говорливый», а также сравнивая с лат. *fas* (**ba-s*) «божественный закон» и др.-инд. *bhasate* «говорит», он сближает это слово с *bajati* I, II и считает, таким образом, что в основе этих лексем лежит единое и.-е. *bha-* «сиять», «говорить» [ЭССЯ 1, 162]. Гнездо слов с общей семой «красота» сохранилось в основном в северных говорах. В ЭССЯ приводится также сербохорв. диал. *pačas* «красиво, превосходно» и укр. *баский* «резвый, ретивый, рьяный», «ретивый, резвый (о коне)» [ЭССЯ 1, 162].

БЕЛЫЙ

Слово *белый*, имеющее соответствия во всех славянских, а также в других индоевропейских языках (например, в кельтском *belos* «светлый, блестящий») также, как и рассмотренные выше слова с корнем *-бас-*, этимологически восходит к и.-е. *bha-* «говорить», «сиять» (ЭССЯ, II, 79 - 81). Как цветообозначение слово *белый* имеет очень продуктивное словообразовательное гнездо и в говорах, и в литературном языке. Одна-

ко если в литературном языке значение “красивый” не получило развития в этом слове и производных от него словах, то в говорах такое значение есть. В словаре В. И. Даля читаем: *белянчикъ, белянка, беляночка, беляюшка* обл. арх. “белолицый, чистый лицом”; // “белокурый, светлорусый”; // ласкат. “красавчик, пригоженький” [Даль 1, 154]; *белоголовица* смол. “красотка, красавица” [Даль 1, 156]; *белотелець* “прозвище, данное ярославцам”: *ярославцы красавцы, белотельцы* [Даль 1, 157].

В вологодских говорах у слов с корнем -бел- также есть значение “красивый”, “красиво”. В «Словаре вологодских говоров» приводятся такие примеры: *бело* “чисто, опрятно”, а значит, и “красиво”: *У их всегда бело в избе, баско* (В-У. Лод.); *белорудый* “белолицый”, а значит, и “красивый”: *Парень-то белорудой, баской* (Баб. Юрк.); *белый* “белолицый” (Грязн. Жерн.) [СВГ 1, 28 - 29].

Во всех рассмотренных случаях эти слова обозначали внешнюю красоту человека, его одежды, обстановки. Однако в древнерусских текстах белый и производные от него слова включали в своё значение понятие духовной красоты и Божественной благодати: *белообразоватисА* “сиять белизной” (здесь - “очищаться при крещении”) [СДЯ 1, 362]; *белыи* образн. *И оувидевъ того брата исходяща из цркви всего бела дшею и светла лицемъ; аще и муринъ еси телом. Дшею белъ буди.* [СДЯ 1, 363]. В этих употреблении слова белый проявляется христианский идеал красоты. Как писал святой Тихон Задонский, «Христос есть красота для человека» [Симфония: 433].

Не случайно в Тотемском районе Вологодской области зафиксировано употребление слова *христовский* в значении “праздничный, нарядный (об одежде, обуви)”, а значит, “красивый”: *Христовские туфли-те одеваешь. Всё, как хорошие, дак всё христовские звали* (Тот. Погор.) [СВГ 11, 210].

ДОРОДНЫЙ, РАЖИЙ, РЫЛИСТЫЙ, ТОЛСТОМОРДЫЙ, ТОЛСТОРОЖИЙ, ТОЛСТОХАРИЙ

В крестьянской жизни, наполненной каждодневным тяжёлым физическим трудом, красивым считался человек здоровый, крепкий, сильный, выносливый. Такое «трудовое» понимание красоты мы находим и в ряде вологодских слов. Так, в Кич.-Городецком районе красулей называют полную девушку [СВГ 3, 122]. В Кич.-Городецком, Никольском, Тарногском, Тотемском и Харовском районах красивых девушку или парня называют *дородными*: *Жених-от у моей доцьки шибко дородный* (Ник. Куд.); *Наша молодушка красивее, дороднее, всех поросливее* (К-Г. Навол.) [СВГ 3, 48].

Слово *ражий* значит не только “здоровый сильный”: *Вон у Матрёны парнишка какой ражий, сильный: и метать умеет, и косить* (Гряз. Истоп.), но и “красивый, привлекательный”: *Не больно ражий парень-то, ростом мал.* (Влгд. Лобк.); *раженький*: *Больно раженького паренька-то нашла* (Сок. Нар.); *ражный*: *Ражная девка-то какая* (У-К. Лыва) [СВГ 10, 5].

Рылистый - “отличающийся привлекательными чертами лица”: *Баба-то была рылистая, и на селе-то её любили* (Сямж. Рам.) [СВГ 10, 76].

С точки зрения литературной нормы и современного городского представления о красивом человеке слова *толстомордый, толсторожий, толстохарий* кажутся грубыми, в них даётся отрицательная характеристика внешности человека. Однако в вологодских говорах эти слова живут другой жизнью и имеют совершенно иной смысл: *толстомордый* “круглолицый”: *Толстомордые мужики считались баскими* (В-У. Селив.); *толсторожий, толстохарий* “то же, что толстомордый”: *Толстохарий всё равно что красивый* (В-У. Селив., + Влгд., Ник., Нюкс., Тарн.) [СВГ 11, 36], *краснорожий* “румяный”: *Краснорожий, пригожий парень-то был, да умер*

(Сямж. Рам.); *Вот выпивай каждой день по чашечке молочка, дак и будёшь большой и краснорожой* (Сямж. Рассох.) [СВГ 3, 120].

Подобное употребление этих слов объясняется не грубостью нравов, а тем, что в северных говорах нередко - и в данном случае тоже - сохраняются исторически первичные, архаичные значения слов. Слова *морда, рожка, харя* первоначально были стилистически нейтральными и не имели грубой, пренебрежительной окраски. Так, слово *харя* до сих пор в Кич.-Городецком и Сямженском районах употребляется без всяких дополнительных эмоционально-экспрессивных оттенков для обозначения шеи и верхней части груди: *Раньше парничок-то изладится, пуговицы все застегнёт, а нонче ходят - и харя полая*. (К.-Г. Барак.) [СВГ 11, 180]. Наш информант Ольга Андреевна Валькова, учительствовавшая в 50-е годы в деревне Голузино Сямженского района, с улыбкой вспоминала, что когда-то обиделась на свою квартирную хозяйку. Девушка собиралась идти в школу, а женщина вдруг сказала: «Закрой харю-то, метель ведь на дворе», - подошла к ней и сама решительно закутала шарфом шею и грудь.

ВЫРЯДНЫЙ, НАРЯЖАТЬ, УРЯДИТЬ, УРЯЖУХА

На праздник в вологодской деревне любят красиво одеться, поэтому в вологодских говорах много связанных с этим слов. Ряд таких слов мы привели выше, когда рассматривали гнездо слов с корнем -бас- (*басуля, басунья, выбаситься, побаситься* и др.). Здесь укажем слова с корнем -ряд-. Так, праздничную красивую одежду называют *выряд*: *К Троице наде было выряды припасти* (Сок. Кокош.), *выряда* (Вож. Вас.), *выряженье* (Сямж. Георг.), *снаряд* (Шексн. Квас.).

Красивую праздничную одежду называют *вырядной*: *Сарафан-от вырядной баской был* (Ник. Ник.). *Красиво одеть, сделать нарядным, красивым - урядить*: *Тебя бы урядили на свадьбу-то* (У.-К. Нов.).

Красиво, празднично одетую женщину или девушку назовут *наряжуха* (Влгд., Вож.), *наряжонка* (Влгд., Баб.), *уряжуха* (Сямж. Короб.).

Значение «украсить» имеют слова *улизать*: *Вон дедко-то как улизал свой домик* (Влгд. Пер.), *нарядить*: *Коня-то в масленицу нарядят да и катающе* (Сок. Васил.).

КРАСА, КРАСАВА, КРАСОВИТЫЙ, УКРАСИВЫЙ, УКРАСИСТЫЙ, УКРАСТИВЫЙ, УКРАСТИВО

В вологодских говорах много слов, обозначающих природную красоту человека, животного или красивый внешний вид предмета: *красава* «красавица»: *Вон утоцька приплыла, вот какая красава* (Хар. Ник.); *красовитый* «красивый»: *Дом выстроили красовитый, с вырезами на окнах, опушённый и покрашенный* (Тарн. Ил. Погост) [СВГ 3, 118, 121]; *украсивый* «красивый, приятный внешним видом»: *Он-то не больно украсивый, дак ей и не нравится* (Сямж. Грид.); *украсистый* (Сямж. Георг.), *украстивый*: *Уж какая деУка-то у него украстивая* (Верх. Боров.) [СВГ 11, 117]. *Красовитыми, украсистыми* называли девушек и парней справных: *Я её вчера видела, девка справная, пригожая стала, поди, замуж скоро пойдёт* (Баб. Вас.), *статистых, станистых «стройных»* [СВГ 10, 104, 118, 123], *обиходных, урядных* «любящих порядок, чистоплотных» (Хар. Кумз.), ср. *обиходный* в [СВГ 5, 121; 11, 142].

Слова с корнем -крас- в вологодских говорах убедительно свидетельствуют о том, что крестьяне считают красивым. Во-первых, красивым для них является солнечный ясный день, каких на Русском Севере не так уж и много в году: *красиво* «солнечно, ясно»: *Было бы красиво на улице, по доле бы погостила* (Сямж. Монаст.); *красить* «светить (о солнце)»: *Солнце-то ныне не красит* (Влгд. Лев.); *красновитый* «ясный, погожий»: *День-от красновитой какой* (Баб. В. Двор), то же значение у слова *красовитый*:

День-от был до того красовитый, все на славу поработали на сенокосе; Утро красовитое, так и день хорошей будет; Погода-то красовитая летось стояла (Сямж. Монаст.); красовито: Хоть красовито на улице, но не тепло (Тарн. Коротк.) [СВГ 3, 120 - 121].

В солнечный день бывает весело, особенно молодёжи, поэтому слово красовитый на Севере значит также “весёлый”. У Николая Клюева это слово употребляется именно в данном значении: Ты, размыкушка-гармоника, Про судьбину расскажи: Во незнаемой сторонкуше Красовита ли гульба? («Недозрелую калинушку...»). А в «Обидном плаче» поэт, развёртывая перед читателями красочную картину крестьянского праздника, использует это слово сразу в двух значениях - “красивый” и “веселый”:

*В красовитый летний праздничек,
На раскат-широкой улице,
Будет гульное гуляныще -
Пир - мирское столованьще.
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые,
У дородных добрых молодцев,
Мигачей и заливчатчиков,
Перелетных зорких кречетов.
Будут шапки с кистью до уха,
Опояски соловецкие,
Из семи шелков плетенные.*

Во-вторых, красивым был свадебный обряд, с которым в вологодских говорах связаны такие слова, как красованье “причитания невесты около стола с украшенной ёлочкой (красотой)”: *Когда красованье проходило, плакала невеста шибко (Межд. Свят.); красоваться* “(о невесте) ходить перед гостями с причитаниями”: *Ходили по улице, красовались на девишнике, и причётница с ней ходит (Сямж. Рам.).* В свадебном обряде слово красота употреблялось в разных значениях: 1) “ленты, цветы из бумаги или ткани, которые невеста дарит подругам; цветы мог привозить на свадьбу жених, они прикалывались на платье”: *Невеста каждую девушку красотой одаривала (Сок. Кокош. + Межд., В.-У., Влгд., Ньюкс., Сямж., Тарн., Тот., У.-К., Хар.);* 2) “украшенная лентами, бусами ёлоч-

ка, которую жених готовил к свадьбе”. Называли её ещё и девья красота (Межд. Стар.): *Невеста и ходила вокруг красоты (Межд. Свят.);* 3) “Головной убор типа кокошника из светлого атласа, украшенного бусинками, который надевали невесте в день свадьбы”: *Потом красоту станут одевать (Ник. Дем.), А красота-то у меня, помню, была баская (Кир. Устье);* 4) “день перед свадьбой”: *А в красоту девка ревет (Ник. М. Стар.) [СВГ 3, 122].*

Как уже отмечалось выше, понятие о красоте народ соединял с представлением о здоровье, сильном природном начале. Так, в Верховажском, Тарногском, Сокольском, Тотемском районах слово красный значит “здоровый, полный сил (о человеке)”: *Ой, она и красна, здорова (Верх. Якун.); Она что? Красна, может робить (Тарн. Рамен.). [СВГ 3, 120].*

Все рассмотренные выше значения слов с корнем -крас- являются древними и подтверждают их этимологию. Известный этимолог О.Н. Трубачёв, учитывая исследования Ф.Ф. Фортунатова и Бернекера, указывает на производящие глаголы *kresati, *kresiti “создавать, творить” и на имя существительное *kresъ “летний солнцеворот”. О.Н. Трубачёв приходит к выводу, что «семантически *krasa убедительно реконструируется как “цвет жизни” > “красный цвет (лица)” > “цветение, цвет” > “красота” [ЭССЯ 12, 97]. В.В. Колесов эту семантическую эволюцию представляет в более отвлечённом виде: “сильный, могучий” > “цветущий, здоровый, зрелый” > “яркий, красочный” > “хороший по качеству” > “красивый” [Колесов: 193]. Автор считает, что слово красивый по мере развития отвлечённого представления о красоте стало вытеснять слово красный, которое с начала XVI в. стало употребляться только для обозначения цвета [Колесов: 195].

БОДРИТЬСЯ, БОДРО, БОДРУНЯ, БОДРЫЙ, БОДРИЛЬНО

Слова с корнем -бодр- в вологодских говорах обозначают всё, что кра-

сиво. Так, глагол *бодриться* значит “то же, что баситься”, т.е. “красиво” (одеваться, наряжаться): *Молодые-то были, дак бодрились, любили наряжачья* (Верх. Якун.); *бодро* “то же, что баско”: *Бодро-то как нарядилась* (Тот. Лев.); *Бодро-то не ходила, всё в лаптях да онучах* (Верх. Харит.); *бодрый* “нарядный”: *Бодрая, девка, у тебя рубаха-то* (Тарн. Коротк.); *бодрунья* “нарядно, красиво одетая женщина, щеголиха”: *Я в девках такая бодрунья была* (Верх. Якун.).

О ясной, солнечной погоде говорят *бодрильно* “то же, что баско”, т.е. “красиво, хорошо”: *Погода установище, дак эдак бодрильно будёт* (Вож. Сурк.) [СВГ 1, 35].

СЛАВЁНА, СЛАВНИК, СЛАВНИЦА, СЛАВНЫЙ, СЛАВУТНИК, СЛАВУТНИЦА, СЛАВУТНЫЙ

В д. Камешник Шекснинского района в употребляют выражение *жить на славе* “быть широко известным, знаменитым”: *Она ведь раньше на славе жила* [СВГ 10, 41 - 42]. Красоту как природный дар не спрячешь, она видна всем, поэтому красивые девушки и парни назывались словами, однокоренными со словом *слава*: *славёна, славник, славница, славный, славутник, славутница, славутный*: *ДеУки на гулянье пойдут, дак все такие славницы, нарядные да красивые* (Сямж. Монаст.); *Обноски носила, а всё славнуха была* (Гряз. Жерн.) [СВГ 10, 42 - 44]. Это гнездо слов более подробно уже было рассмотрено в статье Л.Ю. Зориной [Зорина], что избавляет нас от необходимости говорить здесь о нём подробнее.

ЛАД

Если слова с корнем -бас- отражают в своём значении внешнюю красоту, то слова с корнем -лад- выражают более глубокое понимание красоты как порядка, согласия, гармонии.

Убедительным свидетельством того, что понятие “красота” особым образом присутствует в содержании слова лад, является название книги В. И. Белова «Лад. Очерки о народной эстетике» [Белов]. В предисловии к книге автор рассуждает о многогранной сложности и одновременно простоте и цельности этого понятия: «Мир для человека был единое целое. <...> Ритм - одно из условий жизни. <...> Всё было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось своё место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от красоты. Мастер назывался художником, художник - мастером. Иными словами, красота находилась в растворённом, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии» [Белов: 7].

Рассуждения В.И. Белова о свойствах вологодской красоты словно перекликаются со своеобразием семантики слов, обозначающих это понятие в вологодских говорах. Спектр обозначений понятий “красивый”, “красота” в этих говорах весьма широк, что, безусловно, вовсе не случайно и, более того, идёт вразрез с широко бытующими утверждениями, что в диалектах чрезвычайно развитым является слой лексики с негативной семантикой. В диалектах, как мы убедились, много материала, отражающего красивые стороны жизни. Большая заслуга составителей «Словаря вологодских говоров» и собирателей для него диалектного материала состоит в том, что эта красота теперь зафиксирована.

Л.Ю. ЗОРИНА,
кандидат филологических наук,
доцент
Л.Г. ЯЦКЕВИЧ,
доктор филологических наук,
профессор

ЛИТЕРАТУРА

- Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике. - М., 1982.
- Зорина Л. Ю. Славёны и славутники в традиционной и современной культуре Вологодского края // Мир вологодского крестьянина в зеркале родной речи / Гл. ред. Г. В. Судаков. - Вологда: ВГПУ, 2004. - С. 78 - 87.
- Иссерлин Е. М. История слова красный // Русский язык в школе. - 1951. № 3. - С. 85 - 89.
- Колесов В. В. Древняя Русь: Наследие в слове. Добро и зло. - СПб., 2001.
- Лебедева Т. В. Структура и семантика корневых гнёзд с корнем -бас- в вологодских говорах. Дипломная работа. Научный руководитель - Л. Г. Яцкевич. - Вологда, 2000.
- Архимандрит Иоанн Маслов. Симфония. По Творениям святителя Тихона Задонского. - М., 1996.
- Яцкевич Л. Г. Процессы семообразования в структуре исторических корневых гнёзд (Концепт "красота") // Русское слово в словаре и тексте. - Вологда, 2003. - С. 3 - 23.
- Buck C. D. Beatiful. // Buck C. D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. 1991.

СЛОВАРИ

- Даль** - Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 тт. - М.: 1955.
- СВГ** - Словарь вологодских говоров / Под ред. Т. Г. Паникаровской, Л. Ю. Зориной. Вып. 1 - 12. - Вологда: ВГПИ / ВГПУ, 1983 - 2007.
- СДЯ** - Словарь древнерусского языка (XI - XIV вв.) / Гл. ред. Р. И. Аванесов. - Т. 1. - М., 1988.
- Фасмер** - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Под ред. О. Н. Трубачёва. В 4 тт. - М.: 1964 - 1973.
- ЭССЯ** - Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачёва. Вып. 1 - 32 -. - М., 1974 - 2005.



ПРОШЛЫЙ ВЕК

Фоторабота архиепископа МАКСИМИЛИАНА

В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА НИКОЛАЯ ВИКУЛОВА

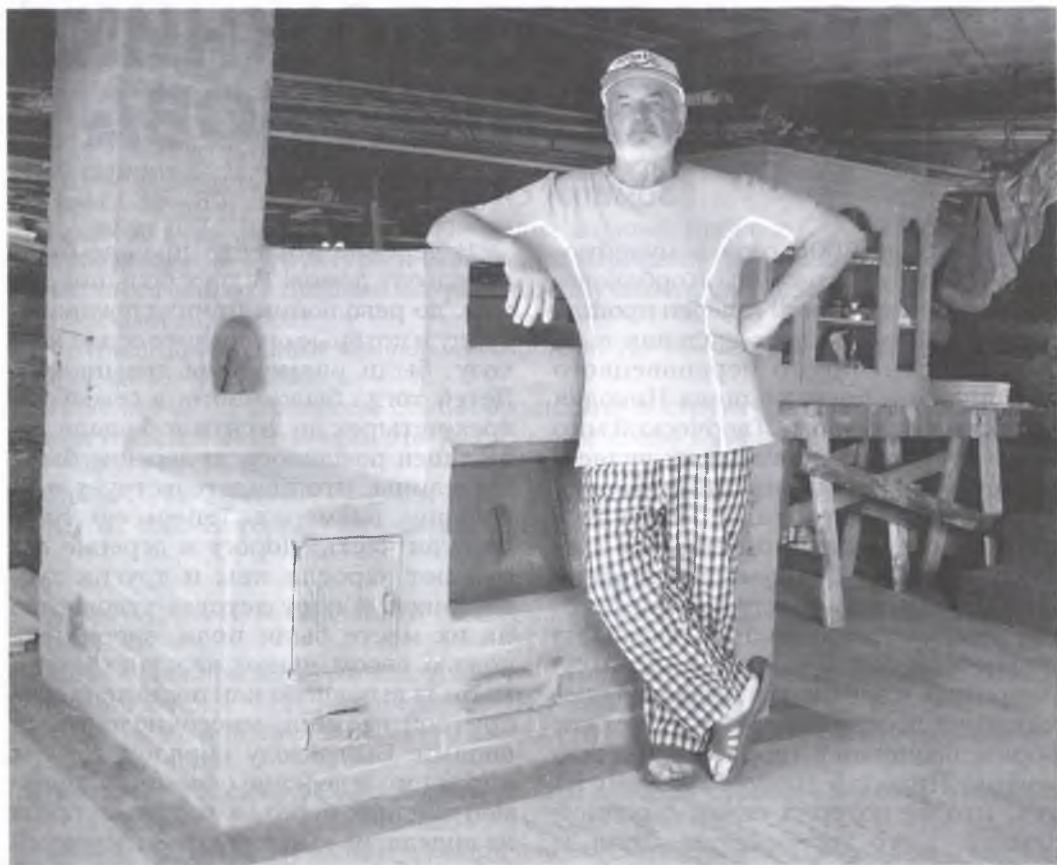
Заметки с натуры

В феврале 2008 года в музейно-творческом центре «Дом Корбакова» областной картинной галереи прошла первая в Вологде персональная выставка талантливого череповецкого живописца и рисовальщика Николая Петровича Викулова. Творческий мир этого художника для многих является загадкой. Чтобы хоть немного приблизиться к ее разгадке, прошлым летом я специально побывала в гостях у Николая Петровича в деревне Петряево Череповецкого района. Многие вологодские художники родом из деревни, а для некоторых из них - например, для Генриха Асафова - впечатления деревенского детства стали определяющими в творчестве на всю жизнь. Николай Викулов - один из тех, кто не потерял связи с родной землей, а его деревенская жизнь и творчество представляют нерасторжимое целое. Вот уже много лет в Череповец он возвращается только на зиму, остальные времена года проводит в своем деревенском доме.

Родился Николай Петрович в деревне Михеево Уломского района (ныне Череповецкий район). Художник рассказывает, что окружающая местность образовывала куст из четырнадцати деревень, окруженный болотами, и стояла как остров. Поэтому здесь в старину спасались от преследований разные люди. Болотистую местность пытались в течение веков как-то укрепить, еще у прадедов была такая повинность - застилать дорогу деревьями, но всё уходило в болото, как в прорву. Мальчиком Николай с ребятами получал от школы задание возить на телегах деревья и песок для этих же целей. Только с появлением Череповецкого металлургического завода, откуда возили отработанный на заводе шлак, удалось наладить в этом краю дороги.

В деревне Михеево прежде было пятьдесят домов. В двух больших домах, до революции принадлежавших купцу и которые он позднее отдал колхозу, были размещены две школы. Детей тогда было много: в семьях от трех-четырех до десяти и больше ребятшек рождалось. В деревне были две улицы, что свидетельствует о её больших размерах. Теперь осталась десятая часть. Дорогу к деревне окружают заросли ивы и других кустарников, в пору детства художника на их месте были поля, засеянные рожью, овсом, льном, каждая травинка была выкошена или подъедена, как бритвой срезана, многочисленными овцами. Был всюду порядок. До сих пор много в деревне огромных, монументальных берез, в городе я таких не видела, не вырастают. За деревней прежде было поле с овинами, гумном и другими сельскохозяйственными постройками. Бани находились не возле изб, а в некотором отдалении, и вся деревня шла мыться перед праздниками или по субботам. Возле деревни были конюшни и другие разнообразные хозяйственные постройки, земли не хватало, покосов не хватало. Никто из деревни не уезжал, дома стояли плотно друг к другу.

Дом, в котором родился Николай Викулов, стоял на самом краю деревни, рядом шумел лес и блестела лужайка, здесь называемая «крутлицей». После войны, когда умерла бабушка, дед позвал Николая с матерью к себе, так как отец погиб на войне. Тогда они свой дом продали. На месте этого дома стоит теперь похожий дом в три окна. С обоих концов деревню охраняли высокие деревянные ворота и забор. Маленьким Николай зимой, идя домой на самый край деревни, боялся волков, которые могли сидеть прямо возле дома. Так же было и со школой.



Н.П. ВИКУЛОВ в новом доме. Июль 2008

В Михееве учили только до 4-го класса. Дальше уже надо было ходить в деревню Большой Двор, а до неё было три километра. Для деревенских ребятшек это не расстояние. Но в военные и послевоенные годы дети постоянно были голодными, и пройти сначала всю свою деревню, потом Петряево, Козлово и весь Большой Двор - школа стояла в некотором отдалении - было нелегко. Особенно зная, что твои друзья из более близких к школе деревень сидят уже дома и обедают. В сумерках, когда шли из школы, волки часто перебежали дорогу, только хищные глаза блестели в темноте. В одиннадцать лет он работал целое лето пастушком, пас стадо из двухсот овец без собаки, сам резво за ними бегал, а они требуют глаз да глаз. У детей были свои обязанности - скот (овец, телят, поросят) загонять в хлев, наносить дров и воды. Всегда было много дел и игр, никогда не ску-

чали, жили весело, несмотря на голодное послевоенное время.

Было, например, такое развлечение, связанное с маслозаводом, работавшим в деревне. Раз в квартал приезжала на завод машина и забирала продукцию. А ребята, находясь в это время в лесу, чуяли запах бензина и неслись стремглав к заводу. Это было событие, которого долго ждали. Потом дети бежали за машиной, держась за какую-нибудь ее деталь, так как из-за разбитости и топкости дороги она ехала довольно медленно. Это было счастье для ребят, хотя некоторые падали от усталости, подвигом было добежать таким способом до Петряева.

Отца Николай помнит до пяти лет, а потом он ушел на войну и не вернулся. Дед заменил отца. Он умел делать всё и постоянно что-то мастерил, строгал, плел. Плел всё - пестери, корзины, лапти, специальные ножны (ло-



Веранда нового дома. Июль 2008

паточник) для точилки косы-лопатки. В старости, когда уже силы почти не осталось, вырезал из блестящей бумаги фигурки, которыми украшал абажур керосиновой лампы.

Дом деда до сих пор стоит у самой дороги. Прежде он был очень длинный и состоял из двух изб и двора. Вторая изба была отведена под постоялый двор. Зимой через Михеево, когда устанавливалась дорога, открывался путь на Рыбинск, куда местные жители везли на продажу молодых поросят в коробах с сеном, а оттуда с ярмарки привозили разные нужные товары. Во дворе дедова дома стоит до сих пор банька. Возле этого дома стоял большой дом мельника Василия, очень зажиточного человека. Как-то его дом загорелся, но ветер был в противоположную их дому сторону. Сгорел дом мельника и конюшни вместе с лошадьми. Свой амбар, самую

ближнюю к дому Василия постройку, родные Николая Викулова поливали холодной водой, чтобы остудить. От пожара немного пострадала стена амбара, черные обуглившиеся бревна сохранились до сих пор.

Интерес к изобразительному искусству проявился у будущего художника еще в раннем детстве с рассматривания икон в красном углу избы. Маленький Коля взбирался на стол и с него подолгу глядел на загадочные, потемневшие от времени и копоти изображения. Вторым источником впечатлений были портреты цветными карандашами с фотографий родных и односельчан, выполненные заезжими художниками либо сделанные в городе. Главное - в этих достаточно примитивных рисунках была своя выразительность, самостоятельные мастера были не без таланта. В первом классе и самому очень стало хотеться рисо-

вать. Но не было бумаги, в войну ребята даже уроки делали на газетах. Тогда в ход пошла в избе печка с угольком, а на улице зимой - снег, а летом - песок. Рисовал палочкой. Не оттуда ли склонность писать свои картины впоследствии длинными мазками-штрихами?

В юности Николай любил охотиться на зайца или рябчика. В результате он объездил на лыжах и обошел всю округу. А в шестнадцать лет из дедова дома ушел в большую жизнь.

В 1952-1955 годах учился в школе ФЗО, потом стал работать монтажником-высотником. Привлекала эта романтическая профессия, о ней даже был поставлен знаменитый в ту пору фильм «Высота» с Николаем Рыбниковым в главной роли. Да и об армии художник сегодня вспоминает, как о «приятной командировке». Хотя служил в танковых войсках, был стрелком и радиоте-



Н.П. ВИКУЛОВ на крыше строящегося дома. Июль 2008

леграфистом. В армии он познакомился с первым в своей жизни настоящим профессиональным художником. Тот с фотографий писал портреты членов Политбюро. Большие погрудные эти портреты были выставлены в аллее на плацу, их все видели. Викулова поразили талант художника, и он решил, что это высший пилотаж в искусстве. Тогда он напросился в помощники художнику, стал натягивать холсты. От этого художника юноша узнал о существовании Ярославского художественного училища.

Вернувшись после армии в Череповец, где, по словам Викулова, в 1950-х годах был художественный вакуум, Николай спасался тем, что стал посещать изостудию В.С. Пескова при краеведческом музее. Это был настоящий клуб по интересам, ходил туда с радостью, занимался рисунком и акварелью. В результате подготовился и поступил в Ярославское художественное училище, ставшее кузницей художественных кадров для многих городов страны, а Вологод-

ская область особенно богата его выпускниками. В училище в ту пору учились очень многие будущие вологодские знаменитости: Г. Асафов, Н. и Г. Бурмагины, Н. Вяткина, В. Едемский, Е. Шевченко, В. Малыгин. Все очень дружили между собой, ходили в гости, общались. Учеба шла у Николая неровно, вначале мешало отсутствие знаний, а в конце учебы стала мешать склонность к поиску, эксперименту. Надо помнить, что никакой первоначальной базы у Викулова не было, поэтому он с жадностью набросился на теорию искусства, очень много читал. Вначале ему нравился Шишкин, передвижники, а К.Коровин был непонятен. Пропадал в местном художественном музее, имеющем прекрасную коллекцию картин. Както после обновления экспозиции вошел в светлый день в зал Коровина, увидел «переливы красок» и полюбил этого живописца, понял, что «живопись бывает разная, в том числе очень цветная, очень красивая». Открыл тогда для себя и Ван Гога, и Гогена, и

Кандинского. Они были непонятны тогда, даже пугали, но были очень интересны. А сегодня Николай Петрович у себя в деревне носит даже рубашку с фрагментом одной из знаменитых композиций Кандинского. Часто ездил из Ярославля в Москву на всесоюзные и всероссийские выставки. Они поражали. Казалось, никогда такого уровня не достичь. Но привлекали не столько масштабные полотна, сколько небольшие, камерные.

После училища в Череповце стал преподавать рисование и черчение в школе, но вскоре понял, что это не его дело. Перешел на студию телевидения, рисовал заставки, писал титры. В ту пору очень активно работал Художественный фонд РСФСР, попасть туда на работу означало обеспечить себя трудом по специальности. В бурно строящемся в 1970-х годах Череповце была большая потребность в художниках-монументалистах и прикладниках: необходимо было оформлять интерьеры и экстерьеры различных общественных зданий. Заказы распределял Художественный фонд. Из Вологды в Череповец ежемесячно приезжал художественный совет, принимавший выполненную работу. Викулов попал в эту систему и стал много заниматься резьбой по дереву и чеканкой, имея тем самым возможность кормить семью. Но это была не очень творческая работа. Настоящим искусством приходилось заниматься по вечерам и в выходные дни. «На живопись всегда было мало времени», - говорит художник. Такова была участь всех ра-



АВДОТЯ. 1988. Картон, масло. ВОКГ

ботавших в Художественном фонде, еще не вступивших в Союз художников. Но он вспоминает это время как очень счастливое и интересное. Всей череповецкой бригадой художников ездили на все выставки в Вологду, сами участвовали в них. В электричке всегда делал зарисовки в блокноте. Все свободное время писал, 70-е годы проходил с этюдником, писал пейзажи Череповца, особенно реку Ягорбу, порт. Много переписывал, переделывал, записал новыми сюжетами ряд старых холстов. Не мог сосредоточиться.

Об этих поисках и терзаниях говорят многочисленные автопортреты художника. Николай Викулов, скром-

нейший человек, делал их не из самолюбования: сделав свое лицо лабораторией, мотивом, с которым он мог экспериментировать. К несчастью, большая часть картин начала 1970-х годов - начала творчества - погибла в пожаре мастерской. Но то, что удалось спасти, показывает большую творческую энергию и фактически уже обретенную манеру и характер мотива. Это были речные и деревенские пейзажи и натюрморты, выполненные в очень густой, пастозной манере, в сдержанном, но напряженном колорите темно-синих, коричнево-бурых, оранжевых и зеленоватых тонов. Речные виды несколько напоминали французские пейзажи Альбера Марке. Пейзажи захватывали серебристыми переливами, мерцанием красок, натюрморты - сильным декоративным началом. Сам художник говорит, что свои «черные» работы начал писать в начале 1970-х годов. Поэтому предположение о влиянии на него работ Генриха Асафова неправомерно.

К середине 1980-х годов живописец нашел своих героев и сюжеты картин.

Оказалось, ходить далеко было не надо, они окружали его с самого рождения. Самой первой картиной с особой викуловской трактовкой образа стала маленькая неброская картина «Егоровна», изображающая деревенскую старушку. Она была сделана в монохромной, серебристо-пепельной гамме. Героиня была увидена с комической стороны, но ощущались во взгляде художника симпатия и сочувствие автора к старому, ничем внешне не приметному, но доброму, честно, в труде прожившему жизнь человеку. Естественная логика развития таланта художника, постепенно открывавшего для себя истинные ценности бытия, а также получаемые извне художественные впечатления привели Н.Викулова к его самобытному искусству. Основной темой его творчества стало особое пространство, атмосфера, тайна деревенской жизни. В 1970-х годах с большим успехом в стране прошла серия выста-

вок крестьянского живописца Ефима Честнякова, работавшего в Костромской губернии в начале XX века. Его необыкновенные, сказочные, патриархально интерпретированные образы крестьян, несомненно, оказали влияние на череповецкого художника, но не своим характером, а самим фактом возможности индивидуализированного прочтения деревенской жизни. Был увлечен Викулов и художниками-примитивистами начала XX века: знаменитыми грузином Нико Пиросмани, французом Анри Руссо, нашими Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой. В 1970-е годы ярко заявили о себе в советском искусстве такие живописцы, как Наталья Нестерова, Евгений Струлев и другие, серьезные профессионалы, избравшие для себя язык наивного искусства как форму иносказания. В. Кандинский завораживал Викулова композиционной стремительностью и линейными ритмами, возбуждали творческое чувство Малевич и Филонов. Подолгу на выставках и в музейных экспозициях Николай рассматривал их произведения, постигая тайны классиков и своих современников. Но не только авангард увлекал. Ему очень нравился и пейзажист-лирик Николай Ромадин. В реалистическом пейзаже его не устраивает только однообразие, монотонность приемов. Ему, как и всем нам, хочется видеть новое в жанре пейзажа. То, что Н.П. Викулов способен оценить самобытный талант в этом направлении живописи, я убедилась, когда видела, как смотрел художник альбом живописи московского пейзажиста Валерия Полотнова, выставку которого я готовила в этот момент.

Сюжеты, которые избрал Викулов для своих произведений, - самые обычные и являются неперменными эпизодами деревенской жизни: пахота, сбор урожая, работа на огороде, строительство дома, мытье в бане и другие. Знание этой жизни изнутри, собственно жизнь в этом пространстве дали право художнику вольно трактовать материал действительно то в комически-пасторальном

ключе, то в гротесково-драматическом. Он не стремится идеализировать своих героев - скорее, наоборот, усиливает их забавные, остро характерные черты, позы, повадки, но не для насмешки над ними, а для выявления каких-то важных, сущностных особенностей людей нашей северной местности.

Особенностью многих холстов Н.П. Викулова является взгляд на землю с высокой точки зрения, отчего маленький деревенский уголок утрачивает свою убогость и неказистость и становится загадочной Вселенной. Так, показывая строительство дома, он говорил: «Всё хочется ухватить - и что на крыше, и под крышей, и так далее». Так же работал нидерландский живописец XVI века Питер Брейгель. Сдержанный колорит полотен, выстроенный на сочетаниях земляных красок охр и других органических пигментов, позволяет ощутить таинственное дыхание матушки-земли. Она - место обитания персонажей картин, их дом и пища, она же и главный герой. При таком видении картин Викулова забавные персонажи перестают казаться таковыми, ведь они часть земли, её плоды, как картофель, или морковка, или прекрасный цветок. Кто уж каким уродился, но каждый необходим и важен в естественном жизненном цикле. Есть в комическом, гротескном, а иногда и трагедийном театре Николая Викулова и свой героический жанр. Им являются его портреты-типы жителей деревни. Как торжественны силуэты северных крестьянок на фоне холодного неба («Сестры Каморины. Годы войны»), как величава простая женщина в избе с банкой молока («Летним вечером»), сколько мудрого спокойствия в их движениях и жестах! Этими произведениями живописец будто создает памятник своим односельчанам, и не только им, но и всем живущим и работающим на земле.

Николай Викулов не выработал за годы напряженного творчества какой-то индивидуальной, строгой системы живописи, вернее, она заключается именно в отсутствии её. Он не

делает предварительных эскизов будущей картины, не делает и зарисовок с натуры для какого-то конкретного замысла. Идеи картин зреют в его голове годами, может, и десятилетиями. Увиденное когда-то само приводит к сюжету, это могут быть детские и юношеские воспоминания. Композиция выстраивается сама собой на холсте. Поэтому ему много приходится переделывать. Замысел ведет руку художника. Он говорит: «Не знаю сам, как это получается, будто кто-то ведет меня. Когда начинаю писать, обо всем забываю». Некоторые работы писались быстро, за полдня, например «Пахота». Долго пишется тогда, когда приходится переделывать. Неповторимый характер живописи Викулова придает его самобытная, виртуозная манера письма. Она всегда разная: то многослойная, пастозная, вязкая, то выполняется мазками-штрихами подобно нитям, пронизывающим ткань произведения. Такие мазки-штрихи передают какое-то волнение, трепет, присутствующие в его холстах. Внешний диссонанс между грубоватыми персонажами, незамысловатыми сюжетами и нервно-взволнованной техникой письма позволяет автору создать ту уникальную атмосферу, в которой живут его герои. Этому же впечатлению способствует и серебристое свечение, пронизывающее многие монохромные полотна живописца. Начинаешь понимать, что и в деревне, и в обыденной жизни могут происходить важные, прекрасные события, а человек способен чувствовать глубоко и неординарно.

В конце 1990-х годов художник стал плохо видеть, и это грустное событие привело его к работе в очень яркой колористической гамме. Дело в том, что он видел только очень большие локальные цветковые пятна. Яркий цвет сначала появился в его серебристых холстах, а с 2002 года художник стал работать в чисто декоративной манере. Зрение удалось восстановить, но живописец нашел в новой для себя манере новые художественные возможности и продолжил работать именно в ней. В этой коло-

ристически-фактурной системе Викулов продемонстрировал высокое мастерство и глубокое понимание образной природы выразительных средств живописи. Контрастные сочетания ярких, но близких по тону цветов тонко сгармонизированы живописцем. Широкие локальные пятна и целые плоскости цвета, нанесенные эмалевогладко, стали выразителями обречения художником равновесия творческого и человеческого бытия. Вечны простые человеческие ценности: тепло домашнего очага, где тебя любят и ждут («Домашнее тепло»); круговорот крестьянского труда («Полдень»); счастье каждого мгновения совместно проведенной жизни («Семья»). Художник, который так видит и изображает жизнь, есть подлинный философ.

Всю жизнь, до 1991 года, Николай Петрович каждое лето приезжал к матери в Михеево, творчеством заниматься здесь редко удавалось, так как дел в деревне всегда очень много для работающего, совестливого человека. Но в 1991 году мать и сестра подарили ему и двоюродному брату домик в Петряеве. Брат отказался от дома, так как жил на Урале. Тетка из домика ушла к сестре, потому что уже не могла себя сама обслуживать. Сестра Николая Петровича, Анна, захотела переехать в этот домик, так как дорога до Михеева до сих пор очень плохая, топкая, туда и автобус не ходит. Тогда вместе с её мужем Николай Петрович решил строить новый дом для себя. В лесу они заготавливали большие деревья, таскали огромные камни для фундамента. Петряевские плотники помогли из заготовленного материала построить баньку, укрепили старый дом, подведя снизу шесть венцов. Но муж сестры перестал помогать в строительстве, да и денежные накопления, на которые рассчитывали, растаяли благодаря событиям 90-х годов. Так Викулов остался один на строительстве дома. В момент моего приезда ему осталось только трубу от печки, которую, кстати, он выложил по своему проекту, вывести на чердак и на крышу. Все это я наблюдала и

сфотографировала. Мастеровитость, умение все деревенские дела делать перешла к художнику от деда. В память о нем он из деревни Михеево перевез, предварительно раскатав по бревнышку, столетний амбар, в котором и сам маленьким спал, бывало. Память о прошлом свято хранится в новом доме, на веранде. Здесь над старинным столиком, где и писались эти заметки, укреплено над окном коромысло, с которым мать художника ходила по воду, специальное приспособление для ткацкого станка, колотушка, которой мать выбивала на морозе у реки мокрое белье. Прежде Викулов собирал старинную мебель, такая рамка от зеркала укреплена на стене веранды, а в ней помещен силуэт коровы, вырезанный из дерева. Такая честь оказана деревенской кормилице. В доме хранится старинная глиняная посуда, использовавшаяся в семье, среди нескольких таких предметов выделяется еще дедов рукомойник. Продолжая дедовские традиции, Николай из дерева вырезает очень практичную и вместительную посуду, в которую так приятно высыпать перебранную чернику, собранную в ближнем лесу; сделал интересную по дизайну мебель - два кресла и табуретки. Говорит о них, что они как у Собакевича из «Мертвых душ» Н. Гоголя или как в сказке «Маша и три медведя». Но новый дом хранит не только крестьянское начало. Николай Петрович и его супруга Наталья, в девичестве Шишпанова, любят новаторское искусство XX века, в частности давно ставшую классикой живопись итальянского художника Джорджо Моранди. У Натальи - она художник по текстилю - симпатия к Николаю началась именно с выяснения этого факта. Поэтому, являясь элементом декора, в доме в окне веранды стоят красивые, необычной формы разнообразные бутылки из цветного стекла.

В деревне Петряево собралось интересное общество. Живут еще старожилы-старушки. Хозяин деревни Борис - Борька, как его здесь называют, - имеет трактор с прицепом, снопо-

вязалку, небольшое стадо - корову и шесть бычков, двух больших собак, кур, цесарок, шестерых детей и внука. Полна горница людей и зверей. Жена его, Лена, работает в местном магазине. В городе есть у них квартира, но они все живут здесь. Борька за деньги пашет, привозит что кому нужно, в пору существования фермы возил на огороды навоз. Без него в деревне как без рук. Внешне он некадист, невысок, жилист, похож на героев Викулова. Единственный холостой мужик в деревне - Мишка, весь какой-то серый, пьёт. Зимой в деревне остаются жители около тринадцати домов. Летом становится весело, приезжают дети, внуки, дачники из Петербурга, Мурманска, Ярославля, Череповца, даже из Кабардино-Балкарии.

Я спрашиваю Николая Петровича: «Откуда вы берете своих героев, из Михеева или Петряева?» - «Трудно ответить на этот вопрос однозначно, - говорит он. - Все мои работы написаны на основе реальных наблюдений, которые я веду всю жизнь повсюду. Еще в юности, с училища, я всегда делал маленькие зарисовки на пленэрах, в поезде, где угодно. Их очень много у меня сохранилось. У меня в голове примерно сорок интересных имен деревенских жителей. Имена выбираю необычные, например, не Федор, а Федяй, не Александр, а Сашко или Шурка. И когда рисую персонаж, то иду в какой-то степени от этого имени, слово само подсказывает, как ему надо выглядеть. Это как у Чехова, мы ведь не знаем, точно ли так выглядел человек с таким именем, как он описал, имя находит персонаж с соответствующей внешностью». Так наблюдения визуальные соединяются со слуховыми, и постепенно возникает художественный образ. Ситуации, жанровые сцены, становящиеся основой картин Викулова, также могут происходить из разных мест, но затем они становятся единым сюжетом для конкретного произведения. Не случайно художник часто дает своим произведениям названия, связан-

ные с именами своих персонажей: «Анютка Мосина», «Мир Вениамина Брыкина», «Сашок со стадом», «Пронина зима». О сложном процессе рождения замысла художник рассказывает так: «Вот, например, в деревне Петряево существует Борькин двор. Я давно за его хозяйством наблюдаю, запоминаю и когда-нибудь напишу картину, но о чем и как, пока не знаю. Картина, может, будет называться и не «Борькин двор». Я и Алену учу всё наблюдать, велю, когда она приходит домой, нарисовать, что там запомнила. Но и сам потихоньку думаю: а как сам буду писать?» Николай Петрович любит пересыпать свою речь поговорками, пословицами, строками из песен. Цитирует русскую классику. Говоря о литературе, он отмечает, что любимыми остались Чехов, Тургенев, особенно «Записки охотника», романы Льва Толстого, но особенно у Льва Николаевича ему близок «Кавказский пленник».

Я пытаюсь доискаться, откуда все же идет сильная гротесковость образов художника. И тут вспоминается его рассказ о любимом дед. Оказывается, дед был известен на всю округу своим острым умом и способностью давать людям точные характеристики, умещающиеся в емком прозвище. Видимо, и внуку это свойство передалось, облекшись еще и в пластическую изобразительную форму. Кроме того, художник называет мне имена современных писателей, обладающих даром комически-саркастического восприятия действительности, близких ему - Довлатова, Веллера, Войновича. Интересно разговаривает со своей двенадцатилетней дочерью Аленой, будто сказку рассказывает. Мышление у него литературно-поэтическое, афористичное. Он очень любит сочинять частушки. В последний мой вечер в деревне Петряево Николай Петрович исполнил нам цикл новых частушек, сочиненных во время работы по выводу печной трубы на крышу и связанных сюжетно с нашей доброй жизнью здесь.

Ирина БАЛАШОВА, искусствовед

ДЫРА НОВОГО АТЕИЗМА

О романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»

Последний роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» привлек внимание самых разных кругов: его поддержали католический сайт и Агентство религиозной информации «Благовест-Инфо», популярные газеты и телевидение, наконец, победа в гонке за национальную литературную премию «Большая книга» завершила массированное внимание к автору.

Меня не удивили «высочайшие оценки» сочинения Улицкой ни протоиерея-неообновленца Александра Борисова, ни ныне покойного священника Георгия Чистякова, считающего роман «абсолютно художественным произведением», ни восторги прессы, вызванные «парадоксальностью личности Штайна». Но смутили некоторые «простодушные» наши писатели и критики, увидевшие у Улицкой намерение написать «христианскую книгу». Прежде всего им, как и нашим читателям, я и адресую свою статью.

НЕСВОБОДНОЕ МНЕНИЕ

Конечно, судьба главного героя Даниэля Штайна (в реальности Даниэля Руфайзена)* многое диктовала автору романа. Но сам выбор именно такой судьбы чрезвычайно симптоматичен. Упоминаемому выше о. Александру Борисову показалось, что «фамилия Штайн, которую писательница дала своему герою, напоминает об Эдит Штайн (еврейке, немецком философе, монахини-кармелитке, погибшей в Освенциме и канонизированной католической церковью), а также, что «штайн» в переводе с немецкого - «камень» (ассоциация с апостолом Петром), как слово «переводчик», помещенное в название книги, свидетельствует, по его мнению, о том, что герой «переводил на язык современных людей понятия, которые являются основными в христианстве - Бог, любовь, жертва». Действительно, ключиком, которым «открывается» роман, является «современность», и она просто вопиет о себе как «дух века сего».

На встрече с читателями во Всероссийской государственной библиотеки им. М.И. Рудомино писательница говорила о многом, в том числе и о «преодолении нетерпимости, ксенофобии, о возвращении толерантности», и, возвращаясь к своему герою-переводчику подчеркивала: «Мы очень нуждаемся в переводе. Мы плохо понимаем друг друга, а не только язык Бога. Только любовь и та мера доверия, которой обладал Даниэль, может дать связь и понимание между людьми». Вот и названы «ключевые слова», обеспечивающие уверенный успех проекту Улицкой: толерантность, политкорректность, ксенофобия, мультикультурное христианство. Не хватает только антисемитизма. И было бы странно, если бы он был забыт. Но нет, конечно же, Улицкая по этому поводу высказалась. «Ее спрашивали и о реальных прототипах ее героев, - продолжает свой репортаж со встречи в библиотеке журналист, - о названии и об обложке, о перспективах государства Израиль и о корнях антисемитизма. «Антисемитизм - удобная и давняя форма ксенофобии, и не единственная», - в связи с этим Улицкая с тревогой говорила о новом витке ксенофобии в современной России, об антигрузинской кампании. «Это вопрос управления ситуацией и нашей собственной сопротивляемости. Мы не должны быть управляемы», - подчеркнула писательница». Не Христа ради писалась эта «христианская» книга, но ради всех тех идеологических клише, с помощью которых и управляют нашим сознанием, продавая

* Мы отнесемся к герою Улицкой, естественно, как к литературному персонажу, несмотря на его реальный прототип.

в очередной раз ходкий на мировом рынке товар: антисемитизм и ксенофобию, терпимость и толерантность - в элегантной упаковке «лучшего понимания друг друга». Да, я опиралась на «комментарий» Улицкой к своему сочинению, но и сам роман нас убеждает в том же. Об антисемитизме в книге Улицкой говорится слишком часто для «художественного» произведения, а именно: на страницах 57, 88, 100, 124, 126, 178, 179, 183, 274, 323, 355, 372, 379, 470, 479 в издании «Эксмо».

«ОБ УСИЛИЯХ ПО ВЫКОВЫРИВАНИЮ БОГА...»

Даниэль Штайн - странный христианин. Даниэль Штайн - маргинальный герой. И Улицкая тут вполне вписывается в концепцию «нового гуманизма» с его особенным вниманием к проблемам меньшинств - религиозных, этнических, сексуальных, социальных. Штайн - еврей, но при этом католик. Штайн - католик, но при этом далек от традиционного католицизма. Нетолерантный настоятель монастыря все время пишет на него доносы в связи с неканоническим поведением и рассуждениями о вере брата Даниэля (Штайна). Впрочем, проблемы католического большинства автора никак не интересуют, потому и выбрана такая компрометирующая форма защиты со стороны большинства, как донос-рапорт. Ведь Штайн оставляет за собой право не признавать догматов о непорочном зачатии и Святой Троице. «Говоря об особенностях богословских воззрений брата Даниэля, которые многими принимались в штыки и не могли не привести к сложностям с «церковным началом», писательница разъясняла: «Он полагал, например, что Троица - это поздняя идея, греческая, что она никогда не была свойственна иудаизму. (Выделено мной - **К.К.**). У него с Троицей были сложные отношения. При этом он не отрицал Святого Духа, не отрицал Спасителя. Он эти сложные умственные построения, над которыми столетиями

изощрялись достойные богословы, - он просто отодвигал их в сторону, считая, что это не имеет практического значения в жизни... Он стремился к раннему христианству, к той церкви, которая была основана Самим Спасителем... «Во что веровал мой Учитель?» - вот что было важно для Даниэля прежде всего... Даже проблемы разделения западной и восточной Церквей его не очень волновали...» - отметила Л. Улицкая. Такая постановка вопроса («Во что веровал мой Учитель?» или, как в телепередаче вопрошала сама Улицкая: «Во что веровал Христос?») для христианина никак иначе не может быть названа, как абсурдной и богохульной. Ставить такой пошлый вопрос перед Христом, Который есть Истина и Воплощенный Бог, - значит вообще не иметь никакого реального и подлинного религиозного воодушевления. Это вопрос атеиста, которому дорог не Христос, а его «земные услуги», чудесность же их, в свою очередь, объясняется будто бы совершенно научно. Впрочем, в той же передаче Л. Улицкая ссылалась на некие такие «исследования и разыскания», которые доказывают иудейское вероисповедание Христа. Правды ради стоит сказать, что такое же понимание Христа свойственно и некоторой части наших атеистических патриотов, не разумеющих, что участвуют они в дроблении веры, неизбежно приводящем и к дробности национального сознания. Бунт атеистического сознания продолжается, только теперь под видом «художественно-религиозной» реакции.

Итак, мерой веры Штайна остается «свойственное иудаизму»: отрицание Троицы (умонепостигаемого) для такого героя вполне естественно, ведь в вере для него важно только то, что имеет практическое значение. Весь роман строится именно на этой идее - отвержения догмата (ортодоксии) ради практических добрых дел (ортопраксии). «Хочешь служить Богу - служи миру», - говорит Штайн. Такое усеченное до опыта, такое понятное христианство удобно веку сему. Так что вопрос «во что веровал Учитель?»

тоже закономерен: в Христе брат Даниэль видел прежде всего человека «доброй воли» и «добрых дел». Божественная природа Христа была для него закрыта (несмотря на все чудесные избавления от смерти, которые и сделали его монахом). Христос - Сын Божий, пожалуй что, и не нужен Штайну, «не узнаётся» им, точь-в-точь так же, как не нужен и не выгоден Он был синедриону, как не признан Он был первосвященниками иудейскими. Штайн - весь на земле, он хлопочет о земном, он погружен в земное, он «переводит» священную реальность в плоскость жизни. (Ведь не случайно при всем критицизме Улицкой в адрес католической церкви она готова принять (и не поленилась составить тщательную хронологию) практические результаты, что дала встреча Даниэля с Папой Римским: Папа посещает синагогу в Риме (впервые с апостольских времен); Ватикан устанавливает с Израилем дипломатические отношения; Папа просит прощение и признает вину церкви за преследование евреев; Папа едет в Израиль и молится у Стены плача).

Штайн - монах-реформатор. Он совсем не аскет, а ведет достаточно вольный образ жизни, развозя экскурсии по Израилю. В общем, он всегда «несколько не тот», кем он должен быть, называясь ли монахом, евреем, католиком. Он всегда - вне традиции, требующей от монаха, католика, еврея вполне определенного осознанного принятия ее правил, устоев, обрядов. (За право называться евреем с записью о том в паспорте Штайн судился с государством Израиль, проявив удивительное настойчивое законничество при своем свободомыслии). Впрочем, «он был не полностью самим собой» и тогда, когда сотрудничал с гестапо и белорусской полицией и когда жил в партизанском отряде или сотрудничал с НКВД. (Оставим на совести писателя байки про «добрых начальников» в гестапо и вдумчивых партизанах, узнававших правду о Штайне и отпускавших его из своих рук, также оставим на суд читателя признание Штайна, что

сначала он «принимал присягу - давал клятву верности фюреру». Позже, «как русский партизан, я давал клятву верности Сталину». Но, естественно, клятвы не были истинными, просто такой ценой герой спасал жизнь других людей, прежде всего - евреев из гетто. Цель оправдывает средства). Таково странное для нас правосознание еврея-католика Штайна.

Для Штайна Христос - фигура историческая. Только историческая, и прежде всего историческая. Именно поэтому проповедник «добрых дел» пустился в тягчайший утопизм - решил «воссоздать» древнюю иудео-христианскую церковь Иакова, вернуть Самого Христа «из греков - назад, в иудеи». (А, как известно, все сильные практики столь же сильные утописты). И не важно, что Церкви такой не было: иудей, принявший таинство крещения, становился именно христианином. Но с помощью свободных манипуляций автор романа из маргинального факта (общины, собранной Штайном, в которую входили иудей, поляки-католики, православный и даже мусульманин, а вернее сказать, не совсем иудей, придурковатый православный, чудные католики и не менее чудной мусульманин) утвердился в мысли, что «христианство ведь очень разное; огромный спектр возможностей есть в самом христианстве... Есть Серафим Саровский и Сергей Радонежский, Франциск Ассизский и блаженный Августин. Христианство предлагает разные пути, каждый из которых серьезный, наполненный ..., и мы должны выбирать. Важна идея, что ничто не запрещено, что мы свободны, что христианство - совсем не узкий путь в интеллектуальном смысле...». Да нет, «широкое» христианство по Штайну - это именно очень «узкий путь», духовно усеченный. Это горизонт (где старательно наводит «мосты понимания» брат Даниэль), но это не вертикаль веры, которая являет себя в человеке как высшая реальность. Проблема веры в романе - это проблема понимания в границах земного горизонта. И только. «Старики не понимают мо-

лодежь, а молодежь - стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а народы - своих правителей... И главное непонимание - человек не понимает Бога...» Церковь брат Даниэль понимает только, и именно только, как общину, из чего логично вытекает мысль о «непонимании» человеком Бога. Если в Церкви нельзя рассчитывать на богообщение, то, естественно, остается только доброе человеческое общение.

В сущности, Даниэль Штайн создал свою, индивидуальную церковь (давно любимая интеллигентская затея), где допустимы любые реформы: усеченная месса в собственном переводе, богослужение в полчаса с текстом на двух страницах - пожалуйста, служба на иврите, вместо «Символа веры» чтение «неположенных молитв на иврите» - милости просим. Ведь для Штайна все религии равны, а догматы, разделяющие церкви, разделяют и людей, то есть для поклонника «вопроса непонимания» являются источником бесконечной войны между их приверженцами. Вот и нужно их приспособить к реальным условиям - здесь и сейчас отбросить все лишнее, создав экуменический котел с простотой, что хуже воровства («христианский союз всех номинаций» - по Штайну). И правда, «почему Его (Христа) надо искать в церковных учениях, которые появились через тысячу лет после Его смерти?» - рассуждает Штайн. Рассуждает в такой «простоте», что будто и не было Вселенских Соборов, первый из которых был создан в 325 году в Никее! Так о какой тысяче лет идет речь?

В этой церкви Штайна (клубе добрых людей) не нужно «напрягаться» и «париться», соблюдая церковные догматы и обряды («церковный мусор»), но только поступать по совести, «так, как хочешь, чтобы с тобой поступали» другие. Совсем не умаляя важности совести в человеческой нравственности, заметим все же, что совесть без догмата - это совесть анархиста: своеволие и произвол ведь тоже

допускаются «по совести человеческой», не нуждающейся в высших санкциях. Читатель вправе возразить: ведь нельзя же назвать бессовестной еще одну маргинальную героиню Улицкой - немку Хильду, добровольно отработывающую в Израиле «грехи нации» за геноцид евреев. Но вспомним, что ее роман с женатым арабом сопровождается весьма практичной репликой Штайна: «Любишь - люби, только будь осторожна». Толерантность брата Даниэля превосходит все мыслимые степени свободы: ведь он в сущности каждому разрешает создать свою собственную систему ценностей, комфортно разложив в ней по местам (как это получилось у Хильды) грешную любовь к женатому, переложив грех на этого женатого («он брал на себя обет», а «женщины в любви почти всегда жертвы»)... Да, собственно, и несколько киношная (авария, машина летит в пропасть) смерть главного героя сопровождалась все тем же индивидуальным обрядом: над его гробом были исполнены еврейская молитва-кадиш, христианские псалмы и заупокойные молитвы.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕРАКТ, ДЛЯЩИЙСЯ ПОЛТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...»

«Непроходимую пропасть между иудаизмом и христианством Даниэль закрыл своим телом, и пока он жил, в пространстве его жизни все было едино, усилием его существования кровоточащая рана исцелилась. Ненадолго. На время его жизни», - красиво рефлексировала Людмила Улицкая. Но спрашивается: какая нужда «закрывать» пропасть? Какая нужда в «единстве» иудаизма и христианства? И кто реально сегодня видит тут проблему «кровоточащей раны»? Очевидно, прежде всего сама писательница, подерживающая старый миф о «гонимом народе» и «врожденном» антисемитизме христиан: «Никуда нельзя уйти от факта, что двухтысячелетнее официальное христианство хотя и

руководствовалось заветами христианской любви, но несло в себе неистребимую ненависть к евреям».

Для автора вслед за Штайном важна историчность веры, первенство иудаизма, период первохристианства. Но тогда и Бог - фигура истории, и Его существование тоже оказывается «историческим» (что вообще-то есть плевок в Бога!). Мало того, у Улицкой Бог в Сыне Своем кровно связан с иудеями: для брата Даниэля принципиальны размышления о генеалогическом древе Христа. Вопрос Его национальности заслоняет природу Христа как Сына Божия («Иисус был настоящим иудеем...», «мне же надлежит искать на этой земле, в среде народа, которому я принадлежу, Христа-иудея», так как Он был «в исторической реальности именно иудеем» (выделено мной - **К.К.**), утверждает Штайн, а автор предисловия к книге, вспоминая некоего Рабиновича, организовавшего в конце XIX века иудео-христианскую общину в Кишиневе, говорит о том, что и он, и Даниэль Штайн-Руфайзен «искали во Христе подлинного Мессию, обетованного Израилю»).

Несмотря на кажущуюся современному читателю «оригинальность» отца Даниэля и «колоссальность» авторских усилий Улицкой, мы должны напомнить, что и герой, и автор примыкают к давно существующей интеллектуальной тенденции, возникшей еще в XIX столетии под названием «исторической школы» (в том числе и в догматике) - школы и ее метода, давно осмысленных как поражение, ведь «исторический метод» не способен «выявить центральную истину христианства, существенно метафизическую, трансцендентную всякой «истории»» (В.Ф. Эрн. «Борьба за логос»). А поскольку этот синдром исторического позитивизма в отечественной культуре был блестяще осмыслен Н.П. Ильиным (в статье «Держащийся за полу. Маргиналии к «догматике» Карла Барта), мы приведем аргументы из его работы.

Карл Барт (протестантский теолог XX века, считающийся в определен-

ных либеральных кругах «выдающимся»), как и скромный герой Улицкой, считал, что «христианин обязан «переводить» язык Церкви на «язык времени», обязан «говорить по-мирски». Без такого перевода, пугает Барт, Церковь становится «Церковью молчания»; хуже того, она, «как в Германии 33-го года», может стать «Церковью молчащих собак» (Ильин Н.П.). Для автора романа о Штайне Германию 33-го года «спасает», очевидно, немка Хильда своим служением государству Израиль, но вот роль «Церкви молчания» (о правде) отводится Русской Православной Церкви. «Разве Сын Человеческий в поношенных сандалиях и бедной одежде принял бы в свой круг эту византийскую свору царедворцев? - вопрошает Улицкая, - алчных, циничных, которые сегодня составляют церковный истеблишмент?»

И хотя в романе нет ни России, ни православных христиан, зависимый от толерантности автор высказывается весьма решительно в одном из «писем подруге», входящих в повествование о Штайне: «В России церковь отвыкла за советские годы быть победительной. Быть гонимой и униженной ей больше к лицу. Но вот что произошло - с переменой власти наша церковь пала на спину и замурлыкала государству: любите нас, а мы будем любить вас. И воровать, и делиться... И церковный народ принял это с ликованием». Что и говорить, прав был Г. Чистяков: сильный художественный образ! Вместо «молчащих собак» мы видим «мурлыкающих котов»! Но вот я, честно сказать, не видела такого ликования церковного народа. «Что касается требования, чтобы Церковь говорила «языком времени», - продолжает Ильин, - то ведь тогда нужно и разъяснить, что это за язык? Какое из множества наречий, на которых говорят люди, соединенные национальностью, общим трудом, политической системой, научными и философскими школами, больше всего соответствует «языку времени»? Не должна ли именно поэтому Церковь говорить на своем языке, а

не усваивать тот или иной жаргон эпохи? Язык веры даже в большей степени, чем язык философии, выделяет вечное в языке каждого народа. Такой язык не нуждается в переводе на язык партийно-политических пристрастий, чтобы быть понятным народу».

«Главный вопрос» для брата Даниэля, повторю: «во что веровал наш Учитель? И веровал ли Он в Отца, Сына и Святого Духа? В Троицу?» «Последующая (после крещения - **К.К.**) проповедь Учителя вся посвящается жизни, ее ценности и смыслу». Жизнь - вот кодовое слово для брата Даниэля. Вопросы же о Воскресении, Боговоплощении, Искуплении, Спасении столь же мало волнуют героя Улицкой, как и его предшественников - апологетов «исторического метода». «Сверхисторическое», то есть «метафизическое содержание христианства», брату Даниэлю попросту ни к чему, ведь он занят воссозданием такой общины, что «связывала» бы человеческую историю с историей богоизбранного народа (не в Польше или в Белоруссии, где жил и родился, а в Израиле он собирает свою церковь Иакова. А известная уже нам героиня Хильда прямо называет эту церковь «еврейской». Сам же Штайн говорил, что, сознавая кафоличность Церкви, «практически мы имеем дело с этнорелигией»). Полагая себя христианином, герой Улицкой в сущности тяготеет к дохристианской религиозности, иудаизму, ведь, по его убеждению, «апостолы образовали особую группу внутри иудаизма наряду с другими иудейскими сектами» (выделено мной - **К.К.**). Католицизм, по брату Даниэлю, «находится в состоянии болезни», поскольку порвал с «иудейской традицией».

Отрицание Штайном Троицы свидетельствует о том, что «прокладывает» он путь не вперед, а назад - к иудейскому монотеизму, сильному ветхозаветному богу (см. у Н. Ильина о превращении протестантом Бартом Троицы в «двоицу», где Св. Дух «теряет равный бытийственный статус по отношению к Отцу и Сыну»). Впрочем,

есть в романе и встречное иудейскому монотеизму движение: один из героев, Исаак Гантман, утверждает: «Действительно, мы можем рассматривать современную (имею в виду христианскую) историю как логическое (Нойгауз полагает, что метафизическое) продолжение идей иудаизма в европейском мире».

Два вектора определяют роман Улицкой: один из них связан с идеологией-экспансией (продолжение идей иудаизма в других культурах и верах), а другой - с закрытой идеологией Торы, откуда вытекает «еврейская избранность, исключительность и преимущество перед всеми прочими народами, а также изоляция в христианском и любом сообществе» (Исаак Гантман).

«ИЗ ЗЕМЛИ ТЫ ВЫШЕЛ И В ЗЕМЛЮ ВЕРНЕШЬСЯ»

Как брат Даниэль прокладывает дорогу к иудейскому монотеизму, так сама Л. Улицкая торит тропу к новому диссидентству - теперь откровенно религиозному (о необходимости создания в России варианта обновленного «советского диссидентства» накануне выборов в Думу беспрестанно талдычили на радио «Свобода»). Впрочем, ниточка в советское время автором тоже протянута. Вся история с «инакомыслящим» священником отцом Михаилом из Тишкина (лично мне напоминающая о. Александра Меня), у которого были установлены связи с Даниэлем Штайном, письма матери Иоанны (1980-х годов) отцу Михаилу, письма Терезы к Валентине Фердинандовне так или иначе свидетельствуют о связи некоторых лиц РПЦ с Израилем. И их готовы поддерживать официальные израильские власти, поскольку им «нужна такая христианская церковь, которая не ведет тихой подрывной работы против нас». Впрочем, и сам отец Михаил пишет «книжечки», как, например, присланная матери Иоанне «Чтения о чтении», в которой высказывает «критические мысли о патриархах», рассматривает их поступки «с точки

зрения сегодняшней морали» и мыслит при 25 годах священства (сидя в деревне, он сохраняет высокий уровень интеллектуальности!) об «эволюции идеи Бога в истории». Таким образом, в РПЦ тоже есть «свободомыслящие» сторонники «исторического Бога».

Имя Христа накрепко соединяется героями Улицкой с Израилем, ведь брат Даниэль считает: «Христианские народы вовсе не Новый Израиль, они - Расширенный Израиль... Израиль расширился на весь мир. И речь идет не о доктрине, а только об образе жизни». Почему «образ жизни» обязательно исключает «доктрину», понять довольно трудно. Он же продолжает: «В современной церкви нет места еврейской церкви... В церковь должен быть возвращен ее изначальный плюрализм... из-за отсутствия евреев христианство теряет свою универсальность. Греческая, византийская составляющая во многом исказили сущность первоначального христианства». Профессор же Нойгауз, консультирующий своих студентов, вторит брату Даниэлю: «В первом веке новой эры... между иудеями и христианами еще нельзя провести четкой границы... Невозможно представить себе христианство без Торы. Новый Завет родился из Торы». Все эти размышления совершенно очевидно направлены на то, чтобы как у героев, так и у читателей возникла мысль, что требование евреев особенного к себе отношения (а Штайна - к своей церкви) и законно, и оправданно. В таком случае любая критика «народа, избранного Богом», будет практически критикой Бога, а потому антисемитизм носит богоборческий характер, - упоминаемый интеллектуал Нойгауз не сомневается в антисемитском характере «некоторых христианских текстов, в особенности периода Страстной недели, то есть кануна Пасхи». Наверное, автор имеет личное право на юдофильство, но все же заявления романых героев так агрессивны в искажении сущности христианства и настолько чрезмерны, что неизбежно породят юдофобство.

Улицкая тут напрочь забывает о толерантности и терпимости, возводя «проблему Штайна» (иудеохристианство) и проблему избранного сверхнарода в степень проблемы бытия вообще любой христианской Церкви и любого народа (ведь «из-за отсутствия евреев христианство теряет свою универсальность»).

ОН - НЕ ВАШ

Людмила Улицкая настойчиво предлагает читателю увидеть в своих героях (в Штайне прежде всего) позитивное и особое отношение к Христу. Но как-то удивительно ловко (и в сущности спекулятивно) обходит вниманием другой принципиальный вопрос (заметим, в том числе тоже исторический) - негативного, отрицательного отношения к Нему «богоизбранного народа», ведь «народ Израиля ответил на проповедь Христа «исполненным ненависти нет!» (К. Барт, цитируется по Н. Ильину). Распятый Христос не нужен и забыт. Но если Барт в своих догматических спекуляциях шел до конца (Христос заслужил свое страдание, осудившие Его фарисеи всего лишь выполняли «волю Божию», но поступили совершенно правильно, и они, убившие и оклеветавшие Христа, были только лишь исполнителями «юридической акции», соответствующей «гневу Божию и Его приговору» - цит. по Н. Ильину), то Улицкая позволяет себе вопиющее игнорирование Распятия и Искупительной жертвы Христа. Игнорирование умалчиванием, которое так не нравится ей в других.

Автор спешит провести читателя мимо самого трагичного места Евангелия и земной жизни Христа. Она так беспокоится о столь особенной связи иудеев с Христом, что совершенно «забывает» о столь же (неизвестном другим народам) глубоком разрыве их с Ним. Это уже какая-то мошенническая бухгалтерия, какой-то особый мозговой прием уничтожения неудобного. Но, очевидно, это и есть проявление особенной психологии «особенного народа» с его ветхозаветной «мудростью», полагающей «угод-

ным Богу» только «выборку» в земной жизни. Евангельская истина понижается до уровня «национального самосознания», которое, как считает другой герой Улицкой - Исаак Гантман, «...в наше время обретает устойчивость не в почитании догматов, а в кулинарных рецептах, покрое одежды и способе мытья, а также в несокрушимом заблуждении, что именно традиционалистам принадлежит вся полнота истины». Из земли ты вышел и в землю вернешься, так зачем размышлять о догматах, тайне Воплощения и Кресте?! Так зачем утверждать, что вера и любовь полны и абсолютны?!

ТЁМНАЯ ЦЕРКОВЬ

Выше было уже немало сказано о критике автором и ее героями христианской Церкви. Но все же для Улицкой существует разница в восприятии католической и русской православной церквей. Даже своеобразная гримаса добра в адрес Запада ненадолго появляется на авторском лице, когда она делает сравнения церквей. «...Ничего не поделаешь, на Западе церковь слита с культурой, а в России - с бескультурьем, - вздыхает обреченно Улицкая. - ...В России церковь гораздо слабее сцеплена с культурой, она гораздо больше связана с примитивным язычеством. Тут все антропологи мира вцепятся мне в задницу: как я смею недооценивать языческий мир! Но все-таки, если использовать способ вычитания - интересно посмотреть, что останется в России от самого христианства, если вычистить из него язычество... Бедное христианство! Оно может быть только бедным: всякая торжествующая церковь, и западная, и восточная, полностью отвергает Христа».

Действительно, «ничего не поделаешь», если автор слеп для правды, если время Церкви - всегда темное, если сама Церковь - не сакральна, а русская классика - начисто освобождена от православного своего ядра. И в речевом своем потоке, вычитая из мира страдающего Распятого Христа, проявляя снисхождение к тем, кто «ве-

рит как хочет», освобождая духовный ландшафт русской культуры для пустословия (нельзя же всерьез воспринимать размышлизмы автора о «примитивном язычестве» как сущности нашей культуры и веры), пифически погружаясь в уравнивание Церкви и исключительно жадных церковных властей, не пренебрег автор и провокацией.

Множество (возможно, что около полусотни) героев романа (в основном еврейского происхождения), разбросанных по всему свету, так или иначе «объединяет» в общую историю брат Даниэль. Но устраивает настоящий погром церкви брата Даниэля именно русский (одержимый) послушник - некий Федор (насколько я помню, именно из деревни Тишкино, где практиковал другой герой - отец Михаил). Целью его «паломничества» в Израиль служила одна-единственная мысль: «Они, евреи, обманули весь мир, бросили миру пустышку христианства, оставив у себя и великую тайну, и истинную веру. Нет в мире Бога, кроме еврейского». Но ему помешал раскрыть эту тайну явившийся не вовремя сторож (пришлось убить). Эта сцена практически завершает историю Штайна: в ночь погрома брат Даниэль не вернулся в свою церковь, так как его, погибшего, уже отпевали «в арабской церкви». Не узнал он и о том, что запрещен католическим начальством в служении... Так, что называется, наглядно, композиционно Улицкая продемонстрировала действия тех темных сил церкви, что не поняли «малого христианства» брата Даниэля, воспевающего «Иешуа на его родном языке», проповедовавшего «личное, религию милосердия и любви к Богу, а не религию догматов и власти, могущества и тоталитаризма». Эта реальная Церковь - темная, мрачная, тоталитарная. Что такое невидимая, сакральная Церковь - недоступно авторскому пониманию. Видимая, реальная община Штайна - вот побеждающая ценность автора. Впрочем, как точно сказал Н.П. Ильин, весь этот идеологический и религиозный позитивизм отражает одно:

«наглосое ликование фарисея, решившего, что уже одержана окончательная «историческая победа» над всем, что препятствует поглощению христианства иудаизмом, Церкви - синагогой».

Книга Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» совсем не христианского корня - перед нами очередная черная дыра атеизма и новая атака на христианскую Церковь и веру. Но в то же время она и бодрит: мы еще раз убедились, что Истина христианства всегда остается неповрежденной - не могут до нее добраться «переводчики» с их бесплодием сухой смоковницы, с их механической производительностью текстов. Однако это совсем не означает, что у нас нет современных задач, что мы должны «почивать на догматах» и не размышлять о вере своей со всей степе-

нью напряженной ответственности, что необходима для соработничества человека и Бога. Язык времени, работающий на понижение и унижение подлинных смыслов, новый «интеллектуальный атеизм» стоит различать, чтобы не увлечься «свободолюбивой» подделкой под христианство писательницы Улицкой. Ведь, как сказал Н.П. Ильин о Барте, можно и не заметить, как бежишь, ухватившись «за полу иудея», а думаешь, что «спешишь навстречу Христу». Так не будем же спешить «держаться за полу» героя Улицкой, увлекаясь его «личной» религией и «малым христианством»!

Капитолина КОКШЕНЕВА,
кандидат искусствоведения,
доктор филологических наук,
профессор, член Союза писателей
России, заведующая отделом
культуры журнала «Москва».



ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Фоторабота архиепископа МАКСИМИЛИАНА

ЛИЦЕДЕЙСТВО ПРОТИВ ЛИЦЕМЕРИЯ

Театральная энергия этого спектакля бьет через край. Здесь присутствует постановочное решение посредством приема «театра в театре». Ощущается оперная условность, задаваемая моцартовской арией в самом начале действия. Появляются маски на лицах исполнителей в его финале. В актерской игре доминирует стиль «школы представления» с вкраплением пародийных элементов. Все это свидетельствует об открытой театральности режиссерского прочтения пьесы Мольера.

Такой подход для постановщика спектакля Зураба Нанобашвили закономерен, а для зрителя - ожидаем. Яркость сценического мышления, бросакая выразительность приемов, характерные для творческого почерка художественного руководителя Вологодского драмтеатра, отсутствие охранительного пиетета перед классикой и присутствие творческого напора и собственной авторской воли в работе с литературным текстом заранее обещали зрелище, по крайней мере, не скучное. И эти ожидания не обманывают.

Чего-чего, а скуки и «хрестоматийного глянца» в спектакле «Тартюф» нет. Темпо-ритмически он выстроен режиссером и выдержан актерами (особенно в первом акте) как динамичное, стремительное, не «зависающее» на длинноты и паузы зрелище. Все мелькает, кружится, не может остановиться на круто поднимающемся помосте, воздвигнутом посреди сцены (сценография Виктора Рубинштейна). На нем современные служители Мельпомены напоминают нам, современным зрителям, о лицедеях века XVII, когда творил Мольер, причем не только как драматург, но и как актер.

Напоминание осуществляется не за счет точного соответствия историческим реалиям - создатели спектакля о них не заботятся. Ни в музыкальном оформлении (Дина Бортник), использующем произведения Моцарта, творившего на век позже Мольера, ни в костюмах (Елена Сенатова), соединяющих черты разных времен, установка на историческое соответствие не просматривается. Но анахронизмы

в данном случае не в счет. Важно то, что музыка помогает создавать атмосферу театральной условности, а костюмы в этом пространстве игры являются знаковыми характеристиками персонажей.

Помост это пространство игры фокусирует, выделяет из границ современной сцены. А поскольку разыгрывается пьеса Мольера, то и возникают ассоциации с театром его эпохи. Они в конечном итоге заставляют смириться с назначением на роль матери Оргона Аркадия Печкина. Оно перестает выглядеть данью современной массовой культуре, а служит напоминанием о том, что в спектакле Мольера госпожу Пернель тоже играл мужчина, и это соответствовало сценической традиции XVII века именно так играть роли комических старух. Гендерный монстр из современной постановки даже может восприниматься как объяснение особенностей поведения Оргона - только у такой матери, лишенной женского начала, и мог вырасти сын, поддающийся чужому влиянию, не находящий психологических опор в себе самом.

Казалось бы, определение «психологический» не самое уместное в разговоре о спектакле «Тартюф». Ни поэтика мольеровской пьесы, ни режиссерская стилистика решения этого спектакля не предполагают тонких «психологических кружев». Не об этом речь. А о художественном парадоксе, связанном с исполнением роли Оргона народным артистом РФ Леонидом Рудым. Его игра выпадает из общей актерской тональности. В ней нет гротескных красок, ритмической упру-

гости, ослепляющей яркости сценического рисунка. И это несовпадение рождает содержательно важный мотив чужеродности Оргона своей семье, помогает понять, из чего родилось его обожание Тартюфа. Игра Леонида Рудого заставляет задуматься о психологических предпосылках формирования фанатичного сознания, о его силе, угрожающей своей абсурдной слепотой. Тем более что кумир творится из полного ничтожества.

Несмотря на то, что пьеса называется «Тартюф», сценического времени у этого действующего лица не так много. И за сравнительно небольшой отрезок актеру в этой роли надо успеть создать целостное впечатление, убеждающее в значимости образа в системе персонажей пьесы. Тартюф заслуженного артиста РФ Олега Емельянова такое впечатление оставляет. Две пластические координаты обрамляют его игру. Сытый, довольный кот, растянувшийся на удобном ложе, - таким Тартюф предстает экспозиционно. О нем ведут речь обитатели дома Оргона, а из-под помоста, из каких-то подпольных глубин, медленно выезжает фура с человеком в сутане, расположившимся в позе римского патриция на пиру. А в момент разоблачения в повадках персонажа начинается проступать собачья покорность и угодливость.

Олег Емельянов играет Тартюфа принципиально неталантливым, внутренне бессодержательным человеком. Он лицемер, лишенный лицедейского дара, который может мимикрировать, но не умеет убедительно играть. Это не масштабная личность, диктующая свою злую волю миру, а ничтожество, переполняемое физиологической энергией. В сценах обольщения Эльмиры, жены своего благодетеля, сексуальная энергия Тартюфа достигает отталкивающе-завораживающего напора. Не случайно заслуженная артистка РФ М. Витавская подчеркивает в своей героине оцепенение перед этим напором: и когда святоша что-то долго ищет в складках ее платья, и когда она, сознательно спровоцировав его на эро-



тические действия, начинает терять силы для дальнейшей игры. В этой сцене режиссер и художник по костюмам словно выпускают Тартюфа на ринг, на котором происходит обнажение тела и человеческой сути персонажа. После черной бесформенной сутаны он появляется в борцовском трико, плотно обтягивающем фигуру, с готовностью одержать победу в эротическом поединке. Физиологические удовольствия, комфортные условия жизни - вот заповеди этого Тартюфа. И ради их осуществления все средства хороши, в том числе и религиозная экзальтация, и высокопарные разговоры о духовности.

Сцена «мышеловки» для Тартюфа наиболее полно реализует фарсовую линию спектакля, не свободного от рискованных мизансцен, связанных с «эстетикой низа». Было бы несправедливо упрекать за это создателей спектакля хотя бы потому, что творчество Мольера питалось фарсовыми традициями, используя приемы внешнего комизма, заостренные, прямолинейные, иногда грубоватые. Но изысканность сценической интонации, на которую настраивало начало спектакля (звуки моцартовской музы-



ки, порхание ножек под суперзанавесом, сверкающая люстра, поднимающаяся над помостом), затем постепенно исчезала, растворялась в жирных театральных красках. Не было бы этого пролога, не возникал бы налет разочарования от несбывшихся художественных обещаний. Тем более что в первом акте, во многом благодаря обаянию, эмоциональной неутомимости заслуженной артистки РФ Н. Воробьевой, исполняющей роль горничной Дорины, точно отмеренным кукольно-пародийным элементам в игре Н. Абашидзе в роли Марианны, ироничной окраске образа Клеанта, которого В. Таныгин наделил чертами самолюбленности и самолюбования, прием стилизации воплощается тактично, без нажима. Однако вздыбленная, шарнирная пластика Валера (А. Чупин) и истеричная неуклюжесть Дамиса (Н. Акулов) воспринимаются уже как откровенно фарсовые формы. Хотя развитию темы спектакля такое решение в определенной мере способствует: инфантилизм этих персонажей приобретает дегенеративный характер и создает далеко не радужную перспективу для рода Оргона в буду-

щем. На таких наследников найдется еще не один Тартюф.

Да и с этим любимцем госпожи Пернель и ее сына семье справиться не удалось. Лицемерие Тартюфа с помощью лицедейства раскрыли, но не победили. Он, уже разоблаченный домочадцами Оргона, но получивший юридически оформленные права на их имущество, на глазах надувается властной значительностью и меняет сутану на костюм хозяина дома. Бездарный, бездушный, бездуховный человек приобретает деньги и власть. Устрашающая нота таится в таком событийном повороте.

В истории литературы и театра «Тартюфа» принято называть «высокой комедией», чьи жанровые особенности предполагают моменты драматических и даже трагических прозрений. Но закончить подобным финалом Мольер не мог по причинам как идеологическим, так и эстетическим. Нельзя было не распяться в преданности Людовику XIV, не восхвалив его мудрость и справедливость, - и так «оригиналы запрещали копию», долго не разрешая пьесу к постановке. И нельзя было

завершить комедию в эпоху классицизма без торжества здравого смысла. Выход драматург нашел в использовании финала, с античных времен именуемого «бог из машины», когда вмешательство высших сил знаменует разрешение конфликта. У Мольера это справедливое решение короля-солнца.

В современном спектакле такой финал показан пародийно, как несбыточное, утопическое мечтание. Весь в белом, словно неся на себе отблеск высшей власти, ее бравый представитель (В. Смирнов) с лучезарной тупостью зачитывает королевский указ о наказании лицемера. Совсем недавно другой ее представитель, в судейской мантии и парике (Д. Мельников), нараспев, с ласковыми интонациями сообщал семье Оргона

о торжестве Тартюфа. Теперь порок наказан.

А что восторжествовало? Власть, здравый смысл, добродетель? Демонстрация мудрости власти искусственна, добродетели персонажей сомнительны, здравый смысл Тартюфа не победил.

Ответ дает эпилог, когда заканчивается текст пьесы, но продолжается текст спектакля: актеры примеряют маски, кружатся в танце, выходят на поклон. Торжествует в постановке З. Нанобашвили театр, с его метаморфозами, переодеваниями, высотой предназначения и избыточностью эффектов. Профессиональное лицедейство признается лучшим способом избавления от лицемерия во всех сферах жизни.

Светлана ПАТАПЕНКО

На снимках - сцены из спектакля «Тартюф»





СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ. СПАСКИЙ СОБОР



ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ. БЕРЁЗЫ

ФОТОРАБОТЫ АРХИЕПИСКОПА МАКСИМИЛИАНА

СОДЕРЖАНИЕ

РОДИНОВЕДЕНИЕ

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ. Слово о полку Белозерском 2

И НЫНЕ, И ПРИСНО

Мы руководствовались пользой Церкви. Заседание «круглого стола», посвященного итогам Архиерейского и Поместного Соборов 2009 года 14

И смех, и грех... **Священник АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ** отвечает на вопросы о Боге, вере и Церкви 24

ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ - 90 ЛЕТ

Роберт БАЛАКШИН. Любовь моя - библиотека 32

ПРОЗА

Дмитрий ЕРМАКОВ. Дела земные. Краткая повесть 48

СЛАВЯНСКИЙ МИР

Слободан ВУКАНОВИЧ. Лестница иллюзий 70

Святитель НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (Велимирович). Сербский святой о России. Перевод Ивана Чароты 72

ЗЕМЛЯКИ

Анатолий СЫЧЁВ, Александр ЧЕЧКИН. Швейцарский учёный Константин Монаков: «Мои корни - в России» 80

НАГРАДЫ

Диплом всероссийского конкурса - вологодской книге 89

Православная премия - нашим авторам

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Владимир ЛИЧУТИН. Сон золотой (книга переживаний) 90

ИСКУССТВО

Сердце Северной Фиваиды. Выставка фоторабот архиепископа Максимилиана

..... 2-я стр. обложки, цвет. вклейка, 47, 137, 141, 145, 216, 234, 239

ХУДОЖНИК О ХУДОЖНИКЕ

Джанна ТУТУНДЖАН. Чудный дар 129

Татьяна ЧИСТЯКОВА. Керамика. Акварель цвет. вклейка

Ирина БАЛАШОВА. В гостях у художника 217

Николай ВИКУЛОВ. цвет. вклейка, 3-я стр. обложки

На 1-й и 4-й страницах обложки - фотография архиепископа МАКСИМИЛИАНА «Пробуждение»

ЛАД

Литературно-художественный журнал

Учредитель - ИМП «ФЕСТ»

Главный редактор - А.К. Сальников

ВОЛОГОДСКИЙ 2009, № 1 (13)

В 1991 - 1995 годах выходил под названием

«Лад. Журнал для семейного чтения».

С 2006 года - «Вологодский ЛАД»

Журнал зарегистрирован управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ПИ № ФС 3-0731 от 25.01.2008 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДРУЗЕЙ!

Юбиляры из Саранска... 133
...и Зеленограда 133

ПОЭЗИЯ

Ольга ФОКИНА. Чёрное - не белое!

Новые стихи 134

Лариса МОКШЕВА. Холодный дождь в начале лета 138

Геннадий ИВАНОВ. Как маяки, остаются поэты во мгле 142

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Александра МАРТЯНОВА. Мамино слово (продолжение) 146

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Альберт ВАРЮХИЧЕВ. Красный гусар. Повесть об Александре Кишенине, солдате и земледельце 162

К 80-ЛЕТИЮ ИВАНА ЛАРИОНОВА

Олег ЛАРИОНОВ. Путь сатирика и эпоха. Очерк жизни и творчества вологодского писателя 185

Иван ЛАРИОНОВ. Растление 193

Ветка малины 194

Космические глаза 195

НОВОЕ ИМЯ

Алексей МАКЛАХОВ. В мире всё несовершенно 196

Анатолий ПОДОЛЬСКИЙ. Храни семью своей радушьё 198

Марина ЖЕЛТИКОВА. Не суди меня ты слишком строго... 200

МЫ И МИР

«Я всегда чувствую себя очень глупо...». Особенности российской деревни глазами американского антрополога. Беседовала Елена Юшкова 202

Маргарет ПЭКСОН. Красный угол. Глава 7 из книги «Соловьево» 205

ЯЗЫК МОЙ

Людмила ЗОРИНА, Людмила ЯЦКЕВИЧ. Красота по-вологодски 209

КРИТИКА

Капитолина КОКШЕНЁВА. Дыра нового атеизма. О романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» 226

ТЕАТР

Светлана ПАТАПЕНКО. Лицедейство против лицемерия 235

Адрес издателя: ИМП «ФЕСТ», 160001, Вологда, Челюскинцев, 3.

Адрес типографии: 162600 ИД «Череповец», Череповец, Металлургов, 14 а.

Адрес редакции: 160001, Вологда, Челюскинцев, 3. Телефон 8 (172) 72-55-70, e-mail: salnikov@krassever.ru

Тираж 1 500. Объем 15 п.л. Формат 70х108/16. Печать офсетная. Подписано в печать 31 марта 2009 г. Время подписания номера по графику - 10 час., номер подписан в 9 час. Заказ № 196729 Свободная цена.



СОБОР ПРАВЕДНОГО ПРОКОПИЯ ВЕЛИКОУСТЮЖСКОГО. ЛЕДОХОД НА СУХОНЕ



НАСТЕНЬКА



ПОКРОВСКОЕ



ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ



ИНЕЙ



СПАСО-КАМЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ. ЗАКАТ

